



С 1767

Н. И. КАРЕЕВ

ИСТОРИКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

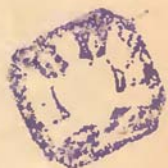
Т. I

Издательство „КОЛОС“
ЛЕНИНГРАД
• 1924

Н. И. КАРЕЕВ

ФРАНЦУЗСКИЕ
ИСТОРИКИ

первой половины XIX века



Издательство „КОЛОС“
ЛЕНИНГРАД
1924

СПбГУ

Ленинградский Гублит № 738.

Напечатано 3000 экз.

ГОС. УЧ.-ПРАКТ. ШКОЛА-ТИПОГРАФИЯ ИМ. Т. АЛЕКСЕЕВА ЛЕНИНГРАД. КРАСНАЯ, 1.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Труд, выпускаемый в свет под заглавием „Историки французской революции“, задуман был мною очень давно и готовился весьма долго. Читать книги по истории французской революции я начал еще в годы учения, работал сам над нею уже полвека тому назад, начал вносить этот предмет в свое преподавание с первых же лет моего профессорства. Первая мысль об этом труде зародилась у меня после того, как я написал книгу „Падение Польши в исторической литературе“ (1888), т. е. тридцать пять лет тому назад, в течение которых постоянно накаплился материал и время от времени своим курсам по истории революции я предпосылал историографическое введение, пока уже в двадцатых годах я не сделал историографию этой эпохи предметом целого специального курса, состоявшегося лишь благодаря тому, что нашелся небольшой кружок постоянных и усердных слушателей. Это было в такое время, когда университетское преподавание у нас находилось в полном расстройстве (1920 — 1921). В этом курсе я успел только рассмотреть французских историков, но зато, читая курс, я изложил его письменно, после чего занялся исподволь обработкою и той части своего историографического обзора, который посвящен иностранным историкам, каковыми по отношению к Франции являются и русские. Вся работу, с последними страницами, посвященными французской исторической литературе самого недавнего времени, я окончил осенью 1923 года.

Одновременно с этой работой сделана была мною и другая, ей родственная в виде XVI выпуска отдела истории в серии книжек, под общим заглавием „Введение в науку“,

издававшихся фирмой „Наука и школа“. Этот выпуск был посвящен „Революции и Наполеоновской эпохе“, а в нем библиография французской революции заняла около четырех печатных листов (стр. 23—89), на протяжении которых названо гораздо больше книг, брошюр и статей, чем читатель найдет в настоящем труде. С заглавиями произведений, относящихся к Наполеоновской эпохе, перечень их занимает три страницы приложенного к тексту указателя, напечатанного самым мелким прифтом в три столбца, так что всех названий там дано добрых шесть сотен. Весь этот более библиографической, нежели историографический материал, я не считал нужным включать в настоящий обзор, отнюдь не предназначавшийся мною к тому, чтобы служить справочным пособием. Считаю нужным упомянуть о названной книжке, лишь как о своего рода библиографическом дополнении к „Историкам французской революции“. В этой книжке я называл, между прочим, и своих предшественников по историографии французской революции, которых перечисляю и здесь.

1. Paul Janet. Philosophie de la révolution française. 1865.
2. Albert Le-Roy. Les historiens de la révolution française. 1881.¹⁾
3. P. Boissonade. Etudes relatives à l'histoire économique de la révolution française. 1906.
4. L. Lacour. La révolution française et ses détracteurs d'aujourd'hui. 1907.
5. Feugère. La révolution française et la critique contemporaine.

Но все эти пособия отличаются небольшими размерами кроме книжки Буассонада, не охватывают всего развития этой историографии. ¹⁾

¹⁾ Не называю других более коротких и беглых обзоров, какие были и у нас, напр., в III т. „Лекций по всемирной истории“ Петрова (дополнения В. П. Вуэскула), в книге В. И. Герье о Тэне (см. в своем месте) или в начале III т. моей „Истории Западной Европы“.

Книгу свою я разделяю на три части. Первые две посвящены национальным историкам французской революции (+), до середины XIX века в одной, и с его середины в другой, третья же часть — историкам иностранным, которых, конечно, было меньше и которые сделали также меньше. Это была историческая тема, разумеется, преимущественно национально-французская, но в то же время и универсальное значение революции, как это равным образом понятно, привлекало к ней научный интерес и иностранных историков.

Октябрь
1923.

И. Кареев.

СПбГУ

ГЛАВА I.

Общее введение.

Французская революция изучается исторически уже около ста лет, в течение которых о ней выросла громадная литература. Но литература о ней была уже огромной и в то время, когда сама революция происходила. Принимая за период революции 1789—1799 годы и относя начало ее исторического изучения к первым годам реставрации, мы можем смотреть на наполеоновскую эпоху, как на промежуточное время, когда, по политическим и цензурным условиям тогдашнего режима, нечего было и думать о свободном обсуждении только-что пережитых событий и когда вместе с тем подрастало новое поколение, для которого революция уже не была лично пережитым прошлым. Современники революции, писавшие о ней, конечно, не могли отнести к ней исторически, а необходимо были публицистами. Одни из них были сами деятелями революции, все же вообще имели от нее известные впечатления и испытывали то или другое в своей личной судьбе. Революция слишком задевала, и притом непосредственно, их психику, весь их внутренний мир, их идеи, страсти, интересы для того, чтобы они могли быть простыми зрителями, созерцать происходившее со стороны и исследовать *sine ira et studio*, почему и как все вокруг происходило. Даже в тех случаях, когда они могли бы это делать, им мешало еще то обстоятельство, что они сами находились в гуще жизни. Человек, идущий в стихийной толпе, может хорошо видеть только то, что делается вблизи от него, и лишен возможности следить за происходящим дальше, вне поля его зрения. Для современника может показаться необычайно важным то, что на известном отдалении кажется, наоборот, не имеющим большого значения. Чтобы видеть какое-либо большое здание, судить о его размерах, о соотношении его частей, о его архитектуре и т. д., нужно отойти от него на некоторое рас-

стояние и не ограничиться обзорением одного его фасада. Человек, стоящий у самой стены этого здания, конечно, может прекрасно рассмотреть очень многие подробности, за которыми не уследит стоящий несколько поодаль, но за то в поле его зрения будет находиться только одна часть здания и притом только с одной его стороны. Таким отдалением от революции была эпоха реставрации. В 1789 году, когда началась революция; в 1791, когда Учредительное Собрание закончило свое дело и, повидимому, могла начаться нормальная жизнь; в 1792, когда Франция неожиданно превратилась в республику; в 1794, когда революция пошла на убыль, и т. д., еще нельзя было судить сколько-нибудь основательно, что из всего этого выйдет, как бы ни были проникательны некоторые умы, предсказывавшие иногда то, что потом и случилось. В 1789—1791 году Франция обновила всю свою внутреннюю жизнь под знаменем свободы, но в результате получилась не свобода, а самый беспощадный деспотизм сначала одной политической партии, потом гениального полководца. За периодом опьянения идеей свободы наступили разочарование, апатия, индифферентизм, а падение Наполеона вызвало и новое еще настроенье. В 1815 году на революцию вообще должны были смотреть несколько иначе, чем смотрели в 1799 году и перед тем. При Наполеоне и оглядываться назад не полагалось: Франция должна была жить блестящим настоящим и верить в то, что более ей ничего не нужно, но когда наполеоновская империя пала, и Франция могла вернуться к режиму свободы, тотчас же явилась потребность оглянуться назад, понять значение всего происшедшего с 1789 года и отнестись к нему хоть сколько-нибудь исторически.

Для людей, живших сознательно жизнью во время революции и доживших до реставрации, эта революция уже сделалась достаточно отдаленным прошлым. Между событиями революции и современным моментом легла целая полоса жизни с особым содержанием, отличным и от революции, и от реставрации. О первой уже можно было говорить не как о переживаемой, а как о пережитой, не как о настоящем, а как о прошлом. Если в оценке революции попрежнему могла господствовать публицистика, то в стремлении понять революцию в ее причинах, ходе и следствиях уже намечалась чисто историческая задача. Если о причинах революции со-

временники еще могли высказываться, хотя бы и несколько поверхностно, многого притом не зная, а о ином и не подозревая, то относительно исхода и результатов всего переворота они могли высказывать лишь свои предположения, надежды и опасения. Как бы ни гадали современники реставрации о том, что она принесет в будущем, о революции они знали, что она пока принесла: это была уже история. В таком положении находилась знаменитая г-жа Сталь, современница революции, написавшая в самом начале реставрации свои „Рассуждения о главных событиях французской революции“, которые занимают, можно сказать, переходную ступень от всей предыдущей публицистики к последующей историографии.

Г-жа Сталь принадлежала к поколению, переживавшему революцию. Ее книга вышла в свет в 1818 году, почти через тридцать лет после начала революции, а лет через пять-шесть после ее выхода появились первые настоящие исторические сочинения о революции, авторами которых были Тьер и Минье, принадлежавшие уже к новому поколению. Вот где, собственно говоря, начинается историография французской революции, и вот почему выше было сказано, что ей, этой историографии, насчитывается около ста лет. Тьер и Минье, таким образом, являются первыми историками революции. Конечно, их труды устарели; только книгу Минье, пожалуй, и теперь еще можно читать, потому что она не так фактически детальна, но значение обеих этих историй сделалось само чисто историческим.

К этим обоим произведениям мы уже можем относиться, только как к памятникам прошлого, отражающим на себе эпоху, когда они появились, и характеризующим, с одной стороны, самую эту эпоху, с другой, ту степень, на которой вообще стояло тогда историческое знание. И впоследствии на истории изучения французской революции отражались, как зловы дна, т. е. интересы и настроения отдельных эпох, так и успехи, какие делались исторической наукою, причем в последнем отношении нужно иметь в виду одинаково и прогрессирующее понимание задач и методов науки, и еще более расширяющийся материал, каким оперирует наука.

Настоящее историческое знание заключается не только в знании того, что было, как оно было, но и того, как то

или другое понимается или понималось, если по данному вопросу нет полного и совершенного согласия. В истории французской революции не все бесспорно до настоящего времени. Эта эпоха была слишком сложной и многогранной для того, чтобы ее познание могло даваться сразу и чтобы в ее изучении одинаково могли быть уловлены разные ее стороны. В понимании и классификации ее причин, ее находившихся в борьбе между собою направлений, определявших ее ход, ее условий, следствий и т. п. могут быть разные оттенки одних и тех же мыслей, а также и прямо разные, даже противоположные мысли. Сложность и многогранность революции составляют первую трудность в деле ее изучения и источник споров, даже в тех случаях, когда к работе объективного понимания не примешивается субъективная оценка. Иногда, знакомясь с разногласиями историков во взглядах на причины, условия, следствия революции и т. п., прямо недоумеваешь, где же действительная истина, и невольно вспоминаешь цицероновское „*ita sunt, ut disputantur*“, — выражение скептического характера, раз сомневаешься, в какую же сторону приходится решить вопрос. Вот тут на помощь и приходит возможно полное знание если не самих фактов, как они на самом деле были, то, по крайней мере, того, как они представлялись людям, их изучавшим. Иногда какое-либо забытое, оставленное мнение впоследствии оказывалось наиболее близким к правде.

Если, с одной стороны, слишком сложны, разнообразны и многогранны события, изучаемые историей, то с другой, не меньшая трудность такого же рода заключается в неодинаковости психики тех, которые события эти изучали: на исторических произведениях отражаются различия в складе ума и темперамента отдельных историков. Есть умы более абстрактные и более конкретные, более дедуктивные и более индуктивные, более синтетические и более аналитические, как и темпераменты бывают очень неодинаковые, спокойные и страстные и т. п., да и цели своей работы отдельные историки могут ставить и объявлять разные, одни желая только знать, другие при этом и поучать современников. Все такие различия зависят от прирожденных индивидуальных способностей и склонностей, а тут еще, сверх этого, люди отражают на себе понятия и предрассудки, интересы и страсти

общественных классов, политических партий, ближайших профессий. Истории французской революции писались с очень различных точек зрения: аристократических, буржуазных, демократических, реакционных, консервативных, либеральных, радикальных, социалистических, анархических. Различные результаты получились, смотря также и по тому, брался ли за историческую работу публицист и политический деятель, или профессор, специалист-историк, архивный исследователь и т. п. Вот почему при рассмотрении отдельных трудов по революции всегда необходимы биографические справки о их авторах. Скажите мне, кто написал такую-то книгу, и я вам скажу, какова эта книга.

Принадлежа к известному общественному классу и в той или другой партии, историки французской революции именно и отражали на своих трудах характерные особенности своих эпох. На периодизации прошлого историографии революции в значительной мере сказалось влияние тех злоб дня, которые сменялись в политической жизни Франции. В эпоху реставрации в стране шла борьба между старой и новой Францией, между реакцией и либерализмом, между аристократией и буржуазией. Вернувшиеся с Бурбонами эмигранты, „ничего не позабывшие и ничему не научившиеся“, поставили своею целью вернуть нацию к до-революционным порядкам, а либералы ополчились на защиту учреждений и отношений, созданных во Франции революцией. По мере того, как все больше и больше отходили в прошлое события эпохи террора, дискредитировавшего революцию в общественном мнении, и, с одной стороны, сглаживались неприятные о них воспоминания, а с другой—вступали в жизнь люди поколения, знавшего о революции только по наслышке и заинтересованного, однако, в сохранении ее приобретений,— о ней создавалось новое мнение, и теперь в ее пользу, как события, положившего начало во Франции свободе и благосостоянию. Первые истории революции были ее апологиями с точки зрения либеральной буржуазии, к которой и принадлежали Тьер и Минье, имея своей предшественницей в реабилитации революции г-жу Сталь.

Следующим периодом в историографии революции были времена июльской монархии. Революция 1830 года была победой новой Франции над старой, но в этой новой Фран-

ции проявился другой классовый антагонизм — между буржуазией и демократией, завершившийся социальной борьбой во время революции 1848 года. Демократическая оппозиция приняла во Франции в это время двойной характер — радикально-политический и социалистический, что нашло свое проявление в историографии революции, когда за свои труды о ней взялись демократ-республиканец Мишле и социалист Луи Блан, не называя пока других. Свои труды, начатые в конце сороковых годов, они окончили позднее, уже в следующем периоде, когда вторую республику сменила вторая империя.

В этом новом периоде жизнь поставила перед историками новый вопрос. Почему, спрашивалось, Франция после ряда революций, совершенных во имя свободы, и на этот раз, как за полвека перед тем, попала под абсолютную власть одного? Отвечать на этот вопрос взялись в пятидесятых годах Токвиль, в шестидесятых годах Кинэ. Если задачей Тьера и Минье, Мишле и Луи Блана было реабилитировать революцию, одними в интересах буржуазии, другими с демократической точки зрения, то у Токвиля и у Кинэ апология заменяется критикой, но не с точки зрения „старого порядка“, как у реакционных писателей конца XVIII и начала XIX века, а с той точки зрения, на которой, как мы увидим, стояла г-жа Сталь, истинная представительница идей 1789 года при Наполеоне и в начале реставрации.

В 1870 году совершилось падение второй империи, и в первом же году третьей республики во Франции произошла новая гражданская война, новая схватка буржуазии и пролетариата, так называемая парижская коммуна. Это событие направило на занятие революцией знаменитого Тэна, который до того времени занимался далекими от какой-бы то ни было политики вопросами философии и психологии, литературы и искусства. В первый раз со времен самой революции, под влиянием разыгравшихся весной 1871 года в Париже событий, крупный ученый и талантливый писатель выступил с целым обвинительным актом против французской революции. Разгром Франции в войне с Германией в 1870—1871 году, как мы еще увидим, также послужил исходным пунктом для работы Сореля над внешней политикой революции.

Вот наиболее резко бросающиеся в глаза примеры того, насколько развитие историографии революции во Франции

зависело от хода политических событий. В дальнейшем мы еще детальнее будем останавливаться на этих отношениях между историческим изучением прошлого и влиянием на него политического настоящего, а пока обратим внимание еще на одну сторону в развитии историографии французской революции.

Если мы будем сравнивать более ранних ее историков с более поздними, то увидим, что первые были преимущественно, по профессии своей, публицистами, тогда как последние являются больше учеными специалистами в области исторической науки. Другими словами, занятия историей революции все более становились делом не политиков, а ученых. Эта перемена сделалась особенно заметной к концу прошлого века, когда во Франции праздновался столетний юбилей революции. В своем месте будет отмечено, что около этого времени возникает ученое общество для специального изучения истории революции, основывается особый периодический орган в интересах научных исследований в этой области, учреждается в Парижском университете отдельная кафедра истории революции, предпринимается ряд изданий источников, касающихся данной эпохи, и начинает появляться все больше и больше детальных работ о событиях и отношениях, о людях и идеях революции. Собственно говоря, начало этому чисто научному направлению было положено еще раньше Токилем в середине прошлого столетия, но широко развиваться это направление стало только при третьей республике, правительство которой, со своей стороны, довольно щедро стало поддерживать новое научное движение, ассигнуя большие денежные средства на издание источников.

В самом понимании задач и методов истории вообще, а чрез то и истории революции произошла большая перемена. В то время, когда выступили со своими трудами Тьер и Минье, на историю смотрели больше, как на искусство, нежели как на науку. Во Франции до сих пор по старой памяти различают „sciences“ и „lettres“, относя к „наукам“ только математику и естествознание, а гуманитарные науки причисляя к „словесности“. Сто лет тому назад теоретики исторического знания прямо причисляли историю к изобразительным искусствам, ставя ее в ближайшее родство с поэзией. Говорили именно, что история воспроизводит жизнь

такую, какую она есть, поэзия — такую, какую она могла бы или должна была бы быть. Между тем, задача науки не в том, чтобы синтетически воспроизводить действительность, а в том, чтобы ее аналитически исследовать: одно делается в целях созерцания, другое — в целях разума. Из двух родов истории, прагматической и культурной, т. е. истории событий и истории быта (в широком понимании этого слова) такому взгляду на историю как на словесное искусство, наиболее соответствует история прагматическая по содержанию, нарративная по способу изложения: главное дело заключалось в том, чтобы занимательно и, прибавлю, поучительно рассказать. Хотя, например, в трудах Гизо, одновременных с первыми историями революции, уже проявилось с достаточной силой и яркостью другое направление, но вся историческая школа, в которой оно стало выработываться, занималась, главным образом, изучением средних веков. Со времени появления историй революции Тьера и Мишье прошло около тридцати лет, прежде нежели и эпоха революции сделалась предметом исследования по типу культурного направления. Токвиль не воспроизводил прошлое, повествуя о событиях, а исследовал его, анализируя идеи и учреждения, ища для этого и соответственный материал не нарративного содержания.

Далее, история всегда была теснейшим образом связана с политикой. Между историей, с одной стороны, и юриспруденцией и политической экономией, с другой, не только не было такой связи, но даже долгое время была целая пропасть. Еще политические учреждения интересовали историков-рассказчиков, но области права и народного хозяйства оставались у них в стороне. Развитие исторической науки шло в сторону устранения из нее политической односторонности путем распространения сферы научного ведения на социальные отношения и на хозяйственный быт. Даже такой социалистический историк, как Луи Блан, в середине прошлого века, не может быть поставлен сколько-нибудь высоко в отношении к фактам социальной и экономической истории. Историческое исследование последних в эпоху революции относится к числу уже более поздних явлений историографии, и в этой области добывается теперь особенно много нового, проливающего свет на общую историю революции. Даже не будучи

экономическим материализмом, можно упрекнуть более раннюю историографию французской революции в слишком идеологической ориентации ее объяснений. Основным источником революционного движения долго рассматривался почти исключительно в умственном перевороте, произведенном философией XVIII века. Таким образом, историография французской революции отражала на себе общие представления о том, каково должно быть содержание исторической науки. То же самое было и с методом.

О событиях, людях и отношениях революционной эпохи образовалось много легенд, ходячих взглядов, непроверенных обобщений, переходивших из уст в уста, из одних исторических книг в другие. Хотя то, что писалось о революции, вызывало не мало полемики, но настоящая критика источников долгое время была в пренебрежении. Ранние историки давали изложение событий и своих взглядов, не документируя того, что утверждали, т.-е. не делая никаких ссылок на источники, а из противоречащих одно другому свидетельств часто принимали не то, за которым следовало признать большую достоверность, но то, которое более соответствовало какому-либо предвзятому взгляду. Когда в большом количестве стали появляться мемуары современников революции, нарративный материал которых явился одним из источников для прагматической ее истории, к ним историки вообще относились с большим доверием, чем они иногда заслуживали. Их часто даже предпочитали документальному материалу. Современные историки сделались в этом отношении гораздо осмотрительнее, хотя огульное опорочение мемуаров, как исторического источника, встречаемое у Олара, является, может быть, уже критическим излишеством. Во всяком случае, историография французской революции и в этом случае следовала за общим движением науки в сторону критики источников, как первого условия достоверности сообщаемых в них фактов. Уже было упомянуто, что занятия французской революцией перешли в руки ученых, которые не только читают о ней лекции и пишут книги и статьи, но и руководят практическими занятиями студентов, напоминая им на каждом шагу, что „*scribitur historia ad narrandum, non ad probandum*“. Нельзя, однако, к сожалению, сказать, что тенденциозность окончательно вытравлена из современной историографии революции.

Современники, писавшие о революции, могли говорить о том, что сами видели, в чем даже участвовали, о чем слышали непосредственно от свидетелей событий, или читали в тогдашних газетах, что, одним словом, так или иначе сами переживали. Это наблюдается, конечно, и в книге г-жи Сталь, но уже историки младшего поколения, родившиеся позднее, зависели исключительно от внешних источников. Во времена Тьера и Минье еще живы были некоторые свидетели и участники революции, от которых можно было услышать то или другое, но с течением времени этот источник сведений о революции всецело заменился упомянутыми мемуарами, начавшими выходить в большом количестве в тех же двадцатых годах, когда появились труды Тьера и Минье.

Весь остальной материал для истории революции можно разделить на две большие категории: всего того, что в свое время было опубликовано в печати, и того, что осталось в рукописном виде, хранясь в архивах. Первый материал, как размножавшийся в большом количестве экземпляров, как более приведенный в известность и более доступный для пользования, как более, наконец, удобный для чтения, на первых порах только и мог быть в ходу у историков революции, обращаться же в архивы стали гораздо позже, да и то сначала более или менее спорадически без точных указаний на то, под какими шифрами хранятся те или другие картонки или связки. Что касается до издания архивных документов в интересах исторической науки, то это относится уже к гораздо более позднему времени.

Я здесь же укажу, какого рода печатный материал, которым с самого начала могли пользоваться историки революции, был создан ею самою. В свою очередь, он распадается на неофициальный и официальный. К первой категории принадлежат многочисленные газеты, брошюры и плакаты, выпускавшиеся частными лицами в целях информации, пропаганды и агитации, ко второй—разные распоряжения правительства, декреты, объявления, протоколы и т. п. Все это в свое время опубликовывалось для воздействия на общественное мнение и настроение или для приведения в исполнение распоряжений власти. Материал этот слишком обширен для того, чтобы даже в настоящее время его считать использованным, да и очень даже сомнительно, чтобы первые исто-

рики особенно много рылись в таком материале, дабы отыскать в нем что-либо забытое или мало известное. На первых порах дело делалось гораздо проще, так как постепенно образовалась своего рода традиция, касающаяся общего хода событий и отдельных его моментов, или своего рода канон главнейших фактов, запечатленных в многочисленных попытках собрать и изложить все наиболее важное в истории революции. Одним из существенных неудобств при пользовании этим материалом была притом, на первых порах, его разбросанность при отсутствии часто сколько-нибудь сносных справочных пособий.

Только после выхода в свет первых настоящих историй французской революции началось систематическое обращение к периодической прессе эпохи, как к важной категории источников, первый пример чему был подан Дешьеном, издавшим в 1829 году библиографию тогдашних журналов под названием „Каталога материалов для истории французской революции с 1787 года“¹⁾. За этим изданием последовали труды Галлуа в сороковых годах, Атева в шестидесятых, Авенеля и др. в начале нашего столетия²⁾, не говоря уже о замечательно полном обзоре, данном Морисом Турне в „Библиографии истории Парижа во время французской революции“³⁾. Наибольшее количество газет той эпохи сохранилось, конечно, в главных библиотеках Парижа (в Национальной, в библиотеке города Парижа, в центральном архиве), равно как в Британском Музее, где они входят в состав коллекции Крокера, и в Цюрихской библиотеке.

Из всей массы революционных газет историки пользовались более всего знаменитым „Монитёром“, полное заглавие которого— „Gazette nationale ou le Moniteur Universel“, как наиболее полным отображением текущей жизни в эту эпоху. „Монитёр“ начал выходить только 24 ноября 1789 года и в течение десяти лет, именно до 28 декабря 1799 года, не был официальным органом, каковым сделался только

¹⁾ Catalogue de matériaux pour l'histoire de la révolution de France depuis 1787 jusqu'à nos jours. Bibliographie des journaux par M. D. (eschiens).

²⁾ L. Gallois. Hist. des journaux de la révolution française. 1845—46.—Hatin. Hist. de la presse en France. 1859—61. Bibliographie historique de la presse française 1866.—H. Avenel. Hist. de la presse française depuis 1789—1900.

³⁾ Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la révolution française 1890—1906. См. в конце II тома.

в начале консульства. Первые семь месяцев революции были включены в коллекцию номеров этой газеты лишь в IV году республиканского календаря, что лишает „Монитёр“ за это время характера непосредственного первоисточника. Вся коллекция состоит из 24 томов in folio. Большую услугу занимающимся историей революции оказала сделанная в 1863—1870 годах перепечатка этой газеты в 32 томах, как своего рода „подлинной и достоверной истории французской революции“, пользуясь словами заглавия этого издания¹⁾. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы „Монитёр“ отличался исчерпывающею полнотою относительно прений, происходивших в представительных собраниях. В данном отношении многое дополняет не менее известный „Journal des débats et des décrets“, начавший выходить с 24 августа 1789 года и часто заключающий в себе сведения и подробности, которых нет даже в протоколах собраний²⁾. Обе газеты, начавши издаваться в 1789 году, просуществовали в течение всей революции, тогда как другие выходили лишь в более ограниченные промежутки времени. Особенную цену для историков всегда, конечно, имели органы наиболее видных деятелей и публицистов революции, каковы Барер, Бриссо, Демулен, Эбер, Марат, Мирабо, Прюдон и др.

От эпохи французской революции имеются еще многочисленные справочные и памятные енижки, носившие название „альманахов“³⁾. Из них наиболее был в ходу „Королевский“, потом „Национальный“, дающий множество сведений о политической и административной организации Франции в конце XVIII века. Это было уже издание официальное.

Рядом с периодическою прессою следует поставить тот материал, который заключает в себе сведения о том, что делалось в обоих первых Национальных собраниях, в Конвенте и в Советах пятисот и старейшин.

Представительные собрания революции издавали протоколы своих заседаний. Уже Учредительное Собрание выпу-

1) Réimpression de l'Ancien Moniteur, seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution française depuis la réunion des États généraux jusqu'au Consulat. Пользование этим изданием облегчают указатели.

2) С примера V года эта газета называлась „Journal des débats et lois du Corps législatif“.

3) О них Н. Welschinger. Les almanachs de la révolution. 1884.

стило 782 номера своего „Procès Verbal“, составляющих 75 томов с дополнительным еще томом в двух частях ¹⁾. Такая же коллекция протоколов Законодательного Собрания содержится в 16 томах, а Национального Конвента—в 72. К этому следует еще прибавить 50 томов протоколов Совета пятисот и 49—Совета старейшин, что в общей сложности составляет 263 тома. Пользование этим источником было облегчено еще в начале XIX века указателями, составленными Камюсом для протоколов первых двух собраний в 5 и 2 томах, и девятитомным указателем для Конвента ²⁾. Камюс издавал еще особый „Бюллетень“ ³⁾, где помещались целиком разные документы, о которых в протоколах только упоминалось или подлинники которых утрачены, равно как и некоторые подробности, опущенные в протоколах.

Подобно тому как в шестидесятых годах прошлого века был перепечатан „Монитёр“, тогда же было начато издание „Полного собрания законодательных и политических прений во французских палатах“ под заглавием „Парламентского Архива“, в котором протоколы Генеральных Штатов и Учредительного Собрания начинаются в седьмом томе, Законодательного—в тридцать четвертом, Конвента—в пятьдесят втором, при чем указатели к ним занимают целые томы. К этому изданию мы еще вернемся в другой связи.

Законодательная деятельность революционных собраний была необычайно плодотворна. По одному подсчету, сделанному в конце 1795 или в начале 1796 года, всех законов было издано: Учредительным Собранием с 1 июля 1789 года 2.557, Законодательным—1.712, Конвентом—11.210 только до 4 брюмера IV года. Цифры эти могут быть не абсолютно точными и даже по отношению к Конвенту заключать в себе преувеличение, и потому общая их сумма меньше, чем пятнадцать с половиною тысяч, но в общем впечатление от массы декретов, издававшихся во время революции, не может быть иным, как грандиозным.

¹⁾ Эти два тома называются „Recueil des rapports, discours et autres pièces de l'Ass. Nat. Const. qui ne sont point dans les livraisons du Procès Verbal“.

²⁾ Table des matières, des noms de lieux et des noms de personnes contenus dans les procès verbaux des séances de l'Assemblée Nationale.

³⁾ Bulletin de la Convention.

Уже во время самой революции издавались и сборники законов и декретов, исходивших от новой власти. Первым, предпринявшим такой сборник, был книгопродавец Бодуэн (Boudouin), начавший еще в 1790 году издавать свое „Общее Собрание декретов Национального Собрания“¹⁾, которого вышло 16 томов в 19 частях и за которым последовали такие же сборники для Законодательного Собрания (6 томов в 7 частях), для Конвента (35 томов) и для обоех Советов директориальной конституции (18 томов). По имени своего издателя все эти 75 томов носят название „Collection Boudouin“. Аналогичное издание для актов исполнительной власти было предпринято в 1792 году и осуществлено в двадцати трех томах до 1799 года²⁾, получив название „Луврской коллекции“ (Collection Louvre) по месту своего печатания в королевской, потом национальной типографии, помещавшейся в Лувре. Кроме того, со II года республики выходил еще „Bulletin des lois“, составляющий 15 томов. Все три сборника имели официальный характер. Были и частные издания, из которых наиболее важным является так называемая „Collection Duvergier“, названная в своем заголовке „полною“, хотя она далеко не имеет на то права, так как многое из прежних коллекций в ней не было воспроизведено. Первый том ее вышел в свет в 1825 году, т. е. уже после появления трудов Тьера и Минье. Нельзя вместе с тем не отметить, что и в наполеоновскую эпоху было издано несколько справочных словарей или репертуаров французского законодательства с 1789 года. Прибавлю еще, что Конвент издавал во II и III годах „Сборник постановлений комитетов Национального Конвента, обязательных для установленных властей“³⁾.

В число всех указанных документов не входят еще брошюры, листки, плакаты, среди которых выделяются речи, отдельные мнения, проекты, доклады, прокламации и т. п., еще очень недавно составлявшие предмет торговли у автиевариев. Всякого рода рисунки (портреты, сцены, аллегории, барика-

¹⁾ Collection générale des décrets rendus par l'Ass. Nat.

²⁾ Collection générale des lois, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif.

³⁾ Recueil des arrêtés des comités de la Convention Nationale obligatoire pour les autorités constituées.

туры), равным образом, сохранились в громадном количестве.

В 1820 году стало выходить под редакцией Бервиля и Баррьера „Собрание мемуаров, относящихся к французской революции“¹⁾. Менее, нежели в десять лет (1820—1828), появилось шестьдесят томов этой коллекции со вступительными статьями и примечаниями. Одними из первых были изданы здесь мемуары Байльи, Барбару, Буйлье, Дюмурье, г-жи Ролан и др., все они еще до появления трудов Минье и Тьера. В период времени между 1846 и 1866 годами выходила в свет другая коллекция под заглавием „Библиотека мемуаров, относящихся к истории Франции в XVIII веке“²⁾ с примечаниями Баррьера. В ее 28 томах были перепечатаны разные мемуары первой коллекции и некоторые другие. В 1875 г. началось издание „новой серии“ этой „Библиотеки“ с введениями и примечаниями Лескура, заключающее в себе еще девять томов, от 29 до 37 (из которых, впрочем, последний не имеет отношения к революции). Кроме того, в прошлом столетии предпринимались и другие коллекции мемуаров о революции, но большую часть скоро прекращались, в XX же столетии издательство Пикара начало серию „Мемуаров и документов, относящихся к XVIII и XIX векам“³⁾. Издавались мемуары и отдельно, вне каких-либо коллекций, между прочим, среди других изданий таких ученых обществ, как „Société d'histoire contemporaine“, которое с девяностых годов прошлого века издало около десяти произведений этого рода.

Писание и печатание мемуаров—не столько, впрочем, в смысле воспоминаний, когда прошлое было еще столь недавним, сколько в виде объяснений и оправданий своего поведения—началось еще во время самой революции. Кое-что из этого материала могло быть известным первым же историкам революции, но многое оставалось под спудом даже до довольно позднего времени по тем или другим причинам.

В пользовании архивным материалом тоже замечается некоторая постепенность. Прежде всего обратились к париж-

¹⁾ Berville et Barrière. Collection des mémoires relatifs à la révolution française.

²⁾ Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France en XVIII siècle.

³⁾ Mémoires et documents relatifs aux XVIII et XIX siècles.

ским архивам, из которых наиболее богатый и важный Национальный Архив (Archives Nationales) сам обязан был своим происхождением революции, в частности Учредительному Собранию, издавшему о том декреты 4 и 7 сентября 1790 года, и Конвенту, давшему архиву правильную организацию. Пользование документами этого громадного склада рукописного материала очень доступно для занимающихся историей, но долгое время редко кто посещал его для занятия французской революцией. Превосходные пособия Ланглуа и Штейна, и Тюта теперь значительно облегчают работу в Национальном Архиве, хотя первое нуждалось бы в дополнениях¹⁾. Сравнительно очень недавно в научных целях начали пользоваться архивами отдельных министерств, среди которых, напр., министерство иностранных дел допускает посторонних к занятиям без особых стеснений лишь для эпохи, предшествовавшей началу революционных войн. Провинциальные, т. е. департаментские и муниципальные архивы, уже после парижских начали доставлять материал для историографии революции. В своем месте будет нами рассмотрена деятельность разных учреждений и лиц по изданию архивных материалов.

История французской революции, понятное дело, ранее всего стала разрабатываться и более всего разрабатывалась во Франции. Но и в других странах, прежде всего в Англии и в Германии, она обратила на себя внимание сначала публицистов, потом и историков. В Англии она породила целую литературу памфлетов за и против, из которых особенно большое значение в образовании отрицательного отношения к революции имела книга Эдмунда Бёрка, влияние которой чувствуется даже на труде Тэна. Менее известною была статья германского философа Фихте, посвященная исправлению взглядов на французскую революцию. Англия и Германия дали несколько видных историков революции, каковы Карлейль, Лоренц Штейн, Зибель и друг. Французская револю-

¹⁾ Ch. V. Langlois et H. Stein. Les archives de l'histoire de France. 1891 (в первом томе французские архивы, во втором — иностранные). A. Tuetey. Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la révolution française. Первый том вышел в 1890 г., девятый в 1910 г. — См. также P. Caron. Manuel pratique pour l'étude de la révolution française. 1912. Стр. 62—110.

ция имела не только местный, национально французский, но и универсальный, общеевропейский характер и не по одним своим идеям, которым французы придали силу общечеловеческих принципов, приложимых во всех цивилизованных странах, а также и по тем практическим следствиям, какие революция имела для соседних наций. Везде часть общества, настроенная более прогрессивно, приветствовала с энтузиазмом начало нового порядка вещей, но везде же революция встретила и сильную оппозицию, которая, в конце концов, одержала победу над противоположным направлением, когда во Франции началась эпоха террора и французы выступили на путь завоеваний.

Англичане и немцы сделали свои вклады в историографию французской революции, обратившие на себя внимание и в самой Франции. (Например, труды Карлейля и Зибеля были переведены). Позже всего, лишь в конце XIX века началась работа над разными темами из истории французской революции и в России, причем в одной области, а именно в истории социально-экономических отношений русские исследователи отчасти опередили самих французов, по собственному признанию последних. В виду сказанного, сделав своим главным предметом историографию французской революции в самой Франции, мы дополнительно рассмотрим и то, что для разработки этой эпохи сделано и в других странах, где только сколько-нибудь самостоятельно занимались этим предметом.

Нужно при этом не забывать, что революция имеет не только внутреннюю историю, но и историю внешнюю в смысле ее влияния на другие страны, распространения в них ее идей и учреждений, с одной стороны, и тех дипломатических и военных отношений, какие возникли между правительствами Франции и ее соседей, с другой. Если по отношению к внутренним делам Франции историками проявлялся их классовый и партийный субъективизм, то в области внешней политики проявлялся и субъективизм национальный. Французские историки революции никогда почти не забывают, что дело шло не об одном внутреннем преобразовании Франции, но и о спасении ее целостности, независимости и достоинства в борьбе с внешними врагами. Очень часто и события внутренней жизни оценивались с точки зрения значения их для внешнего положения Франции.

ГЛАВА II.

Публицисты времен революции и первые ее историки.

Прежде нежели мы станем рассматривать отдельные исторические труды о французской революции, нужно остановиться еще на тех взглядах, которые высказывались о ней во время самой революции, и которые не могли не влиять на общие о ней мнения, с какими приходилось считаться и ее историкам.

В 1789 году французы поставили целью своих стремлений ввести у себя политическую свободу, но довольно скоро некоторые тогдашние деятели стали догадываться, что цель эта достигнута не будет. В их числе видное место занимал Жан-Жозеф Мунье, гренобльский юрист, еще до начала революции проявивший большое рвение в политической агитации. Он был в 1788 году одним из руководящих членов знаменитого визильского собрания, на котором депутаты трех сословий Дофинэ потребовали созыва Генеральных Штатов с поголовным на них голосованием. Попав в Штаты депутатом от своей провинции, он предложил в знаменитом заседании в Jeu de paume присягнуть в том, что депутаты не разойдутся, пока не дадут Франции конституцию, и вскоре после этого сделался членом комитета, вырабатывавшего новую конституцию. Но потом он вышел из этого комитета и даже оставил и свое место в Национальном собрании, в конце же концов покинул и Францию еще в мае 1790 года. Мунье не соглашался на разные ограничения королевской власти, какие проектировались комитетом, вследствие чего и вышел из состава комитета, а когда произошли известные события 5—6 октября 1789 года, то отказался и от своего депутатства, сначала уехав в Гренобль, где протестовал против всех актов Собрания, как утратившего свободу своих действий, и вскоре эмигрировал за границу. Опубликовав объяснение

своего поведения (*Exposé de la conduite de Mounier*) и апелляцию к общественному мнению (*Appel à l'opinion publique*), Мунье через два года издал еще свои „Разыскания о причинах, помешавших французам стать свободными“ (*Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres*). В этом произведении Мунье резко критиковал старый порядок, несколько не изменив свой взгляд на него, высказанный им раньше в одном из своих сочинений (*Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France. 1789*), и потому попрежнему оправдывал происшедшую революцию, но лишь до того времени, когда она сошла с правильного, по его мнению, пути. Это не был личный взгляд одного только Мунье: с ним мы встретимся, напр., еще у г-жи Сталь. Другая тема, занимавшая Мунье в истории революции, касалась влияния на революцию политических идей XVIII века, о чем он издал особый трактат под заглавием „*De l'influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés sur la révolution de France*“, изданный уже во Франции (1801) по возвращении автора домой после переворота 18 брюмера ¹⁾. В этой своей книжке Мунье доказывает, что революция была произведена не философами, а „обстоятельствами, им безусловно чуждыми“ (стр. 22), каковые и рассматривает, указывая на политические учреждения старого порядка. Само стремление к свободе вовсе не было внушено обществу философами: „разве свобода есть изобретение новых времен“ (стр. 29)? То же можно сказать и о равенстве (стр. 49). Мунье опровергает

¹⁾ Последняя тема об идейном генезисе революции была одною из очень распространенных. Влияние философии XVIII века на революцию признавалось не только теми, которые сами делали революцию, но и теми, которые были ее противниками и ставили в литературе XVIII века в вину проповедь субверсивных идей, и этого вопроса касались также писатели третьей категории, стремившиеся снять с философов вину за все совершенные во время революции злодеяния. В числе проживавших за границей образованных русских вельмож того времени был кн. Дм. Ал-евич Голицын, состоявший в 1751—1768 г.г. при русском посольстве в Париже, отсюда переведенный посланником в Гаагу. Поклонник Вольтера, Дидро и других писателей эпохи, даже издатель посмертного сочинения Гельвеция „*De l'homme*“, рукопись которого им была куплена, этот просвещенный дипломат, кое-что сам писавший, в 1796 г. издал в Брауншвейге рассуждение о несправедливости экономистов к злодеяниям революции под заглавием „*Esprit des économistes ou les économistes justifiés d'avoir posé par leurs principes les bases de la révolution française*“. Книга эта—библиографическая редкость, которой даже нет в нашей Публичной Библиотеке в Петербурге.

и тот взгляд, будто революция была результатом заговора (стр. 32). Для доказательства, что революция была задолго приготовлена, ссылаются на разные о ней предсказания, но последние были применимы ко всем европейским государствам (стр. 54). На немногих страницах (58—72) Мунье говорит об отношении философов XVIII в. к религии, которая от них действительно пострадала, но ведь религиозные верования не связаны с известной формой правления (стр. 64), как и неверие вовсе не находится в необходимой связи с ненавистью к установленным правительствам (стр. 70). Автор ищет причины бедствий времен революции особенно в обстоятельствах, т. е. в нравах, учреждениях и т. п. (стр. 80 и сл.), рассказывая вкратце ход революции. В частности, он останавливается на якобинцах (стр. 129), обвиняя не столько их демократические принципы, сколько преступные средства, которыми они пользовались (стр. 132). Если и есть ложные идеи в философии XVIII века, то не предрассудками же XII столетия их оспаривать (стр. 5). Зарождение политического переворота в перевороте умственном было, так сказать, общим местом в тогдашней публицистике: когда одни сваливали все беды на вольнодумных писателей, другие старались их обелить, после того, как революция вышла из тех границ, каие ей ставились более умеренно настроенными людьми, в роде Мунье. Причины самого возникновения революции подвергались обсуждению несколькими авторами, из которых двое не останавливались на созыве Генеральных Штатов и восходили к движению, начавшемуся годами двумя раньше. В этой мысли,—усвоенной в новейшей историографии Шере, о котором речь далеко еще впереди,—сошлись между собою два современника революции, из которых один был роялист, другой сторонник революции.

Первый из них был журналист и литератор Монжуа (Montjoie), изгнанный из Франции в 1797 году за свои роялистические сочинения, издававшиеся им после 9 термидора. В указанном году он опубликовал двухтомную „Историю революции во Франции“ (Histoire de la révolution de France depuis la présentation au parlement de l'impôt territorial jusqu'à la conversion des états généraux en Assemblée nationale), в которой рассмотрел события последних двух с небольшим лет перед началом революции. Автор находил, что писавшие прежде

него о революции совершенно напрасно не обращали достаточного внимания на этот период, так сказать, заслоненный следующим, потому что, говорит он, „эта наиболее интересная часть революции“ показывает, „как развивались причины и движения, которые подготовили и произвели“ все последующее. События революции, по его мнению, не могут быть столь интересными и поучительными для будущих поколений, если рассказу о них не будет предшествовать „история причин, мнений и писаний людей, помогавших возникновению этих событий“. Эту же мысль проводил в своей „Истории Учредительного Собрания“ Александр Ламет, сам бывший одним из наиболее либеральных членов этого Собрания. Он прямо считал ошибочным начинать историю революции с Генеральных Штатов. „Уже за несколько лет перед ними, говорит он, революция не только была неотвратима, но даже прямо началась“. Но особенно подчеркивает он, что в эти годы „объявили войну правительству и подали знак к бунту против власти“ сами же привилегированные, а народ им только стал помогать. „Разве, спрашивает автор, с этого времени все составные части старой монархии не были уже в полном разложении, и разве не эти беспорядки с недостатком денег и неизбежной дезорганизацией всего государственного строя заставили созвать Генеральные Штаты?“ Эту последнюю мысль усвоила и г-жа Сталь, но в последовавшей историографии она не получила дальнейшего развития до применения ее у Шере.—Особую категорию публицистических произведений о французской революции представляют книги, в которых это событие рассматривается с теологической точки зрения. В III году по республиканскому календарю известный иллюминат Сен-Мартен издал „Письмо к другу о французской революции“¹⁾, в котором провидел как бы „революцию человеческого рода“ и „подобие страшного суда“ (une image abrégée du jugement dernier, стр. 12). Это было „посещение господом“ Франции прежде других стран, ибо она была самая виновная, потом же оче-

¹⁾ Lettre à un ami sur la révolution française, причем в более подробном заголовке в середине этого заглавия вставлены слова: ou considérations politiques, philosophiques et religieuses“. Брошюра была издана в Париже анонимно в III году республики. Автор утешает своего друга, отчаявшегося за судьбу религии во Франции, пророка, что все кончится к наилучшему (стр. 1). Особенно этим оптимизмом отличается заключение (стр. 76—80).

редь дойдет и до других. Для Сен-Мартена главные виновники революции не философы, как, говорит он, принято многими думать. Руссо у него является даже „посланным“ (envoyé, стр. 33), „пророком“, а виновно духовенство, которое Сен-Мартеном и подвергается обличению (стр. 1, 13 — 14 и др.). В революции было наказание за грехи прошлого, провиденциальная же цель всеулучшения — установление теократии. С этой точки зрения, продиктованной мистицизмом Сен-Мартена, политическая сторона революции отступала на задний план; даже можно сказать, что по существу автор „Письма к другу“ не был врагом революции, каким выступает в то же время Жозеф де-Местр. У Сен-Мартена даже есть, например, такое место: „не видели ли мы, как притесняемые, как бы действием сверх-естественной власти, возвратили все права, которые отняла у них несправедливость?“ И на той же странице (13), где мы читаем эти слова, он называет дворянство „чудовищным наростом (excroissance monstrueuse) среди людей равных по своей природе“.

Жозеф де-Местр, как известно, был одним из наиболее талантливых и влиятельных вождей культурной и политической реакции, вызванной французской революцией¹). Свою книгу „*Considérations sur la France*“, на которой мы здесь остановимся несколько подробнее, он издал в Лозанне в 1796 году. Она имела большой успех, выдержала одно за другим два издания, а в 1797 году и третье, сделанное в Базеле. Автор готовял и четвертое для распространения его во Франции, когда в ней, в эпоху 18 фрюктидора, ожили надежды на монархическую реставрацию, но ни эта реставрация, ни распространение книги де-Местра не осуществились. В 1814 году, в Париже книга была еще раз перепечатана, хотя и в несколько искаженном виде.

Этот писатель, собственно, не принадлежал самой Франции, потому что был сардинским подданным и даже состоял долгое время посланником лишнего своих владений сардинского короля при русском дворе. Родиной его была захвачен-

¹) О Жозефе де-Местре, кроме старых работ (Sainte-Beuve в *Causeries des lundis* и в „*Portraits littéraires*“ и др.), книги Paulhan (1893), Gogordan (в коллекции „*Les grands écrivains*“, 1894) Descostes, Mandoul (1900), Grasset (1911), Vesins (1907) и др. На русск. яз. есть статья С. Н. Трубецкого в т. I (и, кажется, единственном), „*Рефератов Московск. Историч. Общества*“.

ная французами Савойя, которую он покинул, чтобы жить на чужбине, где он и писал свои прославившие его сочинения крайне реакционного направления. И университетское образование свое он получил в Турине, куда вернулся за четыре года до смерти. Вот почему он мог говорить, что смотрит на французов, как человек им посторонний, но, в сущности, это был человек французской духовной культуры, в молодости даже испытавший на себе влияние идей Руссо. В названном трактате Жозеф де-Местр, прежде всего, обращает внимание на стихийную силу, проявившуюся во французской революции. Все, что ее могло бы предупредить, как бы не существовало, и ничто не удавалось тем, которые хотели ей помешать. „Самым поразительным“ в ее истории он считает ее какую-то „непреборимую силу (cette force entraînante), ломающую все препятствия. Было замечено, говорит он, и совершенно верно, что французская революция сама более вела людей, нежели люди ее вели... Сами злодеи (scélérats), которые казались руководителями революции, входят в нее, как простые орудия¹⁾. Как только они претендуют над ней господствовать, они падают постыдным образом. Те, которые установили республику, сделали это, вовсе того не желая и не зная, что делали; они были к этому приведены событиями: предварительный проект не удался бы. Никогда Робеспьер, Колло и Барер не думали об установлении революционного правительства и режима террора; они были приведены к этому незаметно обстоятельствами... Эти люди, в высшей степени посредственные, проявляли самый ужасный деспотизм, какой только известен в истории, над виновной нацией, и несомненно, во всем королевстве они были людьми, наиболее удивленными по случаю своего могущества. Но в тот самый момент, когда эти отвратительные тираны наполнили меру преступлений, какую была необходимо в этом фазисе революция, некое дуновение их опрокинуло“ (стр. 19). Революция имела успех силою веры в революцию. „Люди без гения и без знаний, продолжает де-Местр, очень хорошо направляли то, что называли революционной колесницей; они на все дерзали, не боясь контр-революции; они

¹⁾ Considérations sur la France, стр. 18 по брюс. изд. Oeuvres de Joseph de Maistre. 1838, том VII, стр. 18.

шли все вперед, не озираясь назад; и все им удавалось, потому что они были только орудиями силы, знавшей в этом больше, нежели они (стр. 20). Наконец, прибавляет он, чем более вглядываешься в лица, по видимости наиболее активные в революции, тем более находишь в них нечто пассивное и механическое. Никогда не излишним будет повторить, что не люди направляют революцию: это сама революция пользуется людьми. Очень хорошо выражаются, когда говорят, что она сама по себе идет". Автор думает, что в этом проявляется божество: „если оно употребляет самые подлые орудия, то потому, что наказывает для того, чтобы возродить“ (стр. 21). Итак, не люди делали революцию, а она сама делалась, или вернее, она была орудием наказывающего бога. Таков вывод де-Местра в первой главе „о революциях“, а во второй — „о путях Провидения во французской революции“ объясняется, за что же наказывалась Франция.

„Каждая нация, каждый человек, рассуждает де-Местр, имеет миссию, которую должны исполнить“. Миссия Франции, король которой назывался христианнейшим, была в том, чтобы стоять во главе религиозной системы. „Однако, так как она (Франция) воспользовалась своим влиянием (в Европе), чтобы впасть в противоречие со своим призванием и деморализировать другие народы, нет ничего удивительного, что она была возвращена к своему призванию ужасными мерами“ (стр. 22). „Все те, которые желали революции, справедливо были ее жертвами, даже для нашего ограниченного понимания“ (стр. 23). Французы наказывались свыше за свои грехи, к числу каковых относится „покушение, совершенное на верховную власть во имя нации“, представляющее собою всегда „национальное преступление“ (стр. 26). Но это страшное наказание было в глазах автора „*Considérations sur la France*“ и единственным средством спасения Франции. Роялисты, стремившиеся к быстрой и насильственной контр-революции при помощи иностранной силы, в сущности, вели дело к разделению, ослаблению и унижению Франции, а вот как-раз, наоборот, „все чудовища, которые были порождены революцией, видимо работали только в пользу королевской власти“ (стр. 32), вызвав своими победами удивление всей Европы и прославив французское имя, которое не могли окончательно опозорить преступления революции (стр. 33).

Де-Местр думает, что и „неслыханные преследования, возбужденные против национального культа и его служителей“ были своего рода исправительной мерой, поскольку французское духовенство должно было переродиться (стр. 33).

В своей книге де-Местр выступает моралистом и публицистом, моралистом религиозным, публицистом консервативным, отнюдь не историком, не объективным мыслителем. Но и со своей точки зрения он не мог не видеть, прямо должен был видеть противоречие между провозглашенными целями революции и фактическими способами ее действий. „Когда, говорит он, например,—когда слышишь, как эти будто бы республиканцы говорят о свободе и добродетели, то словно видишь перед собою увядшую куртизанку, разыгрывающую роль молодой девственницы с краскою стыдливости из кармина“ (стр. 63). Как писатель религиозный, де-Местр не мог не остановиться на антирелигиозном характере французской революции, посвятив этому целую главу (X). В этом событии он видел „сатанический характер, отличающий ее от всего, что видели, и, может быть, от того, что когда-либо увидят“ (стр. 69). Политические идеи де-Местра были все проникнуты теологическими соображениями. Сам человек ничего не может создать. Никакая конституция не может быть результатом прений (стр. 81), и ни одна нация не в состоянии дать себе свободу, если ее не имеет (стр. 82). В 57 месяцев революции было издано пятнадцать с половиною тысяч законов, но „удивление перед этой цифрой превращается в радость, когда подумаешь о ничтожестве этих законов: перед нами только дети, убивающие друг друга, чтобы построить большое карточное здание“ (стр. 89). „Что сделали эти якобы законодатели за шесть лет? Ничего, ибо разрушать не значит делать“ (стр. 90). Но де-Местр касается и исторического вопроса: существовала ли в прежней Франции конституция? (гл. VIII). На этот вопрос давалось три ответа: 1) Нет, не существовала; 2) да, существовала и 3) да, существовала, но не исполнялась. Автор „Рассуждений“ проводит ту точку зрения, что в давном отношении Франция стояла „превыше всех известных монархий“ (стр. 101): если эти прекрасные законы не исполнялись, то „вина в этом самих французов“, для которых и не может быть надежды на свободу, ибо если народ не умеет извлекать пользу из

своих основных законов, то в высшей степени бесполезно, чтобы он отыскивал какие-либо другие“ (стр. 107). Но, думает де-Местр, французов в этом отношении испортили англичане, которые „им указали, сами в это не веря, что Франция будто-бы находилась в рабском состоянии, как уверили еще, что Шекспир лучше Распина, а французы этому поверили“ (стр. 108). Как человек, „совершенно чуждый Франции и никогда ее не видевший“, по собственным его словам, де-Местр считал себя в праве говорить так, не боясь навлечь на себя гнев французов (стр. 121). Но и не будучи французом, он все-таки очень желал, чтобы во Франции произошла контр-революция в смысле восстановления христианства и монархии.

Таков общий характер рассуждений де-Местра, в которых встречаются и софизмы, и пафосности, изложенные, однако, языком сильным и ярким. Последняя (XI) глава его книги представляет собою, некоторым образом, сравнение французской революции с английской, о чем подробнее будет сказано дальше, в другой связи. Я отмечу только, что, по мнению де-Местра, во обеих революциях народ был ни при чем. „Народ, говорит он, не имеет значения в революциях или, по крайней мере, участвует в них только, как пассивное оружие... Народ точно также, если восстановится монархия, весьма мало будет декретировать это восстановление, как мало декретировал и разрушение при установлении революционного правительства“ (стр. 124—125). „Во французской революции, говорит он еще, народ постоянно насиловался, оскорблялся, разорялся, унижался разными партиями (factions), как и партии, в свою очередь, будучи грушечками одни других, несмотря на все свои усилия, постоянно шли к собственной гибели“ (стр. 127). Аналогию этому порабощению народа де-Местр усматривает и в истории английской революции, пользуясь свидетельством английского историка Давида Юма (стр. 181), у которого берет и следующие слова: „очень редко народ что-либо выигрывает от революций, которые изменяют образ правления, потому что новая власть, ревнивая и недоверчивая, нуждается, чтобы держаться, в большей самоохроне (défense) и строгости, чем прежняя (стр. 171).

Де-Местр, уверенный в том, что „нет беспорядка, который вечная любовь не обратила бы против злого начала“,

находил, что при создавшихся условиях, как мы видели, только революционеры могли предохранить Францию от расчленения ее иностранцами. Кроме того, созданная им централизация, по его мнению, должна была пойти на пользу будущей монархии. Впоследствии и на самого Наполеона он смотрел с той же точки зрения, видя в нем гениального узурпатора, который один только мог восстановить во Франции монархическую власть, т. е. совершить дело, бывшее самим Бурбонам не под силу.

На французском языке из-под пера француза же по языку, но не по государственной принадлежности, каким был Жозеф де-Местр, вышла еще одна враждебная революции публикация под заглавием „Рассуждения о природе французской революции и о причинах, ее продолживших“ (1793), автором которой был женевец Жак Малле дю-Пан ¹⁾. Малле дю-Пан ²⁾ для историографии французской революции важен не столько как автор названной публикации, сколько в качестве журналиста, тщательно следившего за событиями революции, и осведомителя иностранных дворов о том, что делалось во Франции. Родом он был, как только что сказано, женевец, но еще до революции поселился в Париже, где в 1788 году сделался редактором политического отдела в „Mercure de France“ ³⁾, ведя его потом в духе умеренных конституционалистов. Францию он оставил в 1792 году и долго жил потом в Берне, пока не приехал в 1797 году в Англию, где и умер в самом начале консульства, основав здесь свой собственный журнал „Mercure Britannique“. Изданные в Брюсселе в 1793 году „Considérations“ обратили на него внимание иностранных дворов,

¹⁾ *Considérations sur la nature de la révolution française et sur les causes qui en prolongent la durée.* Я пользовался немецким переводом Gentz'a: *Ueber die französische Revolution und die Ursachen ihrer Dauer.* Berlin. 1794.

²⁾ Новейшие о нем труды: *Vallotte. Mallet du Pan et la révolution française.* 1893.—*Descostes. La révolution française vue de l'étranger.* Mallet du Pan à Berne et à Londres. 1897.—*Bernard Mallet. Mallet du Pan and the French revolution.* 1902. (Появилась в „Эдинбургском Обзрении“ 1885—1892 годов и в издании Berhem'a (см. ниже).

³⁾ В книге Р. Кунова „Борьба классов и партий в великой французской революции“ (стр. 218—226 по второму издан. русск. перевода, 1919) есть общая характеристика участия Малле дю-Пана в этом еженедельнике, как „любозытейшем явлении конгр-революционной журналистики 1789—1792 г.г.“, причем самому журналисту приписывается оригинальность. Автор подчеркивает влияние Малле дю-Пана на Тэна.

которым он затем и посылал свои донесения о французских событиях, имея своих корреспондентов в Париже. Впоследствии Малле дю-Пан был основательно забыт, пока уже в середине XIX века не были изданы его мемуары и переписка, обратившие на него внимание и вызвавшие ряд работ о нем ¹⁾. Особенно высоко ценил его Тэн, взгляды которого на революцию очень сходятся со взглядами Малле дю Пана, бывшего ярким врагом якобинцев и действительно хорошо понимавшего все отрицательные их стороны. Тэн, между прочим, написал предисловие к изданию переписки Малле дю-Пана с венским двором, настоящую апологию этого публициста. В своем большом труде о революции он часто ссылается на его статьи в „*Mercur de France*“ и т. д. Равным образом, и другой видный историк революции, Сорель, изучавший дипломатическую историю революции, широко пользовался данными, оставленными Малле дю-Паном.

Малле дю-Пан был одно время очень близок к Жозефу де-Местру в своей оценке революции, но далек от его теологического и мистического ее объяснения. Это был преимущественно тонкий наблюдатель событий, более спокойный и осторожный, чем многие другие враги революции, в своих о ней суждениях. Когда уже в 1798 году один англичанин, задумавший написать ее историю, обратился к нему за советом, то получил такой ответ: „писать историю какой-либо эпохи можно только через сто лет. Современники могут оставить потомству только мемуары о своем времени; историк приходит после, сравнивает, разъясняет и ищет истины в этом материале, устраняя все неточности и неверности, продиктованные страстями, партийностью (*esprit de parti*) и предрассудками“. Писать историю раньше, прибавляет он, значит „писать из-за любопытства, а не ради разума“, все равно, что „рисовать пейзаж в осеннем тумане“ ²⁾.

¹⁾ André Sayous. *Mémoires et Correspondance de Mallet du Pan, pour servir à l'histoire de la révolution française*. 1851.— Кроме того, имеются издания: André Michel. *Correspondance inédite de Mallet du Pan avec la cour de Vienne*. 1884 (с предисловием Тэна).— Victor van Berchem. *Lettres de Mallet du Pan à Saladin—Egerton*. 1895 (с биографией, написанной Малле) Масса неизданного материала имеется и в книге Descostes. Первый отзывался о нем Sainte-Beuve (в *Causeries du lundi*, IV).

²⁾ Fr. Descostes. 61—62. Не выписываю всего этого места, заключающего в себе и другие меткие замечания.

Малле дю-Пан даже прямо признавался в трудности разобраться в причинах революции, отличить существенные причины от случайных. „Все—предмет тяжбы, в которой каждый и судья, и сторона, каждый приспособляет события к своим страстям и интересам. Стоит только так объяснить революцию, чтобы в ней не было ничего неясного и сомнительного, да объяснить все пореже, и вас будут восхвалять, а издатель вашей книги будет давать вам хорошую пенсию“. Малле дю-Пана больше интересуют результаты революции и общий ее характер. Последний он определяет так: „Это смесь узурпаторской злобы и схоластического фанатизма, привитых к национальному тщеславию; это—сцепление преступлений, вызванных другими преступлениями в постепенных переходах от духа независимости к потребности в настоящем деспотизме; это—непостоянство мнений после горячки энтузиазма; это—соединение духа (*génie*) сект с духом завоевателей, нападающих сразу на территории и на учреждения, религии, обычаи, нравы, на имущества и на общественные чувства; это—состязание лицемерия с жестокостью, языка просвещенности с неизменною невежеством, софизмов с преступлениями и усовершенствованной испорченности с грубостью варварских времен; наконец, это—вечный контраст между принципами и действиями, между господством идей и господством интересов, между силою людей и силою событий,—контраст, который, породив ряд превратностей, их увековечил и который не может быть объяснен ни декламациями, ни апокалиптическими баснями о тайных причинах. Если, заключает Малле дю-Пан, в этом чудовищном движении видите только опрокинутый трон, подвергшихся проскрипции дворян, ограбленных прелатов и установление республики, вы остаетесь только на полпути и будете принимать средства за самые результаты“¹⁾.

В общем враждебном отношении к революции из людей, о ней писавших, Малле дю-Пан сошелся, между прочим, с Мунье и с Жозефом де-Местром, к которым и лично был близок, и с немецким публицистом Генцем, одно из произве-

¹⁾ Это место находится в одном мемуаре, написанном для прусского короля. Descostes, 93—94.

дений которого ¹⁾ даже очень хвалил. Есть основание думать, что Жозеф де-Местр и Малле дю-Пан сообща вырабатывали некоторые частные взгляды на революцию ²⁾, как ни были различны оба эти человека, один, настроенный мистически, другой, совершенно трезвый политик, более склонный наблюдать земную действительность, чем проникать в сокровенные намерения неба.

Предисловие к книге Малле дю-Пана, которую мы имеем здесь главным образом в виду, помечено августом 1793 года, когда, незадолго перед тем, якобинцы, взявши перевес над жирондистами, захватили всю власть в свои руки и заставили замолчать всякую оппозицию (стр. 9 нем. перев.). Но еще раньше было ясным, что революция, как выражается автор, „сделалась космополитическою и не принадлежит больше исключительно одной Франции“ (5). Война против Франции только еще более усилила самоё революцию (11), и было бы ошибочно, говорит автор, видеть в этой войне простую борьбу держав между собою (13): дело идет о принципах, о возможности распространения принятых французами учений и подаваемых ими примеров и на другие нации (15). Это обстоятельство, говорит Малле дю-Пан, и заставило его заняться исследованием вопроса о том, что такое эта революция. Говоря о ее происхождении, он прежде всего указывает на „парижскую философию“, относительно которой уже давно „истинная философия предупреждала правительства“ (19), но особенно на „Общественный договор“ Руссо, ссылаясь здесь на критику его учения у Мунье в названной выше книге (20). Бросая взгляд на общий ход революции, он выдвигает вперед якобинцев, как единственную, по его мнению, „настоящую партию“, тогда как другие были только чем-то несерьезным или бессильным (31). Автору установление республики кажется сознательною целью революционеров с самого же начала, что, конечно, было не так, но многие замечания его о ходе событий обнаруживают в нем вдумчивого наблюдателя. Между прочим, это касается близорукой политики конституционалистов (36 и др.).

¹⁾ См. ниже. Генц, как было уже указано, перевел книгу Малле дю-Пана на немецкий язык, написав в похвалу автору предисловие, в котором ссылается на самый лестный отзыв Мунье об этом публицисте (стр. XXXVI—XXXVII).

²⁾ Descostes, 205—208.

Недаром он считал себя в праве сослаться на свои сбывшиеся потом предсказания в „*Mercur de France*“ (64 — 65). Очень своеобразно понимал Малле дю-Пан, в чем заключался раскол (в нем. перев. *die Trennung*) среди республиканцев, между которыми различает бриссотцев и маратистов (85 — 103). В особенности же его интересовала связь революции с войной, связь, по его представлению не случайная, ибо, говорит он, обе имеют общее происхождение, „выросли из одного ствола“ (104). В общем, Малле дю-Пан обнаружил здесь большую осведомленность во французских отношениях, рассеял немало метких замечаний среди, однако, массы других, которые историками не могут быть приняты по их несоответствию с фактической истиной. Но современникам автор говорил часто весьма верные вещи. Так, например, он указывал, что очень ошибаются противники революции, думающие, будто, кроме яростных республиканцев, все во Франции желают вернуться к прежнему положению. Дух революции также переживает ее, как и предшествовал ей, и даже оставил свои следы в чувствах угнетенных. Якобинцев ненавидят, ждут конца их господства, но в этом хаосе развилось множество новых отношений, породивших разные частные интересы (199 — 200).

К числу авторов, писавших рассуждения о французской революции еще до ее окончания, принадлежит и знаменитый французский писатель реакционной эпохи Франсуа-Рене Шатобриан ¹⁾. Ему всего только исполнилось гражданское совершеннолетие (род. в 1768 г.), когда вспыхнула революция. Впоследствии он признавался, что „благородные чувства, лежавшие в основе вачавшихся волнений, соответствовали независимости его характера, и что это настроение усиливалось естественно антипатиею, какую ему внушал двор. Революция, прибавлял он, меня бы увлекла, если бы не началась преступлениями; я видел первую голову, которую носили на пике и отступил (*et je reculai*)“. Действительно, Шатобриану пришлось присутствовать при штурме Бастилии, но только в качестве зрителя, относившегося к происходившему с пронией,

¹⁾ О Шатобриане, кроме старых трудов Вильмена. Сент-Бева. Марселюса и др. *De Lescure* (в коллекции *Les grands écrivains de France*. 1892). Gombert de la Garde (1901), lady Blennerhasset (1902), Giraud (194 и 1912), Cassagne (1911), Е. Петров (в сб. „Из далекого и близкого прошлого“, 1923).

которая скоро сменилась негодованием, когда он увидел толпу, несшую на пиках головы Фулона и Бертье. Сцены, сопровождавшие переезд короля из Версаля в Париж, оказали на него такое же действие. „Не принимая, как он писал много позже, и не отвергая новые идеи, и одинаково мало расположенный нападать на них или им служить“, он не хотел ни эмигрировать, ни продолжать военную службу, в которую перед тем вступил, и уехал в Америку с целью географических исследований. Там он пробыл весь 1791 год, а вернувшись во Францию, эмигрировал в середине следующего года, дрался одно время на границе Франции, но скоро уехал в Англию, где занялся составлением „Исторического, политического и морального опыта о древних и новых революциях, рассматриваемых в их отношениях к французской революции наших дней“¹⁾. Работал он над этим в 1794 году, но издан был труд только в 1797 в двух частях, заключающих в себе около 700 страниц. Во Франции книга не имела никакого успеха и очень умеренный в Англии.

„Опыт“ Шатобриана отразил на себе то скептическое настроение, усиленное еще весьма естественным в тогдашнем положении автора настроением, которое владело им до его „обращения“, т. е. возвращения к католицизму от вольномыслия, каковым он отличался в ранней молодости по моде, бывшей в ходу в светском обществе старого порядка. Некоторые места в „Опыте“ дали возможность недругам Шатобриана выражать сомнение в искренности его обращения и даже насмеяться над ним, что вынудило его реагировать на нападки изданием 1829 года, в котором он старался заглазить свои юношеские прегрешения. Многие в его „Опыте“ не соответствовало его тогдашней репутации роялиста и католика. Самый переворот в его душе сказался на том, что он не продолжал больше свой широко задуманный „Опыт“, а сделался автором „Духа христианства“. В своем, оставшемся незаконченным, труде о революциях, Шатобриан поставил себе задачу рассмотреть все подобные французской

¹⁾ Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes considérées dans leurs rapports avec la révolution française de nos jours. Впервые эта книга была переиздана самим автором в V томе „Oeuvres complètes“ (Брюссель, 1829), но у меня была в руках сделанная в Лондоне в 1802 контрафакция, значительно отступающая от текста.

революции события древней, средневековой и новой истории, но успел сделать это лишь по отношению к античной Греции. Его особенно интересовали вопросы о том, какие прежние революции могли быть сравниваемы с французской и каковы были причины последней, в том числе и первичные, и те, которые ее непосредственно вызвали, а также вопросы о тогдашнем французском правительстве и о значении, которые могли бы получить для других стран сохранение или гибель этого правительства ¹⁾).

Книгу автор посвятил „всем партиям“ (*dédié à tous les partis*), а в предисловии к ней (*notice*) писал: „отрекаясь от всех партий, я привязан только к партии истины. Нашел ли я ее? Не смею высказывать на это притязание. Все, что я мог сделать, это было с трепетом идти вперед, постоянно остерегаться самого себя, никогда не высказывать своего мнения, не углубившись сначала в самого себя, чтобы найти там чувство, мне его продиктовавшее. Я старался противопоставить философию философии, разум разуму, принцип принципу, или, вернее говоря, я ничего этого не сделал, я только изложил сомнения честного человека“ (стр. XXI). Он хотел написать книгу, которая могла бы одинаково читаться и в Директории, и в королевских советах (стр. I). Одни современники, говорит он, „переносят нас в далекое будущее воображаемых совершенств, заставляя нас опередить свой век, другие нас тащат назад, отказываются объясниться и желают остаться людьми XIV века в 1796 году“. Он прямо рекомендовал себя читателям, как человека беспристрастного, свое положение — как наиболее благоприятное для истины (стр. 2). „Если, говорит он еще читателю, вы когда-нибудь почувствуете, что ваша кровь начинает волноваться, закройте книгу и подождите, когда ваше сердце станет биться ровнее, и тогда продолжайте чтение“. И о себе он говорит, что только со спокойным сердцем берется за перо, кладя его в сторону, лишь только почувствует волнение в крови. Поставив перечисленные выше вопросы, Шатобриан восклицает: „республи-

¹⁾ Стр. XIX пятого тома „Oeuvres complètes“, изд. 1829 года, которым я пользовался, не достав первого издания. Шатобриан говорит, однако, что перепечатывает его без всяких изменений. Приводимое определение задачи труда находилось первоначально в „Prospectus“, изданном в 1796 г. Повторено и в тексте (стр. 3).

банцы, конституционалисты, жирондисты, эмигранты, наконец политики всех сект, от того или иного понимания этих вопросов зависит ваше будущее счастье или несчастье". И здесь же он делает примечание, что будет употреблять эти названия партий, не вкладывая в них никакого обидного смысла. „Я, поясняет он свою мысль, не являюсь писателем какой-либо секты и очень хорошо понимаю, что могут быть честные люди со взглядами, не похожими на мои. Быть может, истинная мудрость состоит в том, чтобы быть не то, что без привапов, но без определенных мнений“ (стр. 3).

Для той эпохи, когда увидел свет „Опыт“ Шатобриана, это была позиция, на которую редко кто мог становиться среди французов. Она не могла понравиться читателям, искавшим только вящего подтверждения своих политических взглядов, не говоря уже о том, что суждения автора о французской революции высказаны были большею частью по поводу аналогичных событий древности, трактовавшихся, вдобавок, с большою ученостью. Конечно, здесь не место даже приводить примеры столь частых в книге сравнений, сопоставлений, сближений французской революции с аналогичными событиями в древней Греции, или параллелей между деятелями первой и последних и пр. вплоть до нахождения сходства Марсельезы с одной из воинственных песен Тиртея (стр. 41). Одно здесь метко и остроумно, другое произвольно и педантично в характеристиках как отдельных лиц, так и целых партий. Автор пускается даже в проведение параллелей между греческими и французскими поэтами, философами, публицистами. Вообще книга очень богата содержанием и интересными замечаниями талантливого автора о событиях, о нравах, о людях, об идеях и т. п. Содержание книги иногда слишком пестро, так что как будто рябит в глазах, а суждения автора подчас так неожиданны и парадоксальны, что приводят в недоумение.

Из своих постоянных сопоставлений Греции и Франции Шатобриан делает тот общий вывод, что „большая часть вещей, которые хотят считать новыми во французской революции, почти буквально можно найти в истории прежних греков. Мы уже обладаем той важной истиной, что человек, слабый по своим средствам и умственным способностям (génie), только и делает, что постоянно повторяется, что он

вертится в кругу, из которого тщетно пытается выйти, что даже факты, от него независимые, кажутся следствиями игры судьбы, непрерывно повторяются, так что можно было бы составить таблицу, где все события, какие только можно вообразить в истории данного народа, нашли бы себе место с математической точностью... Отсюда, заключает Шатобриан, следует, что человек, твердо убежденный в том, что в истории нет ничего нового, теряет вкус к нововведениям,—вкус, на который я смотрю, как на одну из самых важных язв, какими болеет Европа в данный момент. Энтузиазм вытекает из невежества: устраните его, и тот тогда исчезнет. Знание вещей есть опиум, превосходно успокаивающий экзальтацию“ (215). Это слова не озлобленного, ожесточенного человека, а человека, настроенного скептически и пессимистически, разочаровавшегося в том, что недавно было предметом его веры, хоть и неглубокой веры. Иногда ему кажется, что в моральном отношении новые европейцы хуже древних, и вся его книга направлена против „теории совершенствования“. Недавнее прошлое Франции рисовалось ему в мрачном свете. „Везде, говорит он, где небольшое число людей в течение долгих лет соединяет в своих руках власть и богатство, эти люди необходимо развращаются и тем более, чем более удаляются от прежнего состояния. У каждого есть свои пороки плюс пороки его предшественников, а двор во Франции существует тринадцать веков. Монарх, слабый, полюбивший свой народ, без труда был обманываем неспособными или дурными (méchants) министрами“. В таких и даже еще более резких выражениях автор „Опыта“ изображает старый порядок, его политические интриги, непоследовательность в направлениях политики, жадность господ положения, развращенность нравов и т. п. (122). Источниками революции являются у него поступательные движения (progrès) общества одновременно и в сторону большей испорченности, и в сторону большей образованности. „Вот почему, говорит он, во французской революции замечается столько превосходных принципов и столько гибельных следствий: первые вытекают из просвещенной теории, вторые—из порчи нравов. Это и есть настоящее объяснение непостижимой смеси преступлений, прилипших к стволу философии“ (174). Эти слова запряганы были автором в одно из многочисленных

подстрочных примечаний, хоть тут же он прибавляет, что в этом весь смысл его книги. Переиздавая ее в старости, он к этому примечанию сделал еще примечание: если я что-либо хорошее написал в своей жизни, то сюда нужно включить и это место.

Шатобриан относится очень сурово к энциклопедистам. „Каков был дух этой секты?“ спрашивает он и отвечает: „разрушение, разрушение, вот их цель. Что хотели они поставить на место теперешних вещей? Ничего. Это было какое-то неистовство против учреждений их страны, которые, по правде сказать, не были превосходными, но ведь тот, кто ниспровергает, должен же и созидать (rétablir), а это — дело трудное, вещь, которая должна нас предостерегать от нововведений“. От энциклопедистов осталось одно — французская революция, бывшая, впрочем, оговаривается Шатобриан, неизбежно по разным причинам (174). В противоположность энциклопедистам-разрушителям, он изображает якобинцев, как созидателей, но каких? Они, по его словам, „хотели произвести полный переворот в нравах своей нации, перемены костюмы, обычаи, самого бога в подражание тому, что Ликург сделал в своем отечестве“ (22), но между подражателями и тем, кому подражали, он видит большую разницу. Главная ошибка якобинцев для Шатобриана заключалась в их „пресловутой (fameuse) теории совершенствования, т. е. что люди некогда достигнут неизвестной еще чистоты и в государственном устройстве, и в нравах“ (23). Якобинцы предприняли нечто несбыточное. „Эти неистовые (fougueux) люди одни только могли выдумать средства для этого и, что еще невероятнее, частью начать их применять. Это были гнусные средства, но, нужно признаться, гигантского масштаба (conception)... Они развили одновременно беспримерную энергию и совершили злодеяния, с которыми едва ли могли бы сравниться все, какие только были в истории, вместе взятые“ (24). Шатобриан набрасывает здесь мрачную картину якобинского террора до того момента, когда „бог, обратив свой взор на Францию, не превратил якобинцев в ничто“ (24—27). „О них, продолжает автор, много говорили, но не многие их знали. Большинство бросается в декламации, выставляет на вид преступления этого общества, не объясняя вам, какой общий принцип

руководил их намерениями". Сам Шатобриан повторяет, что видит его в „системе совершенствования“, и прибавляет: „отличительная черта вашей революции в том, что в числе ее причин чрезвычайно большое место занимают умозрительный путь и отвлеченные теории. Она была произведена отчасти литераторами, которые, живя более в Риме и в Афинах, чем в своей стране, стремились возродить в Европе античные нравы“ (28). Начало первых шагов революции Шатобриан усматривал еще в реформации (192). При всем том он сам рассуждал довольно вольномысленно ¹⁾ о христианстве и о церкви (главы XXXIV—LV) и в духе Руссо считал несчастьем людей то, что „у них есть законы и правительство“ (218), противопоставляя общественному состоянию общественное, где только и можно найти истинную свободу (219—220).

В публицистике, вызванной французской революцией, рассмотренная книга Шатобриана занимает особое место. Во Франции, как он сам это свидетельствует (стр. III), она была мало распространена и даже скоро забыта теми, которые с нею познакомились (IV), так что о каком-либо ее влиянии говорить не приходится, но она характерна для истории той умственной реакции, которая под влиянием революции происходила в людях, бывших более или менее затронутыми вольномыслием XVIII века. К тому же пессимизм и скептицизм Шатобриана отчасти напоминают нам, среди позднейших историков революции, Ипполита Тэна.

В Англии с ее развитою общественною жизнью и свободою печатью французская революция сразу же сделалась предметом публицистического обсуждения ²⁾. Тории относились к ней враждебно, среди вигов произошел раскол, которому немало способствовало то, что один из виднейших деятелей этой партии, Бёрк, решительно осудил революцию, чем увлек за собою и других в лагерь ее противников. Его книга, полным заглавием которой было „Размышления о рево-

¹⁾ Переиздавая свой „Essai“, Шатобриан приложил к нему ряд выдержек из „Духа Христианства“, озаглавив их „Réputation de tous les chapitres précédents relatifs au clergé catholique“ (223—227). Ср. объяснения Шатобриана в предисловии к изданию 1829 года, где говорится о том, как „Опыт“ скандализовал христиан (стр. V и сл.).

²⁾ Большой материал по вопросу во второй половине III тома „Histoire Socialiste“ Жореса.

люции во Франции и о поведении (proceedings) некоторых обществ в Лондоне, относящемся к этому событию" (1790), сделалась весьма характерным и наиболее влиятельным среди враждебных революции произведений тогдашней публицистики¹⁾.

Эдмунд Бёрк был одним из замечательнейших людей Англии во второй половине XVIII века по своей разносторонней учености, особенно в области наук общественных, по своему ораторскому и литературному таланту, по своей политической деятельности, в которой он проявил большую широту взгляда. Бокль, посвятивший ему несколько страниц в своем знаменитом труде²⁾, говорит, что Бёрк „так далеко ушел вперед от своего века, что очень немногие из великих мер нашего времени (т. е. середины XIX в.) не были им угаданы и ревностно защищаемы“ (стр. 341). Сделавши восторженную характеристику этого выдающегося публициста и практического деятеля, историк объясняет его резко отрицательное отношение к французской революции прямым помешательством, так как, говорит он, в Бёрке под влиянием преступлений революции „чувства окончательно подчинили себе разум, равновесие пошатнулось, соразмерность в отправлениях этого гигантского ума была нарушена... Ум, продолжает он, некогда столь крепкий, столь свободный от страстей и предрассудков, поколебался под тяжестью событий“ (стр. 345). Бокль видит в его „Размышлениях о французской революции“ и в других его сочинениях, ею вызванных, „постепенно возрастающее и наконец ничем не сдерживаемое безумие“ (стр. 346). Из разных сочинений Бёрка, кроме „Размышлений“, он приводит целый ассортимент прямых ругательств, направленных на события и деятелей революции. Тот же самый Бёрк,—говорит еще Бокль,—который столько же из человеколюбия, сколько и из благоразумия энергически

¹⁾ О Бёрке есть книги Mac-Knight'a (1861), Morley'я (1867), Schädel'я (1893), а кроме того, существует специальная работа Meusel'я „Burkes Schriften gegen die französische Revolution“ (1904). Книга была своевременно переведена (частью же только подробно изложена) на французский и немецкий языки, причем немецкая ее передача была сделана Фридрихом Генцем, который и сам писал о революции. В 1912 г. вышел новый французск. перевод.

²⁾ Истории цивилизации в Англии. Перевод К. Бестужева-Рюмина. 1863. Т. I, стр. 336—353.

старался предупредить войну с Америкой, посвятил последние годы своей жизни тому, чтобы „возжечь войну“ с целью „заставить французов изменить свои принципы“ (стр. 350), „для принуждения великого народа к перемене правления и для его наказания“ (стр. 351). „Столь жестокие, продолжает он, столь беспощадные и притом столь решительные мнения, если бы они принадлежали уму здравому обессмертили бы самого темного государственного человека, покрыв его имя вечным позором. Можно ли даже у самых невежественных и кровожадных политических деятелей найти такие мысли? А между тем они принадлежат человеку, который еще за несколько лет был самым замечательным политическим мыслителем Англии“ (стр. 351—352).

Этот резкий приговор основывается у Бокля не только на „Размышлениях“ которые имеются обыкновенно в виду, когда говорят об отношении Бёрка к французской революции, но и на других его тогдашних произведениях: „Замечания на политику союзников“, „Письмо к Эллиоту“, „Письмо к благородному лорду“, „Письмо о царевбийственном мире“, в которых ненависть к революции только росла. Даже в самом характере Бёрк Бокль усматривает за годы революции признаки утраты им душевного равновесия: он, до тех пор отличавшийся вежливостью обращения, оказался способным прямо оскорблять друзей, защищавших французскую революцию. А как он отзывался о французских политических деятелях, приписав, например, Кондорсе „склонность к самым низким, самым решительным мерзостям“, обозвав в одной речи Лафайета, уже томившегося в заключении, „гнусным злодеем“ (стр. 348) и т. п.

Бёрк по происхождению человек кельтской расы, действительно, отличался страстным темпераментом, которому дал полную волю в конце своей жизни, но едва ли можно находить в нем душевную болезнь, по крайней мере, в то время, когда еще за шесть лет до своей смерти он писал свои „Размышления“. Чтение этой книги не производит впечатления, чтобы написал ее психически ненормальный человек. Напротив, все в ней последовательно, логично, ясно, определено, как бы мы по существу ни оспаривали основные идеи автора, воспитанного жизнью в определенном круге политических принципов.

Бёрк написал свои „Размышления“ в ответ на запрос одного молодого, как сам он заявляет, француз¹⁾, думавшего, что Бёрк разделяет принципы, восторжествовавшие во Франции. В самом деле, он имел репутацию человека либерального образа мыслей, как защитник, в свое время, американских колонистов от произвольной власти метрополии, сторонник независимости парламента от всяких закулисных влияний короля, проповедник веротерпимости и свободы печати, и т. п. Но у него, во первых, всегда было нерасположение к Франции, а главное, он был либералом лишь в английском консервативно-олигархическом смысле, державшимся строго на почве традиции и исторического права, которым так противоречили отвлеченные принципы французской политической мысли XVIII века. Целью своею он поставил предостеречь соотечественников от увлечения этими принципами, показав, к чему они приводит, и эта цель была достигнута, когда под его влиянием многие виги перешли на сторону противников революции, и все правящие классы Англии стали смотреть на французские события глазами Бёрка,—обстоятельство, которое нужно учитывать не только для объяснения английской политики, но и для характеристики взглядов английских историков на революцию.

Книга вышла в самом еще начале революции (1790) и тотчас же была переведена на иностранные языки, повлиявши на общественное мнение и за границами Англии. Был, разумеется, и французский перевод. Я не излагаю здесь той политической теории, которую можно извлечь из „Размышлений“ Бёрка, что мною сделано было уже в IV томе „Истории Западной Европы“ (глава XX), а остановлюсь только на некоторых местах, характерных для отношения автора к тому, что происходило во Франции в самом начале революции.

¹⁾ Вопрос о том, кто был тот молодой человек, которому были адресованы „Reflexions“ Бёрка, вызывал разные догадки. Обыкновенно указывали на Дюнона, бывшего потом переводчиком книги на французский язык, искал же этого Дюнона среди четырех членов Учредительного Собрания, носивших это имя, пока d'Anglèjan, новый переводчик книги Бёрка (1912), не объявил, что первым переводчиком был его предок Дю-Пон, никогда членом Учредительного Собрания не бывший. Оказывается, с другой стороны, что речь должна идти ни о каком Дю-Поне, а о де-Мевонвиле, члене Учредительного Собрания, очень консервативно настроенном. Он далеко не был молодым, но такое название могло ему быть дано для маскировки. Об этом см. переизданию реферата P. Mantoux „A qui ont été adressés les Reflexions de Burke“ в журнале „La Révol. Franç.“ (1914, III).

„Мне кажется, говорит Бёрк, как будто бы я переживаю большой кризис, притом не только в делах одной Франции, но и всей Европы, а может быть и больше Европы... Французская революция—наиболее удивительная, какая только доселе была в мире. Наиболее поразительные вещи были произведены в некоторых отношениях самыми нелепыми и смешными средствами, в самых смешных формах и явно самыми презренными орудиями. Все кажется противоестественным (out of nature) в этом странном хаосе легкомыслия и жестокости и разного рода преступлений, соединенных с разными видами безумия. В этих чудовищных траги-комических сценах самые противоположные страсти необходимо следуют одни за другими и иногда смешиваются в уме, вызывая по очереди то презрение, то негодование, то смех, то слезы, то пренебрежение, то ужас“¹⁾. Бёрк не отрицает, что многим это странное зрелище представляется в ином виде, внушая им чувства восторга и восхищения, и кажется им вполне соответствующими морали и этикете (ст. 11). С такими людьми он резко полемизирует, усматривая в их проповеди революционных принципов опасность для Англии. Он не хочет, чтобы французскую революцию смешивали с английской 1688 года, рассуждая о которой, поклонники первой „имеют перед глазами и носят в своем сердце“ другую революцию, „имевшую место сорока годами раньше“ (стр. 19). Бёрк как-раз противопоставляет вторую английскую революцию французской. Французам, по его мнению, следовало подражать тому, что сделали англичане за сто лет перед тем, т. е. улучшить существовавшие учреждения, а не переворачивать все вверх дном. „Вы, говорит он французам, предпочли действовать так, как будто бы никогда не жили в гражданском обществе и должны были все начинать сьизнова“ (стр. 47). Поступай французы иначе, они давали бы миру мудрые советы, „сделали бы свободу почтенною в глазах всех достойных людей во всех нациях, со стыдом прогнали бы деспотизм со всей земли“, доказав, что хорошо дисциплинированная свобода поддерживает законность (стр. 48).

В самом успехе революции Бёрк видел и ее наказание. Вот как представляется ему состояние Франции: „законы

¹⁾ Reflexions on the revolution in France, стр. 10, по изданию 1824 года.
Ист. Франц. Рев.

ниспровергнуты, суды опрокинуты, промышленность в бессилии, торговля при последнем издыхании, налоги не уплачены, народ обеднел, церковь ограблена, но государство не обогатилось, гражданская и военная анархия составляет конституцию королевства, все человеческое и божеское принесено в жертву идолу общественного кредита, а следствие — национальное банкротство“ и т. д. (стр. 51). „Были ли эти страшные вещи необходимы“, спрашивает Бёрк и отвечает: „отнюдь нет, но все это — результаты деятельности людей, которые нашли нужным „достигнуть берега мирной и благополучной (prosperous) свободы через кровь и смуты“ (стр. 52). Мрачными красками рисует он положение Национального Собрания, заседающего как бы внутри чужой республики, в „городе, конституция которого не происходит ни из хартии его короля, ни от какой-либо законодательной власти“ (стр. 92). Члены Собрания, „сами находящиеся в плену“, заставляют такого же плененного короля издавать, как свои указы, бессмыслицы, полученные из самых распущенных и беспокойных кофеен... Нет сомнения, что, благодаря террору штыков, угроз повешением на фонарях, поджога домов, члены Собрания вынуждаются принимать все жестокие и отчаянные меры, внушенные клубами, которые состоят из чудовищного смешения людей разных состояний, языков, наций“ (стр. 93). Бёрк называет Собрание органом этих клубов, „разыгрывающим перед ними фарс прений с таким же неприличием, как и отсутствием свободы“, сравнивает его с „труппою ярмарочных комедиантов, дающих представление перед буйной шайкой“ (стр. 140) и т. п. Октябрьские события 1789 года особенно поразили воображение Бёрка (стр. 145 и след.). Отдельные меры Национального Собрания нашли в нем самого строгого и прямо раздраженного критика. Между прочим, он доказывает, что новая французская конституция составляет полную противоположность английской. Критикуя первую во всех ее подробностях и часто указывая на действительные ее недостатки. Само Национальное Собрание кажется Бёрку „произвольною ассоциациею людей, которые воспользовались обстоятельствами, чтобы захватить государственную власть“ (стр. 230). „Их неопытность в борьбе с затруднениями заставила это Собрание начать реформу с уничтожения и разрушения“ (стр. 234).

К этой последней мысли автор „*Reflexions*“ возвращается постоянно.

По приведенным образцам можно видеть, с какою страстностью нападает Бёрк на французскую революцию, являясь в своем памфлете самым беспощадным ее порицателем. От начала до конца, не разделяя своей все-таки довольно объемистой книги на главы или параграфы, а сплошь излагая свои мысли без всяких, так сказать, передышек¹⁾, он пишет в одном и том же враждебном тоне, не стесняясь выражениями²⁾. „Размышления“ Берка вызвали целую полемику³⁾, в которой самым замечательным по основательности и силе аргументации была книга Джемса Маккинтоша под заглавием „*Vindiciae Galliae*“ (1791). Автор этого возражения на книгу Бёрка был философом шотландской школы, публицистом и историком, написавшим, между прочим, историю английской революции 1688 года, той самой революции, которую Бёрк ставил французам в пример, достойный подражания, как бы забывая, что и в Англии была в свое время революция, похожая на французскую.

Маккинтош выступает в своей книге гораздо в большей мере историком, ищущим причин событий, нежели Бёрк, являющийся обличителем революции. В первой же главе он доказывает необходимость революции из того бедственного состояния, до которого Францию довел деспотизм⁴⁾. Прежний французский государственный и общественный строй был

¹⁾ В издании, бывшем у меня в руках, 344 страницы, во французском переводе, не совсем точном и полном, 636 стр. текста (по 4 изданию без даты). В другое время я имел первое издание. Оглавления в подлиннике нет, но во французском переводе есть подробная *table des matières*), облегчающая пользование книгой.

²⁾ Разные историки французской революции часто говорят о книге Бёрка, отмечая ее талантливость, но решительно не соглашаясь с нею. Louis Blanc называет Бёрка „*le premier des calomnieux renommés de la révolution française*“, но хочет быть беспристрастным к нему и признает его крупное дарование и des puissantes vérités в его книге. См. у него кн. IV, гл. 1 и кн. V, гл. 7. Jaurès называет книгу Бёрка „блестящей инвективой“ и „сентявентальной декламацией“. *Histoire Socialiste* IV, 728-729. Его изложению и разбору он освящает ряд страниц (729—742), задевая и поклонника Берка, Тэна, который, по его словам, „собрал, остудил и стусил в нескольких тяжелых формулах вышедший из берегов поток лавы английского высокомерия“ (734). Действительно, Тэн во многом следовал за Бёрком, которого ставил высоко. Мало внимания уделил ему Мишле.

³⁾ Jaurès. *о. с.*, 742 и след.

⁴⁾ Ссылаюсь на французский перевод: *Apologie de la révolution française et de ses admirateurs anglais, en réponse aux attaques d'Edmund Burke, par Jacques Mackintosh* (1792), стр. 20.

неисправим: поправки в пышных развалинах не могли бы ничего сделать (стр. 58 и сл., 94). Вытекая из общих причин, действовавших на народ, революция не была делом отдельных вождей, а всей нации (стр. 114). Что философы подготовили революцию, это — правда, но для политической революции было безразлично, были ли они атеисты или деисты (стр. 123—124). В особой главе (III) Маккинташ останавливается на народных эксцессах, сопровождавших революцию. „Великие революции, говорит он, всегда влекут за собою множество излишеств и бедствий. Истина эта особенно очевидна на таких революциях, которые, как французская, народны в полном смысле слова. Когда народом руководит партия, вожди его не встречают никакого затруднения для восстановления порядка... Но когда общее движение народного духа опрокидывает застарелый деспотизм, уже не так легко воспрепятствовать излишествам. Является большая потребность в удовлетворении чувства мщениа, и почти нет контролирующей власти. Страсть, выразившаяся так грандиозно, бывает столь сильна, что разом невозможно установить спокойствие и подчинение“ (стр. 146). Все это печально, но нельзя не принимать в расчет благо будущего (стр. 148). Неужели нужно было воздержаться от введения свободной конституции, если вожди революции предвидели, что дело не обойдется без нарушения порядка и без временных бедствий? (стр. 150). Во всяком случае, сваливать все народные эксцессы на Национальное Собрание, как это делает Бёрк, нельзя (стр. 163). В главе (IV) о новой французской конституции автор защищал ее великие теоретические принципы и практическую важность новой системы (стр. 185 и сл.), а именно защищал идею естественных прав человека, которую Бёрк считал непоследовательною и нелепою. Впрочем, кое в чем он критикует эту новую конституцию и по вопросу о разделении граждан на активных и пассивных даже сходится с Бёрком (стр. 204). Порицает он и декрет, исключивший министров из законодательного корпуса (стр. 246). Маккинташ также оправдывает от обвинений Бёрка и английских поклонников революции (стр. 247 и сл.). Свою книгу он закончил рассуждением о вероятных следствиях французской революции для Европы (стр. 325 и сл.). И враги, и защитники ее признают, что ее влияние не ограничится одной

Францией. Одни этим опечалены, другие радуются. Маккинтош писал это в августе 1791 г., когда уже говорили о возможности войны, и предсказывал, что подавление ее укрепит все правительства Европы, а успех, наоборот, будет сигналом для других наций. Впрочем, он возлагал свои надежды на возможные раздоры между иностранными государствами, а более всего на энтузиазм и на патриотизм французской нации (стр. 328—329). Один и тот же дух, думает Маккинтош, может охватить всю Европу, как то было в эпоху крестовых походов, потому что европейские нации столь же тесно соединены между собою, как провинции одного государства (стр. 331). Влияние французской революции на другие нации кажется Маккинтошу тем необходимым, что их правительства отжили свое время (стр. 332): не даром же они принимают свои меры, словно боясь опасной заразы (стр. 338). Автор, между прочим, не хотел допустить, чтобы „поток света“, распространяющийся из Франции по всей земле, не пролил единственно в Англию (стр. 319).

Книга Маккинтоша была, действительно, защитой французской революции, как это и значится на ее подзаголовке „Defence of french revolution“, за что, как известно, Законодательное Собрание почтило автора, даровав ему французское гражданство. События не оправдали того оптимизма, который составляет господствующую ноту апологии Маккинтоша, чего нельзя не сказать в наше время, читая эту его апологию¹⁾.

Французская революция вызвала в Германии,—в образованном, конечно, обществе,—большое сочувствие, которое под влиянием террора 1793 года сменилось отношением резко отрицательным²⁾. Для „исправления суждений публики о французской революции“ Фихте, равным образом приветствовавший новый порядок вещей, написал особое обращение к обществу, которому и дал заглавие, указывающее на такую его цель: „Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution“, произведение, прекрасно дополняемое другою его печатною речью, озаглавленную „Востребование от европейских государств свободы мысли,

¹⁾ Ср. Jaurès, 745.

²⁾ Большой материал по этому вопросу собран во второй половине III тома „Histoire Socialiste“ Жюреса (La révolution et les idées politiques et sociales de l'Europe). Есть рус. перев.

которую они доселе подавляли“ с характеристичной датой: „в последний год старого мрака“. Исходя из кантовского понимания свободы, Фихте критиковал в первом из этих своих произведений данный государственный строй и правомерность его общего преобразования, причем эта критика, в сущности, есть не что иное, как настоящая защита этой правомерности.

Первою, самую главную причиною революции с точки зрения политической реакции было признано просвещение и тесно связанная с ним свобода мысли, невозможная без критики, этой души философии. Сам Кант признавал близкое родство между идеей свободы критической философии и идеальной целью французской революции. Террор не отпугнул Фихте в этой революции от того, что было в ней привлекательного для него с самого начала. Стоя на точке зрения свободы мысли, как неотчуждаемого права личности, будучи убежден в планомерности и целесообразности этой свободы и признавая вместе с тем, что революция, действительно, явилась плодом свободы мысли, Фихте ставит вопрос: к числу каких прав, неотчуждаемых или отчуждаемых, принадлежит право изменять государственный строй?.. Он указывал на то, что все, для кого революция была выгодна, напр., все угнетенные, будут хвалить ее, а все, от нее пострадавшие, будут бранить, но тут дело решается с точки зрения партийных интересов, которые не могут играть роли должествующих иметь всеобщее значение беспартийных принципов. Нужно обратиться к нравственному закону, который один может ставить цель государственному бытию и требовать, чтобы, приближаясь к ней, строй государства совершенствовался. Нет поэтому неизменного государственного строя, не может быть и договора в его неизменности, так как нельзя принуждать будущие поколения повторять только то, что делали прежние: это был бы договор об отказе от бесконечного прогресса. Право на изменение государственного строя уже по одному тому неотчуждаемо, что единственною возможною целью человеческого общежития является деятельность, направленная к свободе. Признавая договорный характер государства, философ не видит никакого правового основания воспрещать отказ от него со стороны отдельного лица, а что дозволяется одному, то могут сделать и многие, позволительное же многим в свою очередь могут совершить и все: старый

союз, значит, расторгается и основывается новый, что и есть вполне правомерная революция... Фихте рассматривает вопрос о нарушении революцией и привилегий, которыми прежде пользовались некоторые классы, выделенные из общей массы граждан, и отвечает на этот вопрос в том смысле, что и правовые преимущества не могут иметь притязания на вечное существование. В частности, философ подвергает рассмотрению эту сторону дела по отношению к дворянству и духовенству (и церкви), причем доказывает законность секуляризации церковных имений. К сожалению, это произведение Фихте осталось неоконченным¹⁾.

Тоже с целью исправления суждений публики о происходившей во Франции революции прусское правительство основало „Исторический журнал“, редактирование которого поручило известному Генцу²⁾, переводчику книг Малле дю-Пана и Бёрка³⁾ на немецкий язык, впоследствии (с 1812 года) бывшему одним из видных деятелей реакционной политики Меттерниха. В 1798 году он выпустил в свет на французском языке „О ходе общественного мнения в Европе относительно французской революции“⁴⁾. „Большинство наших современников, писал он здесь, составило о французской революции и об относящихся к ней событиях мнение неосновательное (gratuite), фантастическое, совершенно отличное от ее настоящей физиономии, и это ошибочное представление поддерживается с таким упрямством, что более похожее изображение,

¹⁾ Рассматриваемая статья Фихте в изданиях его сочинений и подробно передается в труде Куно-Фишера о Фихте. Выдержки из нее делает и Jankès (о. с.), называя ее „le livre admirable“.

²⁾ Уже после смерти Генца (1832), кроме его „Ausgewählte Schriften“ (1836 — 1838), вышли в свет его „Mémoires et lettres inédites“ (1841).

³⁾ Указанный выше перевод книги Малле дю-Пана он снабдил предисловием и примечанием, в первом из которых называет французскую революцию „событием, принадлежащим всему человеческому роду“ и притом такой значительности (Grösse), что „потомство будет с интересом исследовать, как люди всех стран, жившие в конце XVIII столетия, при этом думали, чувствовали, рассуждали и действовали“ (стр. XVI — XVII). Свой перевод и обработку книги Бёрка (Betrachtungen über die französische Revolution nach dem Englischen des Herrn Burke neu gearbeitet. Hohenzollern. 1794). Генц тоже сопровождает введением, примечаниями и обзором английских сочинений о французской революции (т. II, стр. 459 — 525). В числе этих дополнений есть полемика с Маккынтошем (II, 331 — 441). И здесь Генц, между прочим, подчеркивает, что Бёрк „видел во французской революции не одну только Францию“, но и угрозу для всех европейских стран (I, 34).

⁴⁾ De la marche de l'opinion publique en Europe relativement à la révolution française (traduit de l'allemand).

когда оно дерзает показаться, принимается за видение или за карикатуру". Автор изображает, прежде всего, общий прогресс образованных наций со времени открытия Америки и в материальном благосостоянии, и в умственном просвещении, причем прогресс этот коснулся более или менее всех классов общества, да и сами правительства вступили на путь совершенствования жизни. Но в самом же этом прогрессе Генц усматривал зародыши разложения — в развитии себялюбия, недовольства своим положением, погони за наслаждениями, а также самомнения, последнего под влиянием знакомства со смелыми взглядами писателей. Человек воспитался в привычке не сдерживать свои желания голосом разума, а наоборот, искать в нем союзника страстей. „Большинство французских роялистических писателей, продолжает Генц, объясняют революцию случайными причинами, потому что таким взглядом они отнимают у революции то, что в летописях мира в ней важно, и сводят ее поэтому к простому заговору (*cabale*). Наоборот, энтузиасты стараются заглушить (*placer dans l'ombre*) все то, что ее с самого же ее начала запятнало, и хотели представить ее беспорочным (*imaculé*) произведением человеческого разума в его состоянии постепенного развития“.

Объяснение революции случайными причинами Генц считал нелепым, а во взгляде на революцию, как на фатальное следствие достижения человеческим разумом зрелости, видел „тайное желание новых революций“. „Если бы, говорит он, достаточно рано поняли революцию с надлежащей точки зрения и тщательно изучили ее архивы, никогда подобный взгляд на революцию не сделался бы столь общим“. Для самого Генца не подлежит сомнению, что она, вместо достижения людьми большего совершенства, заключала в себе угрозу попятного движения. Нельзя ради проблематического счастья будущих поколений приносить в несомненную и непосредственную жертву целое современное поколение. В государственном устройстве Франции Генц не видит ничего такого, что оправдывало бы его низвержение. Не будучи, таким образом, следствием ни случайных причин, ни морального разрыва между королевскою властью и нацией, революция обязана была своим происхождением уклонению от правильного пути развития, благодаря слабости власти, это

допустившей, и дерзости секты, пожелавшей захватить власть в свои руки ¹⁾. Нельзя, впрочем, не отметить, что в своих взглядах на французскую революцию Генц не отличался устойчивостью. Сначала он сочувствовал ее принципам и даже защищал свободу печати, но потом стал на резко реакционную точку зрения, чтобы затем делать уступки духу времени ²⁾.

У современников революции уже установились некоторые на нее взгляды, перешедшие потом в ее историографию. Она рано стала рассматриваться, как событие, касающееся не одной Франции, но имеющее и общеевропейское значение (напр. Сен-Мартен, Мунье ³⁾, Бёрк, Генц и др.). Уже в самом начале на нее смотрели, как на событие неотвратимое, стихийное (напр. Ламет, Жозеф де-Местр), в зависимости от мирозерцания отдельных лиц фатальное или провиденциальное. Хотя многие виновниками ее считали „философов“ XVIII века, но более вдумчивые писатели указывали на то, что не вину на кого-либо нужно возлагать, а следует искать ее причины в состоянии Франции. Революцию подготовляло прошлое Франции, и особенно в этом отношении считались важными два года, предшествовавшие собранию Генеральных Штатов (Монжуа, Ламет), причем обращалось внимание на то, что первый пример сопротивления власти показали народу сами привилегированные (Ламет). Революция имела целью дать Франции политическую свободу, но уже очень рано зародилось сомнение в том, что эта цель будет достигнута (Мунье). Даже противники революции находили при этом, что революционная диктатура спасла Францию от иностранцев (Жозеф

¹⁾ Большие сплошные выдержки из статьи Генца имеются в книге Дельоста о Малле дю-Пане, стр. 83 — 92. Генцу, между прочим, принадлежит еще „Ueber den Ursprung des Krieges gegen die französische Revolution (1801) и „De l'état politique de l'Europe avant et après la révolution“ (1801). В обеих книгах речь идет о международных отношениях с точки зрения „практической политики“. В первой из них Генц говорит, что если бы новому правительству Франции и удалось создать внутри страны известную ступень благосостояния, это отнюдь не должно служить основанием для перемены взгляда на революцию, которая начала с нарушения права, продолжала преступлением и кончила ужасами и пригом т.е. была случайностью. Если бы дело дошло до того, что такого взгляда стал держаться открыто только один человек, то он почел бы для себя быть и остаться таким единственным человеком за величайшую честь (стр. 9 — 10).

²⁾ Sendschreiben an den König Friedrich Wilhelm von Preussen (1797).

³⁾ La révolution de France, писал он уже в 1801 г. в „De l'influence“ и пр. а eu jusqu'à ce jour, elle aura dans l'avenir de si grandes conséquences pour la destinée des peuples de l'Europe (стр. 3)

де-Местр). С другой стороны, делались попытки разобраться не только в вопросе о происхождении революции, но и наметить ее этапы, характеризовать ее перипетии, предсказать, чем может она кончиться, причем была высказана масса верных и неверных заключений, впоследствии то повторявшихся и историками революции, то совершенно позабытых. Рядом с публицистикой, вызванной французской революцией, рано стали делаться и попытки изложения ее истории, обзор которых недавно дал Олар в трех статьях, помещенных в журнале „La Révolution Française“¹⁾. Если имена наиболее видных представителей современников, защищавших или порицавших революцию, еще теперь часто называются и их мнения цитируются, то наиболее ранние исторические труды о революции, можно сказать, совершенно забыты и могут представлять известный интерес только для специалистов, что, между прочим, и доказывает статья Олара об этих основательно позабытых историках²⁾.

Первая такая историческая публикация вышла в свет в апреле 1790 года, когда еще не исполнилось года после начала революции. Она была анонимной: авторы ее обозначали себя, как „друзей свободы“, но кто они были, доподлинно до сих пор неизвестно. Заглавие у этой публикации было: „История революции 1789 года и установления конституции во Франции“³⁾. За первым томом в 1790 году последовало еще два, а в 1791 и 1792 годах вышло и еще по два тома, где изложение событий было доведено до конца Учредительного Собрания. Авторы этих томов были очень благосклонны к революции, но когда, уже при директории, явились у них продолжатели, доведшие потом историю революции до пожизненного консульства Наполеона в тринадцать новых томах, то составляли их уже в тоне, враждебном революции.

¹⁾ В июньском, июльском и августовском выпусках за 1909 год под заглавием „Les premiers historiens de la Révolution Française“. Во всех трех статьях около восьмидесяти страниц.

²⁾ Из писателей, о которых выше шла речь, он рассматривает только Монжуа (juillet, 21—25), а книгу Мунье почему-то пропускает. Равным образом, он не упоминает и о Паганеле, книга которого „Essai historique et critique sur la révolution française“, разрешенная к печатанию министром полиции, по приказанию Наполеона, была уничтожена.

³⁾ Histoire de la révolution de 1789 et de l'établissement d'une constitution en France, précédée de l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette révolution mémorable, par deux Amis de la Liberté В статье Олара стр. 482—490 (juin).

Олар думает, что начальными томами пользовался Мишле, и что вообще под известным влиянием этого труда был Тьер.

Другой ранней исторической публикацией о французской революции был небольшой томик (в 284 стр.) Рабо Сент-Этьена, бывшего членом Учредительного Собрания, потом Конвента и окончившего жизнь на эшафоте в 1793 году. Он дал своей работе название „Исторического альманаха французской революции за 1792 год“, но переименовал в четвертом издании того же года в „Очерк французской революции“¹⁾ Успех книги был так велик, что ее часто перепечатывали вплоть, кажется, до 1827 года, когда ее мог уже хорошо заменять труд Мишье. Своею целью автор ставил дать сжатый рассказ о французской революции, доступный для самого большого количества читателей, дабы „разрушить то впечатление, которое во вред Франции стремились распространять враги свободы“. Это придало книге Рабо-Сент-Этьена полемический характер, хотя он никого из хулителей революции, даже Берка, не называет. Он изображает революцию не как что-то случайное, а как событие, вытекавшее из всего прошлого Франции. Если французский народ оказался груб, то ведь старый порядок сам „давал ему ужасные уроки“. Революция представляется автору великой битвой между старой и новой Францией, в которой каждая сторона пользовалась присущим ей оружием, одна — интригами, коварством, насилием, другая — иногда жестокостью своего мщения. Автор писал в конце 1791 года в очень оптимистическом настроении, но к третьему изданию прибавил новые „политические размышления“, где писал: „Франция не совершила своей революции, а только начала“. Впрочем, и вообще свой рассказ автор пересыпал „философскими“ рассуждениями в духе идей просвещения и космополитических стремлений XVIII века.

Когда наступила эпоха террора, при полном отсутствии свободы печати, никаких попыток истории революции во Франции не делалось. За работу над этой историей принялись только при Директории. В 1796 году появилась двухтомная книга Антуана Фантена Дезодоара под заглавием „Философская история революции Франции от созыва нотаблей Людо-

¹⁾ Rabaud-Saint-Etienne. Almanach historique de la révolution française pour l'année 1792 (или Précis historique и пр.). У Олара стр. 490—496 (juin).

виком XVI до конца Национального Конвента¹⁾. Книга имела успех, переиздавалась до 1817 года, захватывая все больший период времени, но труд Тьера ее окончательно убил. Автор, когда-то бывший священником, потом растригшимся, кое-что видел своими глазами, но в общем в его „Философской истории“ такая масса хвастовства, напвностей, искажений истины и просто даже вранья, что она ниже всякой критики. Достаточно указать, что у него Мирабо, умерший в 1791 году, появляется на сцене в 1792, чтобы оплачивать сентябрьских убийц. Повидимому, он писал одно по памяти, другое по слухам, третье по собственному воображению, редко по печатному материалу. Если что книга Дезодоара и отразила на себе, то разве некоторые взгляды на недавнее прошлое, бывшие в ходу в салонах эпохи Директории, чем только и можно объяснить и большой успех книги в свое время, и то полное забвение, которое ее постигло очень скоро.

Если только-что названная неудачная попытка историко-философского освещения революции имела временный успех и даже оказывала известное влияние, то ни того, ни другого не выпало на долю двухтомного также труда с длиннейшим заглавием, начинающимся словами „Тайная история французской революции“²⁾, которая вышла в 1797 году и имела своим автором некоего Франсуа Пажеса, якобинца, написавшего в 1793 году эпическую поэму о революции³⁾. Вопреки заглавию, тайного или секретного в этой истории ничего не было, а названа она была так по старой моде, да и не было в книге никаких экстрактов из немецкой и английской прессы, обещающих в заглавии. Человек, пезадолго еще перед тем прославлявший в стихах террор, теперь в прозе всячески бранил монтаньяров, а заодно и жирондистов.

Кроме этих двух чрезвычайно слабых книг, к эпохе директории относятся еще сделавшийся в свое время зна-

¹⁾ Antoine Fantin Desodoards. Histoire philosophique de la Révolution de France depuis la convocation des notables par Louis XVI jusqu'à la séparation de la Convention Nationale. У Олара стр. 31—41 (juillet).

²⁾ Fr. Pagès. Histoire secrète de la révolution française depuis la convocation des notables jusqu'à ce jour, contenant une foule de particularités peu connues et des extraits de tout ce qui aparut de plus curieux sur notre révolution tant en France, qu'en Allemagne et en Angleterre. У Олара см. стр. 41—43 (juillet).

³⁾ У Олара стр. 27—31 (juillet).

менитым реакционный памфлет Луи-Мари Прюдона, известного журналиста в первые годы революции, под заглавием „Общей и беспристрастной истории заблуждений, ошибок и преступлений, совершенных во время французской революции“¹⁾, сборник всяких анекдотов эпохи, и анонимные „Исторические воспоминания, или Журнал французской революции“²⁾, нечто вроде ее дневника. В эту же эпоху некоторой свободы печати, продолжавшейся и в начале консульства, вышли в свет четыре истории французской революции. Авторами их были Лакретель, Тулонжон, Больё и Бертран де Молевиль, первые двое больше историки, двое последние — более публицисты. Из них наибольшую известностью в качестве историка французской революции пользовался Лакретель.

Шарль де-Лакретель был младшим братом члена Законодательного Собрания, участвовал в свое время в клубе фейльянов, а после 9 термидора был довольно видным роялистическим деятелем, попавшим после 18 фрюктидора в тюрьму, пока не был освобожден из нее только в 1799 году. Наполеон сделал его профессором истории в Сорбонне, в каковой должности он оставался до 1848 года. Собственно, Лакретель задумал продолжить „Précis historique“ Рабо Сент-Этьена и написал под тем же названием три отдельных тома о Законодательном Собрании, о Конвенте и о Директории, часто потом переиздававшиеся и уже при реставрации дополненные историей Учредительного Собрания (1821), принадлежащей перу самого Лакретеля. В 1824—1826 г.г., он переделал все эти томики в более обширное целое (восемь томов), озаглавленное „История французской революции“³⁾. Некоторую общественную роль Лакретель начал играть при термидорианской реакции, восхищаясь в это время г-жею Талльен и даже, по собственным словам, ею вдохновляясь в роли консервативного публициста. В глубокой старости он вспоминал время директории, как золотой век возрожда-

¹⁾ Это—заглавие старого издания, а первое (1797) было короче: Histoire générale des crimes commis pendant la révolution française. Третье издание (1824—1825) вышло уже, как Histoire impartiale des révolutions de France.

²⁾ Les souvenirs de l'histoire ou le Journal de la révolution française.

³⁾ Ch. de Lacretelle. Histoire de la révolution française. Этот же плодовитый историк написал еще истории религиозных войн (1814—1816), XVII века (1818—1826), консульства и империи (1846—1848) и реставрации (1829—1835).

вшейся Франции. Переворот 18 брюмера он приветствовал, как восстановление порядка. Этим определяется характер его истории революции, многое в которой он видел собственными глазами ¹⁾. В начале эпохи реставрации Лакретель был сначала крайним роялистом, но потом стал высказываться в более умеренном духе. Его труд был главным, по которому до Тьера знакомились более подробно с историей революции ²⁾.

Лакретель сам признавался в невозможности для себя быть беспристрастным, как бы боясь, чтобы „спокойствие историка не смахивало на бесчувственность палачей (*le calme de l'historien semblera tenir de l'insensibilité des bourreaux*), и находя, что „свидетелю этого царства смерти“ немислимо сохранить такую „мощь ума“, какой не может быть при его, автора, „чувствах, воспоминаниях и траурах“. Очень элегантно написанный, этот труд лишен всякой эрудиции и какой бы то ни было критики источников. „Величие истории“ не позволило Лакретелю говорить о сколько-нибудь низменных и скучных предметах, но отнюдь не препятствовало литературно обрабатывать до полного сочинительства речи деятелей революции в интересах яркости и красноречивости изложения. Олару некоторые пассажи справедливо напоминают приемы Виктора Гюго в его историческом романе „Девяносто третий год“. „Эта книга Лакретеля, говорит он, *chef-d'oeuvre* литературной школы в истории“.

Другим историком революции, начавшим писать в первые годы консульства, был виконт Франсуа-Эммануэль Тулонжон, бывший либеральным членом Учредительного Собрания, проживший всю эпоху республики частным человеком, занятым наукою и литературою и только в конце жизни снова занимавшимся политическою деятельностью в качестве члена Законодательного Корпуса (1802—1809). Свое общее отношение к революции он высказал еще в IV году республики в одной

¹⁾ В 1842 году вышла в свет еще книга Лакретеля „*Dix années d'épreuves pendant la révolution*“, из которой видно, очевидцем каких событий был автор. Эти мемуары кое в чем имеют значение источника, например, глава XI о восстании 13 вандемьера, заинтересовавшая меня по своему отношению к одному из специальных предметов моих занятий. Лакретель был одним из организаторов этого движения.

²⁾ В указанной работе Олара см. стр. 98—116 (аойт). Повидимому, по нему с революцией познакомились декабристы. В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 120, 225, 227 и др.

брошюре ¹⁾, где говорит о себе: „я ни фэйльян, ни якобинец, ни террорист, ни шуан, ни роялист, ни анархист, ни эбертист, ни маратист, ни жирондист, ни алармист, ни федералист, ни монархист, но, признаюсь в этом, я немного гувернист“. Свое предприятие рассказать историю он начал в одно время с Лакретелем, издав в 1801 году первый том своей „Истории Франции со времени революции 1789 года на основании современных мемуаров и рукописей, взятых в гражданских и военных хранилищах“ ²⁾. Всех томов этого труда вышло четыре, последний в 1810 году. Не нужно, однако, думать, что Тулонжон работал в государственных архивах, но что у него был рукописный материал частного происхождения, это не подлежит сомнению: в приложениях ко всем четырем томам имеются отрывки из мемуаров, письма, донесения и т. п. Из предшественников настоящей историографии революции, когда о ней стали писать люди поколения, родившегося позже, Тулонжон был наиболее близок к научным заданиям и приемам историка. Он хочет быть документальным, точным, беспристрастным. История у него должна показать якобинцам, что не всякий эмигрант был врагом отечества, а роялистам, — что не каждый патриот был якобинцем и не всякий якобинец — виновником сентябрьских убийств. Но общий спокойный тон труда Тулонжона, отсутствие в нем публицистической тенденциозности и литературных украшений при действительных иногда недостатках стиля так мало соответствовал вкусам тогдашних читателей, что второго издания эта история революции так и не дождалась ³⁾. За то Тулонжон, несомненно, оказал большое влияние на Тьера в том отношении, что первым среди историков революции стал рассказывать военные события, бывши сам раньше

¹⁾ Manuel révolutionnaire ou Pensées morales sur l'état politique des peuples en révolution. См. выдержки из нее у Огара, *op. c.*, 118 (août), а вообще о Тулонжоне на стр. 117—131.

²⁾ F. E. Toulougeon Histoire de France depuis la révolution de 1789 écrite d'après les mémoires et manuscrits contemporains, recueillis dans les dépôts civils et militaires.

³⁾ Не лишним будет отметить, что Тулонжоном еще очень много пользовался Карлейль для своей знаменитой „Французской революции“. Говоря об этом, Aulard, в статье „Carlyle historien de la révolution française“ (*La Rev. Franç.* 1912, mars, 192), прибавляет, что „это важное произведение французы и что не читали“. Действительно, Тулонжон был мало известен. Его, наприм., нет и среди авторов, читавшихся нашими декабристами; его книги нет и в богатой библиотеке Петербургского университета.

военным человеком и знатоком военного дела. Как известно, на эту сторону революции Тьер обратил очень большое внимание, но здесь он уже шел по дороге, проложенной Тулонжоном. Еще в одном отношении Тьер был близок к Тулонжону. И этого последнего, как и его, упрекали в историческом фатализме, хотя, быть может, он был в этом менее повинен, чем Тьер. И некоторым своим оппортунизмом он напоминает Тьера. Тулонжон сравнивает историю с открытым домом, входя в который, чтобы повидать своих друзей, можешь встретиться с врагами и с противниками своими и даже с ними разговаривать, выслушивать их, отвечать им. Историк должен, по его словам, вдохновляться, так сказать, средним мнением общества в данный момент, вытекающим из понимания наличного общего интереса, который не остается постоянным и неизменным, а зависит от времен и обстоятельств. Историк у автор вмещает в обязанность принимать в расчет государственную необходимость каждой эпохи, самому в эту эпоху переноситься и быть выразителем здравого мнения, сложившегося в обществе в данную пору. Этот взгляд позволил Тулонжону довести свой труд до конца в такие годы, когда Наполеон не очень-то поощрял публичные воспоминания о революции и ставил, например, на вид, что во Французской Академии дерзнули коснуться политических мнений Мирабо, когда нужно было говорить только о его стиле. Тулонжон, впрочем, не решился заключить свой труд рассказом о 18 брюмера, а остановился на возвращении Наполеона из Египта. „Все обстоятельства, говорит он здесь, соединились для возвышения одного человека, и этот человек был на высоте всех обстоятельств; он сделался первым, потому что оказался единственным, кто им мог быть“. Но по этому поводу автор не выразил своей радости и не последовал собственному своему совету, чтобы перевести общественное мнение момента на язык официальной лести.

Как-никак, и Лакретель, и Тулонжон ставили себе исторические задачи. Больё и Бертран де-Молевиль были, прежде всего, публицистами. Первый из них был роялистическим журналистом, счастливо избежавшим печальной судьбы многих своих единомышленников во время террора. В 1801—1803 годах он издал в шести томах „Исторический опыт о причинах и следствиях французской революции с приме-

чаниями о некоторых событиях и учреждениях" ¹). Свое роялистическое настроение он скрыл тщательнейшим образом, но дал полную волю общему своему реакционному настроению, рассказывая вкратце события революции то на основании личных воспоминаний, то по „Монитёру“. От революции его, бывшего сначала конституционалистом, отвратили только казнь Людовика XVI и террористическая демагогия. Не льстя лично первому консулу, Больё приветствовал, однако, „брюмерскую революцию“ за то, что она положила конец господству демоогогов, вернула изгнанников, восстановила культ и т. п. Во времена реставрации Больё сотрудничал во „Всеобщей биографии“ Мишо, где поместил статейки о Дантоне, Марате, Робеспьере и других деятелях революции, бывшие сначала крайне пристрастными до карикатурности и только для второго издания переделанные в более приличные.

В качестве историка революции выступил еще Бертрам де-Молевиль, реакционный министр Людовика XVI в 1791 году, успевший спастись бегством в Англию. Уже в 1793 году он обнаружил здесь на английском языке свои мемуары (Private Memoirs), изданные вскоре и по-французски ²), а в 1800 году появился в английском же переводе двухтомный его труд под заглавием „Анналы французской революции“ (Annals of the French Révolution), которому был немедленно закрыт доступ во Францию. Только ценою отказа от авторства этого издания и смягчения враждебного революции тона он добился позволения издать во Франции свою историю эпохи, в которой слил воедино с общим изложением событий и написанные им раньше мемуары. Его „Histoire de la Révolution de France“ ³), доведенная до 18 фрюетидора V года, образовала 14 томов, из которых, впрочем, четыре последние, излагающие события после казни короля, были написаны другим лицом, может быть, даже без согласия автора. То, что вошло в эту историю из его мемуаров, может быть отнесено к мемуарной литературе и имеет свою

¹) Claude-François Beauharnais. Essai historique sur les causes et les effets de la révolution française avec des notes sur quelques institutions. An IX — an XI. У Олара, стр. 131 — 134.

²) Bertrand de Moleville. Mémoires secrets pour servir l'histoire de la dernière année du règne de Louis XVI. Во Франции они были переизданы в 1816 году.

³) У Олара стр. 134 — 136 (août).

ценность для познания интриг двора, но в остальном Бертран де-Молевиль так порою увлекается, что у него почти все вожди революции оказываются продавшимися двору (между прочим, Дантон, Бриссо, Кондорсе) или не продававшимися только потому, что им мало предлагали (Верньо, Изнар, Гаде). Успеха это сочинение в публике не имело, больше не перепечатывалось и скоро было забыто, хотя, с другой стороны, некоторые позднейшие историки им и пользовались (Тэн, Шере).

К числу историй революции никоим образом нельзя отнести мемуары Неккера, хотя им и было дано название истории французской революции (в первых изданиях — „О французской революции“, в издании 1821 года даже „История французской революции“). К современникам, писавшим об этой эпохе, но уже после падения Наполеона, относится еще дочь Неккера, г-жа Сталь, которой посвящена у нас следующая глава.

Мы видим, таким образом, что уже некоторые современники французской революции составляли исторические о ней повествования, на которые более или менее опирались ее историки, принадлежавшие уже к следующему поколению. Так или иначе этими первыми опытами была установлена последовательность и связь событий, была выработана некоторая, так сказать, капоническая традиция, незаметно для самих последующих историков на них влиявшая, и пущено было в оборот немало эпизодов, анекдотов, легенд и т. п., впоследствии, иногда только в ближайшее к нам время, опровергавшихся историческою критикою. Первые историки читали друг друга, кое-что один у другого заимствовали без проверки, и дело кончалось тем, что разные подробности, не всегда верные или точные, переходили от одного историка к другому. Для примера укажу на легенду о том, будто Робеспьер в Учредительном Собрании был предметом постоянных насмешек по поводу своей робости, неловкости, неумения говорить, так что будто-бы стоило ему только иногда появиться на трибуне, и уже все весело смеялись. Олар признаётся, что сам долго верил этой легенде, которая, однако, не подтверждается газетами того времени. Изыскания Олара привели его к тому выводу, что пустили в ход эту басню „два друга свободы“ в своей книге о революции. Сколько подобных

выдумок, принадлежащих, кроме первых историков революции, конечно, и мемуаристам, было опровергнуто с течением времени.

Нельзя еще не отметить, что, кроме Монжуа и Ламета, начало революции к созыву нотаблей относили и Дезодар, и Пажес, но у других устанавливалась традиция приурочивать начало изложения событий революции к созыву Генеральных Штатов.

В виде уже чистого курьеза можно еще указать, что в начале пятидесятых годов XVIII века написана была история французской революции даже по латыни страсбургским университетским библиотекарем Лоренцом в его четырехтомной „*Historiae Gallo-Frauciae civilis et sacrae Summa*“ (1790—1793), т. е. общей истории Франции.

ГЛАВА III.

„Рассуждения о французской революции“ г-жи Сталь¹⁾.

Наполеоновская эпоха, как уже было сказано, была неблагоприятна для появления каких-либо трудов о революции, особенно в духе ей благоприятном. Только во времена реставрации, когда во Франции установилась конституционная монархия с относительной свободой мнений и их выражения в печатном слове, революция могла сделаться предметом исторического обсуждения и изучения. Переходную ступень от публицистики к историографии революции занимает книга о ней г-жи Сталь, на которой нам следует задержаться, потому что она была первым значительным подведением общих итогов под событиями бурного двадцатипятилетия от начала революции до реставрации Бурбонов, и потому что, как таковое, она оказала большое влияние на взгляды последующих писателей, имевших возможность уже исторически отнестись к событиям конца века.

¹⁾ Кроме старых работ о г-же Сталь (Sainte-Beuve в *Portraits littéraires* и др.), lady Blennerhasset (нем. 1888—1889, французск. пер. 1890), A. Sorel (в „*Les grands écrivains*“, 1890), Matteucci (1900), С. Вайнштейн (1902), В. Gautier (1903), Bousquet (1903), Chapuisat (1910) и др.

Как настоящая дочь XVIII века, Сталь разделяла его веру в прогресс, или в „систему совершенствования“ (système de perfectibilité), как она выражалась, причем главный его рычаг она видела в просвещении, в умственной деятельности, даже, прямо можно сказать, в научном духе. Ей были притом не чужды некоторые идеи позднейшего социологического мышления, как это не без оснований утверждает автор русской о ней книги, Софья Вайнштейн ¹⁾, да и не даром из писателей XVIII века Сталь особенно ценила Монтескье, „Дух законов“ которого является самым крупным социологическим трактатом философского века. Именно она прославляла век просвещения за его философский дух и верила в то, что в дальнейшем развитие будет идти по тому же пути. Она понимала связь революции с философией и в своей знаменитой книге „О литературе в ее отношениях к общественным учреждениям“ высказывала мысль, что в дальнейшем революция может просветить массы, хотя и предвидела, что временно этот переворот не может не отразиться на культурном понижении языка и мнений. Другую отрицательную сторону революции, здесь же, она усматривала в партийном деспотизме, подавлявшем свободу личности, признавая, что не будь этого, республика, как „свободное правление“, наиболее могла бы содействовать развитию просвещения и независимости мысли. Самым историческим процессом Сталь понимала идеологически: в нем, прежде всего, она видела господство идей, по отношению к которым исторические деятели, а в их числе и правители государств, являлись для нее только исполнителями, проводниками в жизнь духа своего времени.

Из трех девизов революции: „свобода, равенство и братство“ Сталь более всего дорожила первым, выдвигая везде вперед свободу. Не даром в политике она отдавала предпочтение Монтескье перед Руссо, ибо у него на первом месте находила чувство равенства, которое, как она говорит в одном месте, „порождает гораздо больше бурь, чем любовь к свободе, и вызывает совсем иные вопросы и более страшные события“. У нее как-раз была особенно развита именно любовь к свободе, к свободе всех и во всем, к чужой, как и к своей, и самое „братство“ она мыслила не иначе, как

¹⁾ Госпожа Сталь, мыслитель переходной эпохи. 1902.

то, что теперь мы называем самоопределением национальностей. Сталь была космополитка, не в смысле, впрочем, отрицания самостоятельности отдельных наций, а наоборот, т.-е. в смысле вцщшего ее утверждения, т.-е. в смысле, противоположном какому бы то ни было исключительному национализму, в смысле братства народов. Но в то же время она отнюдь не была демократкой, как и все видные либералы после-революционной эпохи. Она являлась плотью от плоти и костью от костей „третьего сословия“ 1789 года и почти не видела в революции того, что было настоящим „народом“, не понимала, что желавшее „быть всем“ третье сословие имело еще около себя своего рода четвертое сословие, у которого на уме была не столько свобода, сколько вопросы желудка. На массу она смотрела несколько свысока и с недоверием, а главное, совсем не понимала, не чувствовала социальной, экономической стороны революции.

Свою любовь к свободе, неоднократно прославлявшейся в разных сочинениях г-жи Сталь, она доказала и своею жизнью, всем своим поведением в эпоху консульства и империи. Она была завзятым врагом Наполеона, который, в свою очередь, ее ненавидел и мелочно преследовал. Сама революция, заставившая ее бежать из Франции, не разочаровала ее в свободе, как это произошло со многими другими людьми той эпохи.

Г-же Сталь было двадцать три года, когда началась революция; она тогда была уже замужем за шведским посланником во Франции и имела свой салон. Дочь троекратного министра Людовика XVI, знаменитого Неккера, она уже пятнадцатилетним подростком писала замечания к наделавшему столько шума финансовому „Отчету“ ее отца, и составляла в то же время извлечения из „Духа законов“, сопровождавшиеся ее собственными размышлениями. Еще раньше она появлялась в салоне своей матери, где собирались литературные знаменитости Парижа, и прислушивалась к их разговорам. Брак со шведским посланником ввел ее в дипломатическую среду и тем еще более содействовал развитию в ней интереса к политике. Первые три года революции Сталь прожила в Париже, даже после того, как ее отец вынужден был оставить Францию, и только сентябрьские убийства принудили ее уехать, причем она и сама подверглась большой опасности

при своем отъезде. Ее тогдашнее настроение выразилось в опубликованной несколько позже (в 1796 г.) книге „О влиянии страстей на счастье отдельных лиц и народов“, где она обрушилась, между прочим, на фанатизм, игравший таковую роль в событиях революции. Тогда же она издала анонимно брошюру о процессе Марии-Антуанетты с намерением вызвать сострадание к этой жертве революции. К тому же времени относится ее интимное сближение с Бенжаменом Констаном, одним из виднейших вождей французского либерализма в последующую эпоху. Когда в 1796 году шведское правительство признало республику во Франции, Сталь могла вернуться в Париж, где снова открыла свой салон. Отсутствие ее из Франции, таким образом, продолжалось около четырех лет, наполненных преимущественно временем Конвента. Всю эпоху директории она провела в Париже, где ее салон после переворота 18 брюмера сделался центром либеральной оппозиции против политики первого консула. Результатом такого отношения к новой власти было изгнание Сталь из Франции, куда она попыталась-было вернуться в 1807 году, но только чтобы подвергнуться вторичному изгнанию по приказанию мстительного императора, даже устроившего над нею шпионский надзор в ее швейцарском поместье и приказавшего сжечь ее книгу „О Германии“, хотя та и была одобрена цензурой. Падение Наполеона сделало для Сталь возможным возвращение во Францию, после чего она и занялась подведением итогов под бурной эпохой, начавшейся в 1789 году и кончившейся падением Наполеона и реставрацией Бурбонов.

В 1818 году, следовавшем за годом ее кончины, вышло в свет оставшееся незаконченным ее сочинение, под заглавием „*Considérations sur les principaux événements de la révolution française*“, обширный труд, занимающий 280 страниц большого формата в два столбца и убористого шрифта в полном собрании сочинений Сталь 1844 года. Эта книга совершенно лишена внешнего единства. Первым намерением автора было написать апологию своего отца в связи с историей революции в начальный ее период. Об этом своем намерении она неоднократно упоминает в книге „О характере Неккера и о его частной жизни“, изданной после его смерти в 1804 году. Сталь благоговела перед памятью своего отца и в общем разделяла большую часть его политических взглядов. Сам

Неккер, как известно, по окончании своей политической деятельности писал и о себе, и о революции. В 1791 году вышла его книга „Sur l'administration de Necker par lui-même“, а в 1796—„De la révolution française“. Дочь соединила обе темы в одну, расширив ее в общий обзор главных событий революции с целью ее защиты и выяснения ее результатов. Двойственность замысла невыгодно сказалась на исполнении, а тут еще, пользуясь модным в то время проведением параллели между историей Франции и Англии¹⁾, Сталь присоединила к основному предмету еще рассуждение об английской конституции и обществе в связи с изложением своих общих политических взглядов, остановившись и на положении дел во Франции в первые годы реставрации. Местами Сталь при этом передает и кое-какие личные свои воспоминания. Но это отсутствие внешнего единства не нарушает внутренней связности общего взгляда на революцию.

Альбер Сорель, сам автор одной из лучших историй революции, в своей небольшой книжке о г-же Сталь²⁾ называет эту ее книгу „самой глубокой и самой мужественной“ (viril), в которой „революция подвергается суду в целом и с точки зрения наиболее верной (juste) для той эпохи“. Когда произошла реставрация, Сталь, как и многие другие либералы, думала сначала, что этим событием завершится цикл политического развития, но когда реакция против революции дала себя знать, Сталь выступила на защиту революции. Главную цель последней она усмотрела в достижении политической свободы, но революция, по ее убеждению, не только дала Франции свободу, а также привела ее к материальному благосостоянию. Правда, революцию запятнали злодеяния, но зато, с другой стороны, никогда французы не проявляли столько лучших человеческих качеств, столько любви к отечеству, героизма, энтузиазма. Жестокости и междуусобие были и в Англии в первую ее революцию, да и в самой Франции во время религиозных войн, потому что фанатизм везде влечет за собою одни и те же преступления, но зато какие великие принципы провозгласила революция для будущего, обосновав на незыблемых началах свободу! Великие дела революции были

¹⁾ См. ниже.

²⁾ A. Sorel. M-me Staël. 1890. Есть русск. пер.

совершены тем, что было наиболее чистым во французской нации, а преступления имеют корень в вечной превратности людей. Вина правительства старого порядка, что оно не сделало французов лучшими, и, конечно, не восстановление старого порядка устранил их испорченность. Нацию, как она есть, образовали учреждения старого порядка, которые, действительно, были нигде негодны, раз они так воспитали массу. За моральные недостатки нации должно отвечать не то правительство, в котором люди стремятся, а то, под властью которого они долго находились. Защищая так революцию от сыпавшихся на нее нападков, Сталь, однако, во многом ее порицала, но, главное, она старалась ее понять в качестве верной последовательницы Монтескье, начертывавшего более правильный метод объяснения прошлого, в котором скрываются корни настоящего. В своих „*Considérations*“ Сталь заглянула и в отдаленное прошлое своей родины и связала более близкое прошлое с переживавшимся ею настоящим, не отказавшись даже и от того, чтобы бросить взгляд на грядущее будущее.

Последовательница историологических взглядов Монтескье, уже занимавшаяся сама историческими, психологическими и социологическими темами в своих книгах о страстях, о литературе, о Германии, Сталь и в книге о революции стремится к научной постановке темы. Не даром эпиграфом к этому своему произведению она взяла слова из мемуаров Сюлли: „перевороты, происходящие в больших государствах, отнюдь не бывают следствием случая или произвола народов“. „Те, говорит Сталь в самом начале ¹⁾),—те, которые смотрят на французскую революцию, как на случайное происшествие, не заглядывали ни в прошедшее, ни в будущее. Они приняли актеров за самую пьесу и, чтобы удовлетворить свои страсти, приписали людям данного момента то, что было подготовлено веками“. Однако, нужно было бы бросить взгляд на главные кризисы истории, дабы убедиться, что „они были неизбежны, когда они так или иначе были связаны с развитием идей, и что после более или менее продолжительной борьбы и бедствий, торжество просвещения (*le triomphe des lumières*) было всегда благоприятно для величия и улучшения человеческого

¹⁾ Цитируем, указывая римскими цифрами на части книги, арабскими на главы.

рода. Моим честолюбием было бы говорить о времени, в котором мы жили, как если бы оно было далеко от нас. Люди просвещенные, всегда являющиеся современниками грядущих веков по своим мыслям, пусть судят, сумела ли я подняться на высоту беспристрастия, которой я хотела бы достигнуть“ (I, 1). В этом отрывке обращают на себя внимание, во-первых, желание автора представить французскую революцию, лишь как одно из звеньев в общем историческом процессе Франции, во-вторых, та мысль, что в основе этого процесса находится развитие идей, в третьих, что он, в конце концов, имеет прогрессивный характер, и в четвертых, обещание стремиться к беспристрастию.

Современный читатель, разумеется, не удовлетворится тем, как Сталь связывала революцию со всем историческим прошлым Франции, но, не нужно забывать, что книга была написана в 1816—17 годах, тогда как настоящее развитие французской научной историографии началось только в двадцатых годах. „Опыт об истории Франции“ Гизо, который дал бы ей наиболее верную нить в лабиринте фактов прошлого, появился только в 1823 году, но как-раз тем не менее сам этот самый „Опыт“ носит следы влияния Сталь на его молодого автора, поставившего себе задачей разобраться в прошлых судьбах политической свободы во Франции. Мало того, заметим мимоходом, на историческом мышлении Гизо вообще сказалось знакомство его с „*Considérations*“ Сталь и не только в понимании истории цивилизации вообще, или во взгляде на прошлое Франции, как на историю перипетий свободы, но и в отношении к истории английской революции, которую Гизо занялся вплотную. Сорель правильно замечает, что основная идея „*Considérations*“ (т. е. о связи революции с прошлым Франции) ступевалась в более новой школе революционных историков, стремившихся изолировать французскую революцию в истории Франции и сделать из нее не ряд событий, но ряд символов, как бы своего рода откровение, имевшее своих пророков и предтеч, а не исторические прецеденты. Книга Токвиля о старом порядке, прибавляет наш историк, восстанавливает значение замысла г-жи Сталь, возобновляя связи с Монтескье и с прошлым Франции¹⁾.

¹⁾ Op. cit., 201.

Что касается другого пункта, т. е. идеологического объяснения истории вообще и революции в частности, то оно было в духе времени и подготовлено было тою работою, которую Сталь проделала по вопросу о связи литературы с общественной жизнью, так как в данном случае Сталь только повторяла ходячее мнение о влиянии просветительной литературы на события революции. Социальная сторона революции ускользнула от внимания писательницы, но опять-таки только историки двадцатых годов стали разрабатывать идею о классовой борьбе в истории вообще и в революции в частности, хотя намеки на эту борьбу не чужды и автору „*Considérations*“. Что касается до взгляда Сталь на революцию, как на этап в общем историческом прогрессе, то он удержался в последующей историографии. В этом отношении Сталь была страстной противницей реакционной школы, представители которой держались противоположного взгляда и видели во всей новой истории сплошное падение в сравнении с блаженными старыми временами. Интересно отметить еще, что Сталь одна из первых встала в новое отношение к средним векам, как к эпохе, когда все-таки, вопреки господствовавшим мнениям, происходило движение вперед, хотя, конечно, она реабилитировала средневековье в целях, противоположных тем, какие ставили себе писатели реакционной школы.

Таковы замечания, вызываемые уже первыми строками книги Сталь. Последний в них пункт выражает ее намерение быть беспристрастной. Уже в своем рассуждении о страстях она писала, что „человеческий ум не может развиваться, не может достигнуть настоящего успеха иным путем, как совершенным беспристрастием“. По ее словам, наш ум для этого должен отречься от всех привычек и предрассудков, чтобы руководиться, как выражается Декарт, „методом, независимым от всех проторенных дорог“. Самые успехи новых философов и ученых она объясняла тем, что они больше руководились научным методом, а не воображением, под влиянием которого находились древние. Этот метод есть ариаднина, разматывая которую, ум не рискует заблудиться, а достигает правды, полезной общему счастью и составляющей действительную ценность. Нужно искренно стремиться к истине, а лучший путь к ней в опыте, в анализе, в точности. Можно ли, однако, сказать, что Сталь была вполне беспри-

страстна в своей книге о революции? Уже одно то, что первым намерением ее было написать апологию близкого ей человека, противоречит похвальному ее отношению к научной объективности, да и вообще в эту эпоху трудно было и даже невозможно сохранить беспристрастие. Как-никак, на взглядах Сталь отразились и тот общественный круг, к которому она принадлежала, и политическая партия, в которой она занимала известное место, но, все-таки, наилучшими источниками ее субъективизма были глубокое уважение к просвещению и горячая любовь к свободе. В одном месте она так формулирует критерий для оценки человеческих поступков: „все меньшинства взывают к справедливости, а справедливость есть не что иное, как свобода. Любую партию можно судить лишь на основании доктрины, которую она проповедует, когда сама является самой сильной“.—Связывая революцию с прошлым Франции, Сталь не упускает из виду и остальной Европы. Первую главу своей книги она посвящает „общим соображениям о политическом ходе (la marche politique) европейской цивилизации по отношению к французской революции“ (I, 1), коротко касаясь всех стран. Из всех них она выдвигает на первый план Англию, в которой, как она выражается, „произошло последнее известное нам совершенствование общественного порядка“ (I, 1). По ее представлению, „одно и то же движение в умах произвело и английскую революцию, и французскую 1789 года“, ибо „обе принадлежат в третьей эпохе общественного порядка к установлению представительного правления, к которому со всех сторон направляется человеческий ум“ (I, 1). (Первым и вторым периодами у Сталь являются времена феодализма и городской свободы).

Обозревая прошлое Франции, Сталь опровергает утверждение многих, будто восемь веков монархии были временем внутреннего мира, когда „нация покоилась на розах“. Во Франции происходили гражданские смуты, ибо и французы, „подобно англичанам, боролись, чтобы добыть законную свободу, которая одна может дать нации спокойствие, соревнование и благосостояние“. Всем защитникам прав, покоящихся на прошлом, Сталь советовала повторять, что „это свобода имеет давность (est ancienne), деспотизии же—происхождения нового“ (est moderne). Свободу во Франции погубили ссоры со-

словий в генеральных штатах. Сделав общую характеристику утвердившегося в стране абсолютизма, писательница противопоставила Англии, управлявшейся 'общественным духом (*esprit public*), Францию, „судьбой которой распоряжались случай и самые непредвиденные и самые далекие интриги“. А между тем в составе так управлявшейся нации были глубокие мыслители и превосходные писатели, и как французам было не завидовать Англии, которая своим преимуществом была обязана политическим своим учреждениям? Литература есть выражение общества: „писатели в XVIII веке не стремились льстить правительству, а искали понравиться обществу, так как невозможно, чтобы большинство литераторов не пошло по одной из этих двух дорог“. Большая часть французов в XVIII в., говорит Сталь, желала „отмены феодального режима, введения английских учреждений и, прежде всего, религиозной свободы“ (I, 2), — формулировка, которую нельзя не признать довольно-таки субъективной, но зато хорошо характеризующая симпатии самой Сталь. В особой главе об общественном мнении при вступлении на престол Людовика XVI она подчеркнула (и совершенно верно), что первая атака на королевскую власть шла со стороны привилегированных, не потому, однако, оговаривается она, чтобы они хотели опрокинуть трон, а под влиянием общественного мнения, способного „действовать на людей без их ведома и часто даже вопреки их интересу“. Исходным пунктом были финансовое расстройство и общее недовольство: „никогда, прибавляет Сталь, неудобства произвола не давали чувствовать себя с большею силою, как в царствование, которое, не будучи тираническим, отличалось постоянною непоследовательностью“. По верному ее замечанию, партия аристократов, т. е. привилегированные были убеждены, что „король с более сильным характером мог бы предупредить революцию“, забывая, что они „первые начали, с мужеством и с основанием, атаку против королевской власти. Какое сопротивление могла бы им оказать эта власть, раз нация была тогда с ними“ (I, 3). Мысль о начале революции с общественных верхов была впоследствии позабыта, на что особенно указал в конце XIX века Шере, а она между тем заслуживает величайшего внимания.—Говоря об этой эпохе, Сталь особенно выдвигает вперед роль своего отца (главы 4 — 8). У Неккера, по ее

представлению, не было, в его первое министерство, иной цели, „как понудить короля сделать самому все то благое, чего требовала нация и ради чего она потом пожелала иметь представителей: это был единственный способ помешать революции при жизни Людовика XVI“. О Тюрго, наоборот, она говорит лишь мимоходом, но значение обоих, как реформаторов, одинаково бывших опрокинутыми, благодаря привилегированным, ею было понято верно, как, в общем, и верно изображено все то, что привело к созыву Генеральных Штатов (главы 9—10).

Далее Сталь ставила вопрос: „существовала ли во Франции конституция до революции?“ Ответ ее был отрицательным. Из всех европейских монархий она считала Францию таким государством, где царствовали наибольший произвол и изменчивость. Сами основные законы монархии были предметом споров. „Франция, говорит она, управлялась обычаями, часто капризами, но никогда не управлялась законами“. История Франции представляется ей рядом постоянных попыток дворянства относительно привилегий, нации относительно прав и рядом постоянных усилий королей заставить признавать их совершенно абсолютными. Положение дел было таково, что даже защитники существования во Франции конституции указывали на необходимость перемен (I, 11). Сами привилегированные требовали созыва Генеральных Штатов. Нашей писательнице кажется, что нация желала и требовала английской конституции, откуда и вытекает для Сталь вопрос, „какие же бури удалили ее от этой гавани, единственной, где она могла бы найти покой“ (I, 5). Указав на то, что привело к революции, Сталь поставила себе задачу „рассмотреть беспристрастно“, почему не осуществилась та цель, которую, по ее мнению, должна была иметь революция. Для этого в ряде глав она рассказывает события эпохи, начиная с открытия Генеральных Штатов. Две большие опасности, банкротство и голод, грозили Франции в это время (I, 17), а между тем оппозиция привилегированных препятствовала принятию спасительных решений; с другой же стороны, „народное невежество, как следствие долгого угнетения и малой заботы о воспитании низших классов, угрожало Франции бедрами“, которые потом на нее и обрушились. „Быть может, думает Сталь, во Франции было столько же выдаю-

щихся людей, как и в Англии, но масса здравого смысла, какую обладает свободная нация, во Франции не существовала“ (I, 18). Для противодействия революции у короля было два средства: „или восторжествовать над общественным мнением, подавив его силою, или считаться с ним (I, 19). Известно, каким путем пошел Людовик XVI, у которого как-раз силы-то в распоряжении и не было. Сталь очень подробно останавливается на королевском заседании 23 июня 1789 года и его последствиях (I, 20 — 21), на „революции 14 июля“ (I, 22), на возвращении Неккера (I, 23), противопоставляя его здравую политику политике не только двора, но, позднее, и политике Мирабо. Эта часть книги заканчивается такой тирадой:

„Любезная и великодушная Франция, прощай! Прощай, Франция, которая хотела свободы и так легко тогда могла ее получить. Теперь ты обречена на то, чтобы начертать сначала свои ошибки, потом свои преступления, потом свои несчастья. Отблески твоих доблестей еще появятся, но самый свет, который они прольют, послужит лишь к большему обнаружению твоих бедствий. Во всяком случае, ты настолько заслужила любовь к себе, что радуешься, видя тебя такою, какою ты была в первые дни национального единения. Друг, возвращающийся после долгого отсутствия, тем радостнее встречается друзьями“.

В дальнейшем Сталь дает оценку людям и деятельности Учредительного Собрания. По первому пункту отметим для примера ее суждений хотя бы такое место. „Можно бы сказать, говорит она, что во все эпохи истории есть люди, которых позволительно рассматривать, как представителей благого и злого начал. Таковы были Цицерон и Катилина в Риме, таковы были Неккер и Мирабо во Франции“ (II, 1). Но особенно замечательна четвертая глава второй части, где говорится о благах, произведенных Учредительным Собранием. „Прежде, пишет здесь Сталь, нежели начертать гибельные события, исказившие французскую революцию и погубившие в Европе надолго, может быть, дело разума и свободы, рассмотрим принципы, провозглашенные Учредительным Собранием, и представим картину тех благ, которые их приложение принесло и еще приносит Франции, несмотря на все бедствия, обрушившиеся на эту страну“. Общій вывод

автора такой: „если удивляются, видя, что Франция еще имеет столько средств вопреки своим бедам; если, несмотря на утрату колоний, ее торговля проложила себе новые пути; если успехи земледелия неоспоримы, несмотря на военные наборы и вторжение иностранных войск, то все это нужно приписать декретам Учредительного Собрания. Франция старого порядка пала бы под одною тысячною долею тех бед, которые перенесла Франция новая“ (II, 4). В особой главе восхваляется свобода печати и неприкосновенность личности, провозглашенные Учредительным Собранием. „Не только, говорит Сталь, оно заслуживает благодарности французского народа за отмену злоупотреблений, его удручавших, но нужно еще воздать ему должное за то, что из всех властей, управлявших Францией до революции и после нее, оно было единственным, широко и искренне дозволившим свободу печати“. Оно также уважало и личную свободу. „Ужасная секта якобинцев, продолжает Сталь, думала впоследствии установить свободу при помощи деспотизма; из этой системы возникли все злодеяния. Но Учредительное Собрание было далеко от того, чтобы принять эту систему: его средства были аналогичны его целям, и именно в самой свободе оно искало силы, необходимой для установления свободы. Если бы Учредительное Собрание соединяло с благородным незлобием к нападкам на него его противников справедливую строгость против всех писаний и сборищ, призывавших к беспорядку; если бы оно себе сказало, что в тот момент, когда какая-либо партия становится могущественною, прежде всего она должна была бы обуздывать своих членов, оно управляло бы с такою энергией и мудростью, что дело веков было бы исполнено, может быть, в два года“ (II, 6).

Охарактеризовав разные партии, которые существовали в Собрании и которые, по ее мнению, будто бы определялись только начинавшими проявляться личными интересами (II, 7), Сталь далее разбирает ошибки Собрания в областях администрации (II, 7) и государственного устройства (II, 8), высказав при этом немало дальних соображений, но вместе с тем противопоставив другим вождям своего отца (II, 9), как человека, стремившегося ввести во Франции английскую конституцию, которая была идеалом самой Сталь. В то самое время, как Собрание „без страха предавалось великодушному

желанию улучшить судьбу народа“, видя его только угнетенным, оно не подозревало, что „насилие бунта всегда пропорционально несправедливости рабства“ и что потому „изменения во Франции нужно было производить с тем большею осторожностью, чем более было угнетений при старом порядке. Аристократы скажут, прибавляет Сталь, что они предвидели все наши несчастья, но предсказания, продиктованные личным интересом, ни на кого не оказывают действия“. Это размышление вызвано было со стороны Сталь событиями 5 и 6 октября, в которых выступили, как она выражается, „последние классы народа, еще более одержимые опьянением, чем яростью“, когда в этой „адской банде“ люди хвастались кличкой головорезов (II, 11). Результатом октябрьских событий было перенесение Собрания в Париж, где оно уже не пользовалось полною свободою. „5 и 6 октября, говорит Сталь, были так сказать, первыми днями выступления якобинцев: революция переменяла предмет и сферу; уже не свобода, а равенство было ее целью, и низший класс общества с этого дня начал брать перевес над тем, который призван к управлению вследствие своей просвещенности... Учредительное Собрание было господином судеб Франции с 14 июля до 5 октября, но с этого момента его подчинила себе народная сила... Революция должна была опускаться все ниже, каждый раз, как высшие классы выпускали из рук вожжи по недостатку ли мудрости, или по отсутствию ловкости“ (II, 133).

Продолжая обзирать деятельность Учредительного Собрания, Сталь останавливается на всех его важнейших мерах, не всегда интересуясь тем, что особенно важно для современных историков (напр., отменю сеньерьяльских прав), но нередко сходясь с ними в оценке таких законов, как „злосчастное изобретение конституционного клира“ (II, 13). Отмечая ошибочные шаги Собрания, она не перестает признавать, что оно сделало много добра и за это обоготворялось чуть не всей Францией (II, 16). Для Сталь „во всем, что не имело отношения к партийности (*esprit de parti*), оно обнаруживало высшую степень разумности и просвещенности“, но, оговаривается она, „в страстях есть что-то такое насильственное, что ими обрывается цепь рассуждений, и известные слова зажигают кровь, а самолюбие дает перевес эфемерным

сатисфакциям над всем, что могло бы быть прочным". Бю хорошо очерчена роль клубов и в особенности значение якобинцев: „едва, замечает она, допускают в правлении власть, не имеющую законного характера, она всегда кончает тем, что делается более сильной... Якобинские клубы были организованы, как правительство и даже больше, чем само правительство“. Сталь сравнивает эту организацию „с подземною миною, всегда готовою к взрыву существующих учреждений при первом представившемся случае“ (II, 19). Она сожалеет, что конституция 1791 года отличалась от английской, но и помимо того, в ее критике есть не мало верного. „Творцы этой конституции пустили в море плохо построенный корабль и думали оправдывать каждый недостаток, ссылаясь на волю такого-то человека или на кредит другого. Но волны океана, который должен был переплыть этот корабль, не считались с такими комментариями“. К числу ошибочных суждений самого критика относится недовольство конституцией за ее демократичность (II, 22). В общем, если для Сталь Учредительное Собрание заслуживает величайшей благодарности за разрушение дурных порядков, то в деле созидания учреждений оно заслужило у нее не мало упреков. Как бы то ни было, в 1791 году „казалось, что революция кончилась и свобода была установлена“, но всему делу повредили „дворянские предрассудки, отталкивавшие от себя всякий вид свободного правления. Так как знать не оказывала поддержки свободе, верх необходимо взяла демократическая сила... Не будучи в состоянии бороться с нацией, дворяне массами стали покидать страну и соединяться с иностранцами. Это гибельное решение, говорит Сталь, сделало конституционную монархию невозможной, потому что разрушило ее консервативные элементы“ (II, 23). Целую главу она посвящает вопросу о значении эмиграции в истории революции, различая здесь периоды эмиграции добровольной до 1792 г. и вынужденной террором с 1792 г. Ведь сама она уехала из Франции только в сентябре 1792 г. „Многие ставили эмиграции в вину все бедствия, обрушившиеся на Францию. Несправедливо сваливать на ошибки одной партии преступления другой, но тем не менее можно считать доказанным, что демократический кризис тем более сделался вероятным, когда все люди, которые служили старой монархии и могли бы быть заняты

в новой, если бы того захотели, однако, покинули страну“ (Ш, 1).

„С глубоким чувством скорби“ Сталь излагает эпоху революции, когда, говорит она сама, „свободная конституция могла бы быть установлена во Франции, но когда не только эта надежда была низвергнута, но самые гибельные события заняли место самых спасительных учреждений“. Такими словами он начинает рассмотрение времени Законодательного Собрания. В последнем она различает три партии: конституционную, якобинскую и республиканскую; по общепринятой теперь терминологии это фэйльяпы, монтаньяры и жирондисты. Первую, консервативную партию составляли, по ее словам, „собственники и мудрые умы“. Вторая, существовавшая еще в Учредительном Собрании, в ее глазах является теперь „еще менее достойною уважения, чем ее предшественники“: в Учредительном Собрании по временам еще можно было опасаться за дело свободы, и сторонники старого порядка могли еще быть страшными, но в „Законодательном не было ни опасностей, ни препятствий, а потому партийные люди (*les factieux*) вынуждены были создавать призраки, чтобы упражняться в словесных турнирах с ними... Принципом этой партии, как выражается о ней Сталь,—партии, которая колебала общественный порядок в самых его основаниях, было поставить во главе нападающих тех, которые ничем не обладали в здании, долженствовавшем быть ниспровергнутым“. Под республиканцами Сталь понимает, как только что объяснено, жирондистов, которые, будучи деятелями совсем другого рода, но тоже „давая силу людям без средств, льстили себя надеждою, совершенно тщетною, сначала воспользоваться якобинцами, а потом поудержать... Жирондисты хотели республики, но сумели только опрокинуть монархию, погибнув впоследствии сами, стремясь спасти Францию и ее короля“. Автор „*Considérations*“, по собственному признанию, не видит никакого преступления в предпочтении республики другим формам правления, лишь бы для ее установления не было надобности в преступлениях, но в эту эпоху, думает Сталь, „истинно республиканские чувства, т. е. великодушное отношение к слабым, отвращение к произвольным мерам, уважение к справедливости, все, наконец, добродетели, которыми дорожат друзья свободы,

были на стороне конституционалистов". Властолюбие применялось к энтузиазму принципов у республиканцев 1792 года, и некоторые из них „готовы были поддерживать королевскую власть, если все места в министерстве будут в руках их друзей". Общий приговор Сталь о жирондистской политике, которую она упрекает в недалёковидности и в легкомыслии, вышел отрицательным (III, 3). Так же неблагоприятно отнеслась она и к законодательной деятельности второго Собрания. Оно издало массу декретов, хотя почти не осталось ничего полезного, что можно было бы еще сделать: то, что оно называло законами, внушено было партийностью (*esprit de faction*). Вообще Сталь сохранила привычку современников революции видеть партийность только в действиях людей, принадлежавших к другим партиям. Более права она, когда говорит, что Учредительное Собрание не преследовало ни отдельных людей, ни целые классы, тогда как Законодательное пользовалось законами, как батареей против своих противников (т. е. против эмигрантов и неприсяжных священников). „Произвол, против которого должна была быть направлена революция, получил новую силу через самую же эту революцию. Напрасно говорили, что все делается для народа: революционеры были только жрецами бога Молоха, называемого интересом всех, который требовал в жертву счастье каждого в отдельности. В политике преследование не ведет не к чему иному, как к необходимости преследовать еще, и убивать не значит истреблять" (III, 4). Сталь убеждена, что война с Европой была бы предупреждена, если бы Законодательное Собрание было умеренным, но с другой стороны, и трон во Франции не был бы, быть может, разрушен, если бы Европа не грозила своим вмешательством во внутренние дела Франции. „Одна судьба хранит тайну таких предположений", оговаривается Сталь, но войны одинаково страстно желали и якобинцы, которых она напрасно смешивает здесь с жирондистами, и эмигранты (III, 5). К низвержению монархии она отнеслась с явным неодобрением, потому что, по ее мнению, эта новая революция не была „в гармонии с духом времени. Когда, поясняет она свою мысль, пытаются возвратиться к прежним учреждениям, т. е. обратить вспять человеческий разум, воспламеняют все народные страсти. Но если, наоборот, хотят основать рес-

публику в стране, которая имела все недостатки и все пороки, порождаемые абсолютными монархиями, то попадают в необходимость притеснять, чтобы освободить, и пятнать себя злодеяниями, провозглашая правление, основывающееся на добродетели" (III, 6). „Если бы, говорит еще Сталь, вожди народной партии могли верить, что нация действительно желает республики, они не буждались бы в самых несправедливых средствах для ее установления. К деспотизму не прибегают, когда имеют за себя общественное мнение, и какому деспотизму, праведное небо! который шел от самых грубых классов общества, как ядовитые пары из зараженных болот“. На сцену выступило сорок четыре тысячи муниципалитетов, в которых было по яеобинскому клубу, зависевшему от парижского, в свою очередь повиновавшегося предместьям“ (III, 7). Сталь не верит, что манифест герцога Брауншвейгского сыграл особенно важную роль в событиях 1792 года (III, 8), а в революции 10 августа не видит исполнения желания всей Франции, которое, наоборот, объясняет 1789 год (III, 9). Сентябрьские убийства через двадцать два дня после крушения трона были только результатом разгула низменных страстей. Если говорят, что французы отразили внешнего врага, только совершив эти преступления, то Сталь думает, наоборот, что они скорее достигли этого результата даже несмотря на такие злодеяния. После них „истинные республиканцы уже ни одного дня не оставались господами положения“ (III, 10). В этом месте своей книги Сталь вспоминает и то, что она лично тогда пережила: в начале сентября 1792 г. она, как было уже сказано, покинула Францию.

В дальнейшем изложении обращают на себя внимание главы третьей части о политическом фанатизме, о терроре, о падении Робеспьера, о состоянии умов в эпоху установления директориальной республики, о введении во Францию „военного управления“ после 18 фрюкгидора и т. д. Четвертая часть начинается с возвращения Бонапарта из Египта, а пятая и шестая посвящены реставрации Бурбонов.

Автор исследования о влиянии страстей, Сталь была очень хорошо подготовлена, чтобы с полным знанием дела писать о политическом фанатизме. „Мирские страсти, говорит она, всегда составляли часть религиозного деспотизма, и часто, наоборот, настоящая политическая вера в некото-

рые отвлеченные идеи питает фанатизм политический". Упомянув, что бедными овладел род ярости против богатых и что первым положение вторых казалось узурпацией, она выражает ту мысль, что лучшим средством против народных страстей может быть не деспотизм, а царство закона. Во время революции были на лицо оба элемента религиозного и политического фанатизма: воля к власти (*la volonté de dominer*) в тех, которые были наверху колеса, пылкое желание его повернуть в тех, которые были внизу. Таков принцип всех насилий: предлог меняется, причина остается, и взаимное озлобление продолжает быть тем же". Убийства не менее ужаснее тех, которые были во время террора, совершались и во имя религии (III, 15), теперь же их вызывала политика. Только под таким аспектом Сталь понимает классовую борьбу, т.-е. в непосредственной рукопашной схватке, не подозревая существования более тонких социальных взаимоотношений в основе политических событий и перемен. Ход революции после падения жирондистов кажется Сталь Дантовым адом с его нисходящими кругами. Она советует, однако, „смотреть философски на эти события, по поводу которых только можно истощать красноречие негодования без полного удовлетворения нравственного чувства, какое они заставляют испытывать". По истечении двух десятков лет она находит необходимым „присоединить к живому негодованию современников просвещенное исследование, которое должно быть руководством в будущем. Жирондисты тщетно пытались привести в действие некоторые законы, потому что зверские инстинкты не допускали этого. „Якобинская партия стояла за деспотизм, а потому напрасно ее правление обозначали, как анархию. Никогда более сильная власть не управляла Францией, но это был странный род власти: вытекая из народного фанатизма, она поселяла ужас даже в тех, которые властвовали от имени народа, ибо они всегда боялись в свою очередь подвергнуться конскрипции со стороны людей, бывших способными пойти еще дальше их самих в дерзости преследований". Последними в эту эпоху людьми, в глазах Сталь, достойными занимать место в истории, „были жирондисты, не могшие не раскаиваться в употреблении средств, которые теперь направлены были против них же самих". Тремя главными пружинами, какими пользовался ко-

митет общественного спасения, чтобы возбуждать народ и над ним властвовать, по верному определению Сталь, были недостаток съестных припасов, обилие бумажных денег и энтузиазм, вызванный войною (III, 16). В этом последнем отношении Франция проявила доблести, которые не переставали ее украшать в самую ужасную эпоху ее истории (III, 17). С другой стороны, рядом с преданностью отечеству его защитников, Сталь ставит еще достойное поведение жертв террора перед лицом смерти. Интересна общая характеристика Робеспьера, сделанная знаменитой писательницей, как человека, который был не красноречивее и не ловчее других, но политический фанатизм которого отличался характером спокойствия и суровости, заставлявших всех его товарищей его бояться. Для нее это был, однако, лицемер и властолюбец (III, 19). Вообще все члены Конвента, принимавшие участие в терроре, вынесли из него привычки в одно и то же время рабского и тиранического свойства. „В этой школе, совершенно верно замечает Сталь, Бонапарт взял многих людей, впоследствии содействовавших его властвованию: так как прежде всего они искали убежища, то считали себя обеспеченными только деспотизмом“. Конституцию III года Сталь считает более разумной и лучше слаженной, нежели конституция 1791 г. (III, 20). Уже после падения Робеспьера сделалась возможною некоторая свобода печати, но 15 месяцев, отделяющих 9 термидора от начала директории, были временем настоящей анархии, а когда установилась новая власть, стало поправляться и общее положение дел. Сталь, сама вернувшаяся в это время в Париж, очень сочувственно отзываясь о политике директоров в первый период действия конституции III года. Обе крайние партии, т.-е. якобинцы и роялисты, нападали на новое правительство, чему оно не препятствовало, но что и не могло его поколебать (III, 21). Этому сравнительно хорошему, по мнению Сталь, периоду революции она противопоставляет другой, когда переворот 18 фрюктидора положил начало замене представительного правления военным, когда директория послала гренадеров в обе законодательные палаты (III, 24). Это событие только подготовило то, что случилось двумя годами позже.

На этом мы и остановимся в рассмотрении того, как Сталь понимала и оценивала французскую революцию. Чет-

вертая и пятая части „*Considérations*“ посвящены Наполеоновской эпохе и началу реставрации, а в шестой, неоконченной части, где говорится об английской конституции и излагается политическая теория Сталь, есть некоторые места, дополняющие ее предыдущие соображения. В первой главе ставится вопрос: „Созданы ли французы, чтобы быть свободными?“ Французская патриотка, какою была Сталь, она не отчаивается в этом; все страны, все народы, все люди способны быть свободными; и в истории самой Англии, наиболее свободной страны, есть эпохи, похожие на французскую революцию, и это должно примирить с французами, способность которых к свободе многими отрицается. В Англии Сталь, прежде всего, ценила ее свободу и благосостояние, которое является следствием первой, равно как просвещенность всей нации, благопренятствуемую учреждениями страны. Но именно этим благам, т.-е. свободе, благосостоянию, просвещенности, во Франции и положила начало революция 1789 года. Сталь полемизирует здесь с теми, „которых напугали бедствия и преступления революции и которые из одной крайности бросаются в другую, как будто бы произвольная власть одного является единственным верным предупредительным средством против демагогии“. Есть люди, повторяющие, что „после ужасов, свидетелями которых были все, никто и слышать не хочет о свободе“. Но им можно ответить словами: „не нужно заставлять свободу заколоть себя кинжалом, подобно Лукреции, потому, что она была обесчещена“. Им, этим людям, нужно напомнить, что варфоломеевская ночь не заставила же отрицать католицизм. „Во все времена виновные старались пользоваться благородным предлогом, чтобы оправдывать дурные дела: нет почти ни одного преступления в мире, сделавший которое не относил бы его к чести, к религии, к свободе. Отсюда, прибавляет Сталь, я думаю, отнюдь не следует, что нужно за это преследовать все прекрасное, что только есть на земле“ (VI, 12). Последняя глава книги говорит о любви к свободе, — любви, которой в душе Сталь не поколебали, как это было во многих других душах, кровавые события революции¹).

¹) В книге Софьи Вайнштейн есть изложение содержания „*Considérations*“ (стр. 174—229), где переданы первые три части.

В своих „*Considérations*“ Сталь объясняла и подвергала своему суду события, которые она сама переживала, местами передавая свои впечатления от тех или других из них. Они не бросили ее на путь крайней реакции, как не увлекли на этот путь ненависть к ней и брань на нее, „вакханку революции“ (слова маркиза Ривароля) со стороны роялистов, ненавидивших ее особенно за то, что она была дочь Неккера, им очень ненавистного. Появление ее „*Considérations*“ в 1818 г. в разгар борьбы роялистов и либералов произвело во французском обществе величайшую сенсацию. Все партии, по свидетельству Бенжамена Констана, бросились на эту книгу, выхватывая из нее, что кому было выгодно, и толкуя ее в пользу своих взглядов. Позднее Сент-Бев в своих „*Portraits de femmes*“ прямо говорит о влиянии этой книги на молодую философскую либеральную партию, как бы, по его выражению, „вытекавшую из духа г-жи Сталь“. Были у нее и критики, утверждавшие, что она написала обвинительный акт против революции, как это сказал бывший якобинец Байель, который, однако, хвалил стойкость и энергию автора в ее борьбе с Наполеоном во имя свободы¹⁾.

ГЛАВА IV.

Реставрация. — Истории французской революции Минье и Тьера.

Г-жа Сталь писала свои *Considérations* в самом начале реставрации. Прошло после выхода ее книги каких-нибудь пять-шесть лет, как появились первые серьезные истории французской революции, авторы которых, Тьер и Минье, ставили себе аналогичную с задачей г-жи Сталь цель защиты революции в эпоху острой политической борьбы, происходившей между представителями новой Франции, созданной, в конце концов, революцией, и представителями старой, до-революционной Франции. Это была борьба политического на-

¹⁾ I. Ch. Bailleul. Examen critique des *Considérations* de M-me de Staël sur le principaux événements de la révolution française etc. 1822. Два тома, где около тысячи страниц.

правления, получившего название либерализма, с реакцией абсолютистского, аристократического и клерикального характера, борьба между зажиточной и образованной буржуазией, с одной стороны, и бывшими привилегированными сословиями дворянства и духовенства, с другой, главными вождями которых были вернувшиеся во Францию с Бурбонами эмигранты. Новой Франции снова приходилось защищаться от всех уцелевших сил старого порядка, и в этой борьбе на помощь новому обществу пришла, между прочим, зародившаяся в данную эпоху во Франции замечательная историческая школа, положившая начало научной разработке прошлого Франции.

Для психологии той реакции, которую вызвала в обществе революция, хорошую характеристику дал, еще в 1797 году, Бенжамен Констан в своем сочинении „О политических реакциях“¹⁾.

„Французская революция, говорит он, разрушив сначала привилегии, направилась затем против собственности и тем самым вышла за пределы господствовавших понятий. Против нее ополчились заинтересованные общественные классы и в своем испуге уже не довольствовались противодействием увлечениям и крайностям; они понялись еще дальше и стали во враждебное отношение ко всему кругу воззрений, связанных с революцией. Такие реакции порождаются естественно склонностью человека распространять свое сожаление на всю обстановку тех предметов, о которых собственно он сожалеет... Напуганные событиями люди предполагают, что для того, чтобы успокоиться и стать на ноги, они должны поднять все то, что в прежнее время их окружало и даже то, что над ними тяготело: давление сверху считается залогом безопасности. И вот куда ни взглянешь, повсюду воскресают старые предрассудки, которые, казалось, давно были уничтожены. Их поддерживают, приплетая к ним мотивы: обсуждая вопросы законодательства, припоминают увлечения анархии; нападают на известный закон из-за его автора или из-за его даты: обвиняют отвлеченные теории, ссылаясь на злодеяния, которые не имеют с ними ничего общего, кроме одновременности; отвешивают давно забытые софизмы в защиту старинных за-

¹⁾ Des réactions politiques.“

блуждений. Скептики и атеисты, в былое время щеголявшие вольнодумством и снискавшие себе популярность дерзким отрицанием, ударились теперь в католическую мистику и с азартом проповедают религиозную нетерпимость⁴.

К этому месту, как нельзя более, подходят слова, написанные через два десятка лет единомышленницей Бенжамена Констана, г-жой Сталь, в ее „*Considérations*“. „Оппоненты французской революции, читаем мы в них, дворяне, духовенство, магистратура не уставали говорить, что не нужно было никаких изменений в правительстве, ибо существовавшие тогда посредствующие корпорации хорошо исполняли свою роль, не допуская деспотизма, а теперь они за деспотизм, как за восстановление будто бы старого порядка. Эта непоследовательность в принципах есть последовательность в интересах. Когда привилегированные ограничивали королевскую власть, они были против произвольной власти короны, но когда нация сумела занять место привилегированных, они соединились с королевскою прерогативою и выставляют всякую конституционную оппозицию, всякую политическую свободу в виде какого-то бунта“¹⁾.

Бенжамен Констан писал о реакции в самом французском обществе, Сталь—об эмигрантах, которые вернулись во Францию с Бурбонами, „ничему не научившись и ничего не позабыв“. Но в стране они нашли уже другое поколение, другие порядки сравнительно с теми, какие ими были оставлены за четверть века, когда они покидали Францию. В этой новой Франции эмигранты нашли, при полном поражении, которое потерпели в последних годах XVIII века демократы и республиканцы, развитую либеральную буржуазию, желавшую утверждения в стране представительного образа правления с ограниченою королевскою властью. О настроении этого общественного класса можно судить по следующим словам Гизо, будущего знаменитого историка, в его публицистическом произведении „О правительстве Франции“, вышедшем в свет в 1820 году²⁾.

„В течение тринадцати веков, писал Гизо, который вскоре после этого прославился своей „Историей цивилизации во

1) Стр. 247—248 указан. выше издания.

2) Guizot. Du gouvernement de la France depuis la révolution.

Франции“, Франция заключала в себе два народа: народ победителей и народ побежденных. В течение тринадцати веков народ побежденных боролся, чтобы сбросить с себя иго народа победителей. Наша история есть история борьбы. В наши дни была дана решительная битва, она называется революцией. Результат революции не подлежит сомнению: прежний побежденный народ сделался народом победителем. В свою очередь он победил Францию“. Указав на то, что побежденные не хотели примириться со своим поражением и удовольствоваться равноправием, Гизо продолжает: „этот народ привилегий существует между нами; он живет, говорит, действует, оказывает влияние от одного конца Франции до другого. Сильно уменьшенный и рассеянный Конвентом, то обольщаемый, то сдерживаемый Наполеоном, лишь только прекращается террор или деспотизм, он снова появляется на сцену, занимает свое место и начинает работать над возвращением себе всего, что было им потеряно“. Конечно, новая Франция не могла не давать отпора таким притязаниям. „Мы, говорит дальше Гизо, победили старый порядок, и победа всегда будет на нашей стороне, но нам долго еще придется вести борьбу. Кто желает во Франции конституционного порядка, выборов, палат, публичной трибуны, свободы печати, всех видов общественной свободы, должен отказаться от мысли, будто в этом непрерывном и столь оживленном проявлении всего общества контр-революция может остаться немой и бездействовать“. Итак, в глазах Гизо в эпоху реставрации революция была решительной битвой в вековой борьбе между привилегированными и остальной нацией. В классовом ее составе он не разбирается и в позднейшей „Истории цивилизации в Европе“ он противопоставляет средние века с их сословным строем государства новому времени, когда на политической сцене выступают только две силы: правительство и народ, нация.

О том же разделении общества на два класса, из которых „один борется для завоевания прав, а другой—для удержания за собой привилегий“, как еще выразился Гизо, одновременно в таком же смысле говорил и другой историк, начавший свою деятельность в те же годы, Огюстен Тьерри, который обозначал эти два класса, как „людей пергаменов“, т.-е. старых хартий, на которых зиждились их привилегии,

и „людей индустрии“. Не иной смысл имело и то, что говорил в этом отношении и один из родоначальников утопического социализма, Сен-Симон, противопоставивший в те же самые годы феодализм и индустриализм... „Какое положение, спрашивал он, индустриалы (сельские хозяева, фабриканты и негоцианты) должны занимать в обществе?“ И отвечал: „первое“. Тогда-то он и издал ряд брошюр (1817—1823), направленных „в защиту, как сам он выразился, индустриалов против куртизанов и дворян, т.-е. в защиту пчел против трутней“. В эти годы сам Сен-Симон еще не отмечал в индустриализме противоположности интересов капитала и труда, как это было им сделано в „Новом Христианстве“ (1825), где он от индустриализма перешел к социализму.

Все это было как-бы возвращением к тем временам, когда единое третье сословие мыслилось, как вся нация, в ее противоположении привилегированным, но в то же время все-таки под третьим сословием подразумевались преимущественно верхи его, буржуазия. „Мы, писал в 1820 году Гизо, мы — сыны третьего сословия, выпешшего из городских общин“. Иногда люди этого общественного класса в нем видели как бы всю нацию. Либеральный историк контр-революции в Англии, Арман Каррель, прямо упрекал тех (в данном случае это были люди крайней правой), которые искали какую-то нацию вне круга, читающего газеты, возбуждающегося парламентскими прениями, владеющего капиталами, управляющего промышленностью, имеющего в своих руках землю, и этой нации противопоставляли народную массу, „мало что понимающую“.

Одним словом, зажиточная и образованная буржуазия и руководившая ею либеральная интеллигенция, к которой принадлежали и наиболее видные историки вообще и революции в частности, далеко не были демократами. Против демократизма республиканского периода революции реакция во французском обществе, участвовавшем в революции, зародилась еще во время самой революции и особенно проявилась после падения Робеспьера, выразившись в термидорианском режиме и в конституции III-го года. Мы видели, что у Сталь начало этого периода прямо рассматривается, как сравнительно лучшее время в истории республики. Эта анти-демократическая реакция была, конечно, не такую, какую

сделалась реакция после падения Наполеона. Последняя относилась с величайшей ненавистью ко всей революции, т.-е. и к 1789, и к 1793 году, и к Учредительному Собранию, и к Конвенту, и к Мирабо, и к Робеспьеру, тогда как другая реакция, возникшая в недрах самого общества, сначала приветствовавшего революцию, потом начавшего относиться отрицательно к более крайнему направлению, ею принятому, сохранила симпатию к принципам 1789 г., в представительному правлению, к гражданскому равноправию и т. п. Для этой реакции цель была не в восстановлении королевского абсолютизма, дворянских привилегий, прежнего исключительного положения духовенства, еще менее в возвращении старым владельцам национальных имуществ, распроданных во время революции. Наоборот, это считалось раз навсегда решенным революцией в отрицательном смысле, а если возвращение чего-либо было здесь еще нежелательным из революционного прошлого, то это была наиболее демократическая эпоха революции. Эту реакцию, в отличие от эмигрантской, можно было бы назвать буржуазной, но суть дела заключалась не в одной реакции со стороны зажиточной и образованной буржуазии против господства демократической партии от имени народной массы, на которую смотрели, как на невежественную чернь, но и в реакции против царства демагогического произвола, восстанавлившего в худшем еще виде все тиранические приемы старого управления, против неуважения к личной и к общественной свободе, характеризующего эпоху террора.

Новое французское общество цепко держалось за социальные приобретения революции, за гражданское равноправие, за все новые порядки в общественном быту, за перешедшие в новые руки земли духовенства и эмигрантов и т. п., но в то же время не хотело возвращения якобинского режима. Владычество Наполеона спасало его от якобинского террора совершенно так же, как и от феодально-клерикальной реакции старого порядка, но свободы в Наполеоновском политическом строе не было и быть не могло. Падение империи и превращение Франции в конституционную монархию открывали перед буржуазией и интеллигенцией эру политической свободы, возвращая к тому положению вещей, которое было целью стремлений Учредительного Собрания и которое осо-

бенно желала закрепить конституция III-го года. Либералы эпохи реставрации одинаково были противниками и революционной диктатуры якобинцев, и военной диктатуры Наполеона. Их политическим идеалом была английская конституция, бывшая, как мы видели, столь привлекательною и для Сталь.

С тех пор как Вольтер в „Письмах об англичанах“ восхвалял английскую духовную свободу, а Монтескьё в „Духе Законов“ идеализировал английскую конституцию, во Франции не переставали присматриваться к учреждениям своей заламаншской соседки. Особенно это усилилось в эпоху реставрации, когда начали в самой истории Англии искать аналогии с недавним прошлым Франции. Сходство, на самом деле, не могло не броситься в глаза. Первая английская революция как-бы повторилась во французской. В обеих странах велась борьба против абсолютизма во имя свободы, в обеих народное представительство в этой борьбе победило, в обеих царствовавшие монархи сложили головы свои на эшафоте, в обеих устанавливалась республика, в обеих власть переходила в руки военных вождей, в обеих такая диктатура уступала, наконец, место законной династии.

Реставрация Бурбонов была повторением реставрации Стюартов, и в 1814 году многие готовы были думать, что восстановление старой династии во Франции соединит в себе то, что в Англии было совершено в два приема реставрацией 1660 года и второю революцией 1689 года, т.-е. возвращением престола законной династии и упрочением политической свободы. Бурбоны и эмигранты показали, что надежда на такую комбинацию была тщетной, и очень скоро параллель между историями обеих стран проводилась дальше: в Англии—реставрация, сделавшаяся контр-революцией, привела к новой революции, сопровождавшейся сменой династии и торжеством конституционного образа правления, то же самое рисовалось в перспективе и во Франции, пока ожидаемый факт не произошел в 1830 году.

Сходство,—с нашей точки зрения, конечно, чисто внешнее,—между обеими революциями было не у одних только либералов, в роде Армана Карреля, написавшего во второй половине двадцатых годов „Историю контр-революции в Англии“ с прозрачными намеками на то, что делалось во Франции в его время (не говоря уже о том, что было сказано

выше об обращении Сталь к истории английской революции по поводу французской). Такое же обращение мы находим и в рассмотренной нами книге де-Местра, написанной в эпоху директории, когда со своей стороны и роялисты мечтали о повторении во Франции того, что произошло в Англии в 1660 году.

Последняя глава в „*Considérations sur la France*“ Жозефа де-Местра, носящая название „Отрывка из истории французской революции Давида Юма“ и занимающая более двадцати страниц ¹⁾, представляет собой ряд выдержек из английской истории названного писателя XVIII века, так или иначе напоминающих события и бытовые явления французской революции, с точными указаниями на страницы этого знаменитого сочинения. От себя автор прибавляет только по два, по три слова в начале и в конце главы: в начале „*eadem mutata resurgo*“ (воскрешаю то же самое в измененном виде), в конце „*coetera desiderantur*“ (дальнейшее составляет предмет желаний), доведши свои выписки до кануна реставрации Стюартов. Цитаты, следующие одна за другой не в порядке страниц в книге Юма, а в порядке событий революции сороковых-пятидесятых годов XVII века, подобраны и расположены очень искусно, так что, читая их, как-будто возобновляем в своей памяти события революции французской: до такой степени бросаются в глаза черты сходства обеих революций, иногда представляющиеся тождественными, как-будто бы Давид Юм, действительно, наперед рассказывал французские события конца XVIII века. Слова „*eadem mutata*“ как нельзя более оправдываются последующим изложением, а заключительное „*coetera desiderantur*“ вполне понятно со стороны писателя, твердо надеявшегося на возвращение Бурбонов, как в свое время возвратились Стюарты.

Интерес к английской истории во Франции в эпоху реставрации даже породил серьезные занятия ею, результатами которых были, кроме упомянутой работы Армана Карреля, известные труды Огюстена Тьерра о завоевании Англии нормандцами с очерком возникновения парламента и Гизо о первой английской революции. Англия интересовала фран-

¹⁾ Стр. 167 — 19) по цитировавшему выше изданию 1833 г. в VII томе.

цузских историков, как страна политической свободы и представительного правления, историю которого вообще на Западе предпринял еще, но не кончил Гизо. Эти оба историка искали в прошлом Франции движений во имя свободы. Тот же Тьерри открыл его в освобождении городских общин в эпоху кредитовых походов, историей которого занимался вплотную, это же движение было лишь началом борьбы между феодальной аристократией и третьим сословием, прослеживавшейся во всей Франции и до самой решительной битвы, какую представлялась теперь французская революция. Все эти темы исторических работ эпохи реставрации — представительное правление вообще и английская конституция в частности, революция и контр-революция в Англии, освободительное движение в средневековых городах Франции и борьба третьего сословия с феодализмом — были тесно связаны между собой, будучи проявлением господствовавших в либеральных кругах французского общества политических интересов, стремлений и идей. С этими темами была естественно связана и тема французской революции, как переворота во имя политической свободы и представительного образа правления и решительной, вместе с тем, битвы между феодальной аристократией и третьим сословием. Мы только-что видели, что это третье сословие то было синонимом всей нации, противопоставляемой двум привилегированным сословиям дореволюционной Франции, то как-бы отождествлялось со средним классом, с буржуазией. Либеральные историки, сами к этому среднему классу принадлежавшие, отражали на себе его интересы, его идеологию.

Собственно говоря, тогда и начинается настоящая научная разработка прошлого Франции, в которой нашло свое место и изучение французской революции. И историки французского средневековья и новой Англии, и историки французской революции, писавшие в двадцатых годах, так или иначе примыкали к книге Сталь и вместе с тем полагали начало всем дальнейшим историческим трудам XIX века. На всей этой историографии времен реставрации уже сказывается более научное отношение к прошлому, чем то, какое характеризует исторические построения предыдущего столетия, когда историей пользовались так часто для доказательства каких-либо предвзятых политических тезисов, как это было,

например, в том, что писал аббат Мабли. К какому выводу ни клонили бы иногда историки свои изыскания, но прежде всего они теперь хотели быть верными фактической действительности, а не конструировать историю для подтверждения какой-либо чисто теоретической формулы. Более всего, конечно, это относится к тогдашнему изучению средних веков, менее к трудам о французской революции. Но, во всяком случае, историей последней могли теперь заниматься люди нового поколения, которые сами не переживали ее событий, не принадлежали к какой-либо из борющихся в эпоху революции политических партий.

Новое направление исторических занятий уже и предчувствовала, даже сознавала очень хорошо Сталь. Она сама в своем сочинении „О литературе в ее отношениях к общественным учреждениям“ наметила для всего XIX века историческое изучение литературных произведений, раньше рассматривавшихся исключительно с эстетической точки зрения. В книге „О Германии“ она даже написала следующие строки: „XVIII век провозглашал свои принципы слишком безусловно, а XIX столетие, может случиться, будет слишком покорно объяснять факты. XVIII век верил в абсолютную природу вещей, XIX век будет верить в одни обстоятельства. Один хотел предписывать будущему, другой ограничится изучением человечества“.

Вот та политическая и научная атмосфера, в которой возникли первые истории французской революции, написанные людьми нового поколения, не видевшего революции своими глазами, когда, вдобавок, стали появляться реакционные произведения, особенно вслед за убийством герцога Беррийского, сына наследника престола, совершенным рукою ремесленника Лувеля¹⁾.

¹⁾ В двадцатых годах контр-революционная литература, при реакции, последовавшей за убийством герцога Беррийского, была очень развита. В 1820 г. не назвавший себя „суассонский кюре“ (l'abbé Beauchamps) издал книгу „Crimes de la révolution française, obligation de les réparer par la pénitence“ с предложением установить позантные дни в известные даты революции. В том же году Taillandier выпустил „Lettres à mon fils sur les causes, la marche et les effets de la révolution française“, переизданные в 1830 г. под заглавием „L'Antirévolutionnaire.“ Говорят, что эти „письма“ имели успех. К 1822 году относится книга Montlosier „De la Monarchie Française“, отрицательный отзыв о которой дал Тьер.

Еще Сталь является в своих „*Considérations*“ публицисткой, рассуждающей о революции, а Тьер и Минье, в особенности же первый выступают в своих трудах прежде всего и больше всего повествователями о событиях, более или менее скупыми (особенно Тьер) на общие рассуждения. Они менее всего публицисты по исполнению, хотя бы предпринимали свои повествования не из одного чистого интереса к прошлому, но и для достижения некоторой общественной цели. Я бы даже сказал, что сравнительно с ними их преемники в историографии революции из эпохи июльской монархии были более субъективны, даже более тенденциозны, нежели они, у которых прямо замечается некоторое преклонение перед совершившимися фактами. В последнем отношении на их понимании прошлого не столько отразилась их эпоха, те или другие ее политические отношения или идейные течения, сколько сказалась индивидуальность их обоих.

Мы рассмотрим оба труда в некоторой связи, потому что между ними существует известная близость, объяснения которой нужно искать не в одном общем на них влиянии эпохи, а и в тех личных отношениях, которые их тесно связывали между собой.

У Тьера и Минье ¹⁾ было вообще много сходного. Они не только принадлежали к одному поколению, но были и ровесниками, родившимися в одно и то же время, Минье — в 1796 г., Тьер в 1797, так что одних и тех же лет от роду они вступили в общественную жизнь, и, в частности, выпустили свои книги в одном и том же возрасте, первый двадцати восьми лет, другой — в промежуток между двадцатью шестью и тридцатью. Оба они родились на юге Франции и были не только земляками, но и товарищами по школе, очень между собой сдружившимися за это время. Образование у обоих было юридическое; оба и сначала они думали об адвокатской карьере, но променяли ее

¹⁾ О Тьере вообще, кроме книг о его президентстве, Laya (1872), Eggenschwiler (1877; по нем.), Jules Simon (Thiers, Guizot, Rémusat. (1885), Mazade (1884), Rémusat (1889), Zévort (1892), Raymond Poincaré в серии „*Figures du passé*“ и др. W. de Fonvielle. Thiers, historien de la révolution française (брошюра, 1871). Статья Aulard'a под тем же заглавием, указавшая ниже. Одну из ранних оценок Тьера, как историка, представляет собой этюд о нем Сент-Бёва (Premiers Lundis, I; там же о Минье). О Минье E. Petit (1889), Jules Simon (Mignet, Michelet et Henri Martin, 1889), Prefort (нем., изд. в Будапеште, 1885) и др.

на другие занятия, сделавшись один журналистом, другой литератором и профессором. Оба они не остались на родине, а совсем еще юными переселились в Париж, где начали сотрудничать в либеральной политической прессе, завязавши связи в политическом и литературном мире. Например, Тьер был обязан вступлением своим в бюро газеты „Le Constitutionnel“ известному Манюэлю, члену палаты депутатов, который за резкость одной своей речи, возбудившей против него роялистов, был исключен из палаты, не захотел подчиниться этому решению и удалился только тогда, когда явились жандармы, чтобы вывести его силой. Это была одна из популярнейших фигур в либеральном лагере политических деятелей эпохи реставрации. Тьер и Минье, оба по рождению принадлежавшие к среднему классу, сами примкнули к этому лагерю. Разделяя одни и те же идеи, находясь вследствие тесной дружбы в постоянном общении между собой, поставив себе одну и ту же задачу дать объяснение происхождению революции и тому течению, которое она приняла, а также произвести оценку тем следствиям, какие она имела для политической жизни Франции и для ее общей культуры, они не могли не сойтись на очень многих наиболее существенных и важных суждениях. Сравнивая обе истории, видишь ясно, что они принадлежат одной и той же эпохе, одному и тому же направлению, даже как-бы хорошо спевшимся между собой авторам.

Жизненные дороги друзей потом разошлись в разные стороны. Тьер все более входил в практическую политику и сыграл одну из самых влиятельных ролей в революции 1830 г., отрывшую перед нами широкую дорогу на политическом поприще. В течение почти полувека после этого, до самой своей смерти в 1877 году, Тьер принадлежал политической истории Франции, сделавшись в конце своей жизни первым президентом теперешней республики. Это был большой практик, умевший хорошо ориентироваться среди сложных и запутанных обстоятельств, очень гибкий в своей тактике, человек прежде всего реальных фактов, а не отвлеченных принципов, дороживший и в жизни, и в своих исторических произведениях фактами во всей их непосредственности.

Минье лишь на первых порах принимал участие в политической борьбе, сделавшись вместе с Тьером и Арманом Каррелем основателем либеральной газеты „Le National“

незадолго до июльской революции, но после этого переворота отказался от какого бы то ни было участия в практической политике. Он удовлетворялся местом директора архива министерства иностранных дел. Еще до опубликования своей истории революции он издал историческую работу по средним векам, которыми занимались когда Тьерри и Гизо (*De la féodalité, des institutions de saint Louis et de la législation de ce prince*), но главный интерес его был обращен на новое время. С 1822 года он читал лекции в так называемом Атенее о французском протестантизме XVI века и о первой английской революции с реставрацией, которыми в ту эпоху занимались еще Гизо и Арман Каррель, а потом специализировался на истории времен реформации и XVII века. Он пережил на семь лет своего старого друга Тьера, всю жизнь поддерживая с ним прежние отношения, но склад ума у него был совсем иной. Он был больше, нежели Тьер, склонен и способен к историческим обобщениям. Отдельный факт для него не был сам по себе всем, и его больше интересовали общие линии исторического процесса. Это и сказалось на различии в приемах обоих друзей в повествовании о событиях революции: Тьер фактнее и детальнее, Минье больше обобщает, чаще прибегает к обнаружению основных линий процесса. Тьер написал очень большой труд, который не мог найти такого большого числа читателей, какой имела сравнительно небольшая книга Минье, представляющая своего рода исторический компендиум. Он даже прямо в самом начале книги говорит, что его задача „быстро“ (*rapidement*) обозреть историю революции.

При всем этом различии между обоими историками, зависящем от их индивидуальных особенностей, во многом другом они очень сходны. Оба они, так сказать, спешат перейти к событиям 1789 года, лишь бегло касаясь дореволюционной Франции и оба в Наполеоновской эпохе видят продолжение революции: Минье прямо включает ее в свое изложение, Тьер высказывает такой же взгляд на последней странице своего труда, чтобы потом позднее развить его в своей громадной „Истории консульства и империи“.

Для людей эпохи реставрации это был цельный исторический период между попыткой основать во Франции конституционную монархию и возвращением к этой политической

форме, как в основной цели революции, в 1814 году. С другой стороны, у обоих находят, в большей мере у Тьера, в меньшей у Минье, то, что стали называть историческим фатализмом. Ни тот, ни другой теоретически не формулировали своего общего воззрения на исторический процесс, но оба стремятся представить его, как ряд неизбежных событий, вытекающих одни из других, чуть не с логической необходимостью: все главное в истории революции происходило так, как было нужно не только в смысле естественной необходимости, но и для осуществления, при данных исторических условиях, того, ради чего революция началась.

Целью революции, с их точки зрения, как и у г-жи Сталь, было дать Франции свободу и материальное благосостояние, но первая цель, без достижения которой не могла осуществиться вторая, не могла быть достигнута сразу. Возможность ее осуществления заключалась в спасении революции от ее внутренних и внешних врагов, а для этого нужны были часто героические средства, находившиеся в противоречии с ее основным принципом. Раз все шло так, как не могло не идти и даже нужно было, чтобы так шло, то оставалось констатировать эту необходимость, откуда известный объективизм обоих историков, отличающий их от предшественников. Можно говорить об односторонности обоих трудов, тенденциозными их назвать нельзя. Их симпатии и антипатии отступают назад перед заботой, чтобы революция в своем ходе одерживала победу над своими врагами, и чтобы ее деятели не вредили своими действиями, хотя бы вытекавшими из наилучших побуждений, и хотя бы спасительные меры с моральной точки зрения не оправдывались. Ни Тьер, ни Минье не проповедуют, что цель оправдывает средства, но достигавшиеся в борьбе за революцию результаты делали в их глазах употреблявшиеся для этого средства целесообразными. Особенно в глазах Тьера успех был решающим моментом. Говорится, что „победителей не судят“ и что „горе побежденным“. Победители, это — те, которые осуществляли то, что должно было осуществиться, побежденные — те, которые этому мешали или вредили своею неумелостью. Самым крупным и на самое долгое время победителем сделался Наполеон, прославлению которого Тьер посвятил свой труд об эпохе консульства и империи, появившийся отдельными томами в течение целых семнадцати

лет (1845—1862), одновременно уже с новыми историями революции — Мишле и Луи Блана. Это была такая же реабилитация Наполеона, какою была и „История революции“ по отношению в предшествовавшей эпохе, — реабилитация, не мало способствовавшая успехам во Франции бонапартизма. Но и здесь Тьер остается тем же поклонником успеха и критиком ошибок, за которые история карает поражениями. У Тьера этот исторический оппортунизм, заставлявший его переносить свои симпатии поочередно на Мирабо, на жирондистов, на Дантона, на Робеспьера, на Наполеона, особенно бросается в глаза, — то, что отличает его от последующих историков, облюбовавших себе одного какого-либо „героя“. Мало того: в новые издания своего труда Тьер постоянно вносил некоторые изменения в зависимости от условий времени. Замечено было еще, что в его парламентских речах, в тридцатых годах, фразы о „порядке“ как то чаще начали раздаваться, вместо былых фраз о „свободе“, а в „Консульстве и Империи“ и совсем „порядок“ уже вытеснил „свободу“.

В последнем отношении Мишле был гораздо более верным и искренним другом свободы. Наполеон не является ему такой исторической необходимостью, какой он был у Тьера.

Таковы черты сходства и черты различия двух первых историй французской революции, выпедших в свет в эпоху реставрации. Г-жа Сталь, оказавшая влияние на обоих, писала в самом начале реставрации, Мишле и Тьер ближе к концу этой эпохи. В их трудах уже слышатся затаянные надежды, что „ретроградное движение“ эпохи, как выражается Мишле, должно же иметь свой конец (*son terme*), что если свобода, как говорит Тьер, не пришла еще, так придет (*elle n'est pas venue, mais viendra*), — заявления, которые мы находим у обоих в последних строках из книг.

Революция 1830 года через три года по выходе последнего тома труда Тьера была исполнением этого чаяния и переходом власти к либеральной буржуазии, в духе которой были написаны оба труда. Тьер немало содействовал возведению на престол Людовика-Филиппа, о котором (еще как о герцоге Шартрском) говорил с симпатией в своей „Истории французской революции“, но будучи в тридцатых годах членом правительства, он, хотя и называл себя „сыном рево-

люции“, родившимся „в ее недрах“ и от нее получающим свою силу, уже принимал репрессивные меры против демократических движений и проявлений республиканских симпатий. Тот самый Арман Каррель, автор „Истории контр-революции в Англии“, который в 1829 году с Минье и Тьером основал „Le National“, где восхвалял английскую революцию 1689 года, сделавшись в 1830 году единственным хозяином этой газеты, стал резко нападать на Тьера, за что подвергался со стороны последнего судебным преследованиям. В частности, Тьером, как известно, предпринимались и законодательные меры, стеснявшие свободу печати, на стороне которой он стоял в своем историческом труде.

Переходим теперь к рассмотрению историй Минье и Тьера, каждой в отдельности, начиная с книги Минье, которая появилась целиком раньше (1824), нежели Тьер окончил свой труд (1827).

М и н ъ е.

„Я хочу, так начинает Минье свою книгу, вкратце начертать историю французской революции, которая открывает в Европе эру новых обществ... Эта революция не только изменила политическую власть, она переменяла все внутреннее существование нации... Вместо прежнего несправедливого (abusif) порядка, она учредила более соответствующий справедливости и более приспособленный к нашим временам. Она заменила произвол законом, привилегии равенством... и все привела к одному состоянию, одному праву, одному народу. Чтобы произвести все эти великие реформы, революция должна была победить много препятствий, что привело к временным эксцессам рядом с ее прочными благодеяниями... внутреннее сопротивление—к верховенству толпы (multitude) нападение извне—к военному господству. Однако, цель была достигнута вопреки анархии и вопреки деспотизму: старый общественный строй был разрушен во время революции, новый установился при империи. Когда, продолжает Минье, реформа сделалась необходимой и наступило время ее совершить, ничто этому не препятствует, и все ей служит... Но до тех пор в истории народов те, которые должны были бы приносить жертвы, от этого отказываются, а те, которые в них нуж-

даются, их навязывают, и добро производится, как и зло, при помощи и с насилем узурпации¹⁾.

Обецаая изложить ход революции и объяснить ее кризисы, Минье вместе с тем хочет показать, „по чьей вине, начавшись при счастливых предзнаменованиях, она столь насильственно выродилась, каким образом она превратила Францию в республику и как на развалинах последней воздвигла империю. Эти различные фазы, говорит он, были почти обязательны (*obligées*): столько событий, их произведших, имело непреоборимую мощь. Было бы, впрочем, смело, оговаривается Минье, утверждать, что ход вещей не мог бы сделаться иным, но вполне верно то, что революция с причинами, ее вызвавшими, и со страстями, ей помогавшими или ею возбужденными, должна была иметь и этот ход, и этот конец“ (стр. 4).

Начиная свое изложение с открытия Генеральных Штатов, Минье предпослал ему самый короткий рассказ о „прелиминариях революции“, чтобы показать, что „было совершенно невозможно ни избежать ее, ни ею управлять“. По выражению Минье, „каждый день увеличивались пужды правительства и росло сопротивление. Оппозиция перешла от парламентов к дворянству, от дворянства к духовенству, а от них всех к народу. По мере того, как каждый из них участвовал во власти, он начинал свою оппозицию, пока все эти оппозиции не кончили тем, что смешались в национальной оппозиции или должны были замолчать перед нею. Генеральные Штаты только декретировали уже готовую революцию“ (стр. 30).

Революция была неизбежна, неотвратима, ее течение и исход должны были быть такими, а не иными, ее стадии имели привудительную обязательность, все в ней было непреоборимо и не поддавалось какому бы то ни было управлению. У нее была цель и были препятствия на пути ее достижения, и ей нельзя было миновать ни господства анархической массы, ни деспотизма одного. Минье и включает Наполеоновскую эпоху в свою книгу, посвящая ей, впрочем, две небольшие главы. Для него в 1814 году замкнулся период великих

¹⁾ Цитирую по брюссельскому изданию 1840 г. (для I т.) и 1833 (для второго); т. I, стр. 1—3.

движений, продолжавшихся 25 лет. Произошла реакция в Европе против империи, но во Франции был введен представительный режим, и только позднее возникла здесь реакция против революции. „Это ретроградное движение, говорит он на последней странице книги, должно пройти и кончиться. Нельзя впредь управлять Францией сколько-нибудь продолжительно иначе, как удовлетворяя двоякую потребность, которая заставила ее предпринять революцию. Ей нужны в деле управления действительная политическая свобода, а в общественной жизни материальное благосостояние, которое производится непрерывно совершенствующимся развитием цивилизации“. Эта формулировка значения революции в развитии цивилизации, в даровании Франции политической свободы и материального благосостояния очень напоминает формулировку г-жи Сталь.

История французской революции Минье, является непрерывным изложением событий без больших подробностей, без сколько-нибудь обстоятельных рассуждений, с очень редкими и беглыми подведениями итогов, обобщающими события отдельных периодов. Напр., рассказав о почном заседании 4-го августа, он заканчивает главу (II) десятками двумя строк, заключающими в себе общую характеристику первых трех месяцев революции. Свой общий взгляд на Учредительное Собрание в последней главе о нем (IV) он высказывает тоже в нескольких строчках. Вот они: „дело Учредительного Собрания погибло гораздо менее от своих недостатков, чем от ударов со стороны факций... Находясь между аристократией и массой (multitude), она подвергалась нападению первой и пашествию (fut envahie) второй. Последняя не достигла бы верховенства, если бы гражданская война и иностранная коалиция не потребовали ее вмешательства и ее помощи. Чтобы защищать отечество, ей нужно было им управлять, тогда она сделала свою революцию, как средний класс — свою. Она имела свое 14 июля, которым было 10 августа, свое Учредительное Собрание, которым был Конвент, свое правительство, которым был комитет общественного спасения; но, как мы увидим, прибавляет Минье, без эмиграции не было бы республики“ (1, 177). Вот и все. Итоги главы (V) о Законодательном Собрании резюмированы также очень коротко: то-то повлекло за собой то-то;

если бы не было того-то, то и того-то, равным образом, не было бы, — и все это в двух десятках строк.

Нужно отдать справедливость таланту Минье в немногих словах очень отчетливо формулировать свои основные взгляды. Вот, напр., общий взгляд на эпоху Конвента, когда „насиленность положения превратила революцию в войну, собрание — в поле битвы. Каждая партия хотела установить свое владычество победой и укрепить его, основывая свою систему. Жирондистская партия попробовала это и погибла; монтаньярская партия попробовала это и погибла; партия Робеспьера тоже попробовала и погибла. Могли только побеждать, не могли основывать. Особенностью такой бури было опрокидывать каждого, кто пытался сесть. Все было временно: и господство, и люди, и партии, и системы, потому что была лишь одна реальная и действительная вещь — война. Потребовался целый год конвентской партии, с тех пор как она взяла власть, чтобы привести революцию к ее легальному положению, и Конвент сумел это сделать только двумя победами — прериальской и вандемьерской. Но тогда он, вернувшись к своему исходному пункту, исполнил свою настоящую миссию, заключающуюся в установлении республики, после того, как он ее защитил... Как революционная власть, он исчез в тот же момент, когда возобновился легальный порядок. Три года диктатуры были потеряны для свободы, но не для революции“ (II, 152).

Гораздо реже Минье делает такие обзоры в начале глав, как это мы находим в первой главе (XII) о директории. Но иногда в таких формулировках высказываются вещи, которых прежде в них не было. Если во вступлении к только что указанной главе общая цель революции понимается в более свободном государственном устройстве и в более совершенной „цивилизации,“ что уже не ново, то в первый раз в общей формулировке является здесь та мысль, что первые шесть лет революции были „исканием формы правления со стороны каждого из классов, которые составляли французскую нацию“. Привилегированные, говорит историк, хотели установить свой режим против двора и против буржуазии сохранением сословий и генеральных штатов; буржуазия хотела установить свой режим против привилегированных и против массы (multitude) конституцией 1791 года, а масса хотела установить свой

против всех (*contre tout le monde; sic!*) конституцией 1793 года". Их неудачи Минье объясняет тем, что все они были исключительны. „Но, продолжает он, во время своих опытов каждый класс, временно господствуя, разрушал в классах высших все, что было нетерпимым и что должно было оказывать оппозицию ходу новой цивилизации". В эпоху установления директории, по формулировке Минье, борьба классов чрезвычайно ослабела: „верхи каждого из них еще составляли партию, сражавшуюся за обладание властью и за правительственную форму, но масса народа... стремилась усесться и расположиться по новому порядку вещей. В эту эпоху, как выражается Минье, кончилось движение к цивилизации" (II, 154).

Мы видели, что, по Минье, у революции была двоякая цель в свободе и в цивилизации, в которой историк видел и материальное благосостояние, и просвещение. В приведенном месте он как бы делит революцию на два периода, в каждом из которых была своя цель. В 1795 году, говорит он, „революция приняла свой второй характер порядка, созидания и спокойствия... Этот второй период был замечателен тем, что как-бы отказался от свободы. Партии, не будучи в состоянии обладать ею исключительно и прочно, разочаровались (*se découragèrent*) и бросились из публичной жизни в частную". Этот период Минье подразделяет на две эпохи: либеральную при директории и в начале консульства и военную в конце последнего и при империи. „Революция с каждым днем все больше материализовалась: создав народ сектантов, она дала народ работников, а потом народ солдат".

Это место, в начале XII главы,—самое длинное с общим рассуждением о революции. „Уже много иллюзий было потеряно, читаем мы здесь еще, люди проходили через столько разных состояний и жили так быстро в эти немногие годы, что все идеи спутались и все верования были поколеблены. Царство среднего класса и массы (*multitude*) промелькнули, как быстрая фантазмагория. Было далеко от этой Франции 14 июля с ее глубокой убежденностью, великой моральностью, со своим Собранием, проявившим все могущество разума и свободы. Было далеко от более пасмурной и грозовой Франции 10 августа, когда один класс господствовал в правительстве и обществе и вносил в них свой язык, свои манеры, свой

еостом, волнения своих страхов, фантазии своих идей, недоверие и режим своего положения. Тогда публичная жизнь совсем вытеснила частную... В каждую из этих эпох были тесно привязаны к какой-либо идее: в начале к свободе и к конституционной монархии, потом к равенству, к братству, к республике. Но в начале директории более ни во что не верили, и во время великого крушения партий все было утрачено: и добродетель буржуазии, и добродетель народа". Отсюда страх в эту эпоху перед „политическим существованием“, отсюда погоня за удовольствиями частной жизни. Минье ссылается на балы, на пиры, на кутежи, на роскошь, „на реакцию привычек старого режима“, хотя и видит здесь „первый симптом обращения (reprise) к новой цивилизации“ (II, 155—156). Но это для него была переходная эпоха. „Роскошь должна была породить сближение партий, которые могли терпеть друг друга только в частной жизни; наконец, цивилизация должна была вновь начать свободу“ (II, 157).

Нам нужно было остановиться на этом месте, потому что здесь Минье особенно подробно изложил свой общий взгляд на ход революции, на ее классовые отношения, на ее периоды, на идеи, доминировавшие в эти периоды. В некоторое недоумение приводит читателя только употребление у Минье понятия „цивилизация“, встречающегося и в других местах с совсем вразумительным смыслом. Например, в одном месте он характеризует демократию, как секту, которая хотела установить абсолютное равенство, вопреки состоянию общества, и демократическую свободу *malgré la civilisation* (II, 158).

Одною из особенностей Минье является его любовь к сопоставлению наиболее решительных моментов революции между собой. Так 13 вандемьера было для него „десятым августа роялистов против республики“ (II, 149), или 18 брюмера было „тридцать первым мая армии против представительства“ (II, 227), причем в 18 брюмера он видит как бы повторение 13 вандемьера и 18 фрюктидора, хотя последствия первого были иные, чем второго и третьего. 18 брюмера стало „могилой свободы“. Наполеон в революции понял только „ее материальную и своекорыстную сторону, не веря ни в нравственные потребности, которые ее создали, ни в принципы, которые ее волновали“ (II, 266). Минье

думал, что 9 термидора открыло во Франции эру воссоздания (recomposition), но Наполеон положил этому конец (II, 268) во всей национальной жизни, допустив существование только двух видов деятельности: труда и войны (II, 269).

В своей книге Минье дал цельное построение французской революции, не очень глубокое, но яркое, довольно точное и беспристрастное, в общем спокойное и без всякого морализирования и поучительства. Его труд может не без пользы и не без удовольствия читаться и теперь. Слабые его стороны в том, что мы не находим здесь истории идей революции, ее законодательства и учреждений, но это была сторона, которая вообще меньше занимала историков, чем события, борьба партий, поведение их вождей. Как повествователь, Минье сравнительно мало обращал внимания на то, что делалось вне представительных собраний, даже в Париже, не говоря уже о провинции, мало его интересовавшей, а повествуя о собраниях, он следит гораздо больше за борьбой в них партий, чем за их работой. Еще о законодательстве Учредительного Собрания в книге кое-что есть, но история Конвента рассказывается так, как будто он совсем не занимался законодательной работой. Во всяком случае, эта сторона революции остается в тени, и внешняя политика и война гораздо более интересуют нашего историка, нежели произведенные революцией преобразования, о которых говорится слишком суммарно.

Мы видели, что Минье в своем взгляде на революцию проводит точку зрения классовой борьбы. Отдельных мест можно указать больше, чем приведено выше. Он не столько оперирует понятиями буржуазии и народа, сколько двумя другими — среднего класса и того, что он называет „multitude“, т.-е. множество, толпа, масса. Все это довольно-таки неопределенно: у Минье нет ни систематического анализа населения Франции вообще, кроме старых сословий, ни указаний на то, где проходит граница между „la classe moyenne“ и „la multitude“, ни перечисления элементов, входящих в последнюю. Между этими двумя категориями историк распределяет периоды революции, ее политические партии, ее конституции, самые ее девизы, в одном случае „свободу“, в другом „равенство“ (и „братство“ в одном месте, почему-то печатая это слово курсивом).

„Конституция 1791 года, говорит Минье, была делом среднего класса“, соответствуя тогдашним идеям и положению Франции. „Народ еще не был достаточно развит (avancé), чтобы участвовать во власти..., но он получал гражданское воспитание“, да и сама конституция расширяла доступ к власти „вместе с цивилизацией, каждый день призывавшей все большее число людей к управлению государством“. В этом смысле конституция „устанавливала истинное равенство, настоящий смысл которого в допущении“ к участию в политической жизни. Но все-таки, замечает Минье, эта конституция была менее демократичной, чем конституция Соединенных Штатов, но ведь и условия там были иные (I, 174, 176). Во всяком случае, Минье расхваливает конституцию 1791 года, находя только, что королевская власть была в ней слишком подчинена народному могуществу, и прибавляя, что в гибели этой конституции вина была гораздо менее в ее недостатках, чем во внешних условиях. Иначе относится Минье к конституции 1793 года, обязанной своим происхождением обстоятельствам текущего момента, бывшей делом нескольких дней, устанавливавшей „чистый режим массы“. Вручая непосредственную власть последней (*comme elle faisait gouverner la multitude*), „дезорганизуя окончательно власть“, эта конституция была неприменима „ни в какие времена“, а в данный момент „монтаньярская партия, вместо самой крайней демократии, нуждалась в самой тесной диктатуре“ (II, 9 — 11). Все сочувствие Минье на стороне конституции III года, бывшей делом, говорит он, „партии умеренных республиканцев“ и „возвращавшей перевес (*l'ascendant*) среднему классу“. Она, по оценке нашего историка, была наилучшей, наиболее мудрой, самой либеральной и предусмотрительной, какая только устанавливалась или проектировалась. В это время „нужно было организовать власть и успокоить парод, в отличие от первого собрания, которое в своем положении чувствовало нужду в ослаблении королевской власти и в приведении нации в движение“.

Новая конституция мало отличалась от самой первой в отправлении верховной власти, но очень различествовала во всем, что касается правительства. Минье хвалит в ней и двухстепенный порядок выборов, обеспечивавший более сознательные выборы, и имущественный ценз, который он назы-

вает „мудрым и ограниченным“, ибо это „возвратило политическое значение среднему классу, к которому настоятельно нужно было вернуться“ после всего, что случилось. „Мудрость“ этой конституции Минье усматривает и в разделении законодательного корпуса на два совета, и „вето“ совета старейшин, и частичные обновления обоих советов, и организацию исполнительной власти. „Предусмотрительность конституции, говорит еще Минье, была безграничной: она предупреждала народные насилия и покушения со стороны власти“. Несомненно, читаем мы далее, „если какая-либо конституция могла упрочиться в то время, так то была директориальная конституция. Она воссоздала власть, дозволяла свободу и давала разным партиям возможность мира“. Если конституция не удержалась, виноваты в этом партии: „когда партии не хотят кончить революцию, — а те, которые не господствуют никогда этого не хотят, — никакая конституция, как бы хороша она ни была, сделать этого не может“ (II, 135 — 139).

Чтобы покончить с вопросом об отношении Минье к конституциям, укажу, что ему был известен проект Сьейеса, о содержании которого ему рассказал один бывший член Конвента, — характерный пример того, как Минье кое-что узнавал от современников революции (II, 223).

Историк его сообщает, как „curiosité législative“, хотя, конечно, это заслуживает внимания и с более серьезной точки зрения. Он находит этот проект очень хорошо построенным (réglé), чтобы быть применимым на практике (praticable), так как Сьейес делал из „людей слишком разумные существа и послушные машины“ (II, 235), но если какая конституция и подходила к положению Франции в это время, то это был проект Сьейеса, прибавляет Минье. „Это была конституция умеренных, способная положить конец революции и успокоить народ. Но именно в силу одного того, что это была конституция умеренных, и одного того, что партии не имели уже больше рвения, чтобы требовать себе господства“, воспользовались ею не умеренные и не поочередно побежденные партии, а воспользовался один, искаживший проект Сьейеса в консульской конституции VIII года (II, 236 — 237). Впрочем, Минье оговаривается, что вообще он не верит в действительное значение конституций в такие времена, а верит в „силу партий, их господство и, время от времени, в их приспособле-

ние". Для него, мы видим, были приемлемыми, благовременными все три более умеренные конституции. До известной степени представляя историю революции логической цепью неизбежных выводов из предыдущих фактов, как своего рода данных посылок, как будто бы революция выполняла некоторый предустановленный план, за что Минье упрекали даже в фатализме, он в своих приговорах иногда является оппортунистом, оценивая то или другое не с принципиальной точки зрения, а с точки зрения своевременности и подходящести. Как историк, знающий, что из чего получилось, он хорошо мог задним числом предвидеть и предсказывать *poste factum*, как Минье это и делает в конце главы V, где говорит, что раз есть на лицо такие и такие то данные, то вот, что „можно было бы на основании их вывести“ (*conclure*) и даже, употребляя все глаголы в будущем времени, пишет целую страницу о том, что вышло на самом деле (I, 259).

Но возвратимся к партиям, играющим такую роль в построении хода событий у Минье. История революции, это — история партий, насильственно сменявшихся во власти. Бурный характер революции он приписывает роялистам, полагая, что „не будь эмиграции, не было бы и республики“ (I, 177). Без эмиграции, приведшей к беспорядкам, говорит он, король, вероятно, примирился бы с конституцией, и революционеры не могли бы помышлять о республике (I, 260). Можно было бы привести целый ряд мест, где Минье возлагает на роялистов и на эмигрантов ответственность за то, что во Франции произошло междоусобие и что на Францию напали иностранцы. По его мнению, нападающею стороною в войне была коалиция. Кстати вместе с роялистами ответственность за бурный ход революции возлагается им и на королевскую власть. Вообще Минье думает, что иная, чем была на деле, политика Людовика XVI могла бы привести Францию к новым формам бытия без потрясений.

В кратком и очень содержательном очерке „прелиминарий“ революции он высказывает мысль, что у Тюрго, этого великого министра, были самые широкие планы, исполнение которых было бы революцией по королевскому приказу (I, 15 — 16). В начале Генеральных Штатов король мог бы „обезопасить себя от революции, производя ее сам“, предупредить „пагубные распри, вспыхнувшие позже“ (I, 37). Монархия пала

под тяжестью, собственных ошибок. По поводу казни Людовика XVI Минье писал: „предки оставили ему в наследство революцию. Более, чем кто-либо из них, он был способен (était propre) ее предупредить или завершить ее, потому что он мог быть королем-реформатором, пока революция еще не разразилась, или быть потом конституционным королем“ (I, 298). Его гибель была в том, что он соединил свою судьбу с роялистами. За деятельностью этой партии Минье следит до самой эпохи директории.

Ряд общих замечаний есть у Минье о партиях вообще и о конституционалистах, жирондистах и монтаньярах в частности. Он „советует никогда не забывать, что в революциях двигателями людей являются две склонности: преданность (amour) своим идеям и жажда (goût) господства“ (II, 55). В другом месте он говорит, что в революциях фанатизм и дух системы играли всегда более видную роль, чем думают (I, 269). Вообще французская революция была для Минье „следствием разных систем, которые волновали век, давший ей начало“ (II, 28). О фанатизме партий он упоминает не раз, приравнивая некоторые из них, например, к миллениарям времен английской революции с их религиозными идеями: только бога заменял „народ“, политическое равенство заступало равенство эвангельское, царство добродетели занимало место царства святых (II, 52). Жажда власти, страсть к господству также, то и дело, упоминаются при изображении борьбы партий. Во времена общественных потрясений „торжество остается на стороне тех, которые всего смелее, и, вместо мудрых и умеренных реформаторов, выступают реформаторы крайние и непреклонные. Дети борьбы, они хотят держаться ею: одною рукою они борются для того, чтобы отстоять свое господство, другою они основывают систему для того, чтобы ее упрочить; они убивают ради самосохранения, они убивают во имя системы; добродетель, человечность, народное благо, все, что есть наиболее святого на земле, делается для них предлогом для оправдания их казней, для защиты их диктатуры... Как только одна партия выступила на поле битвы, за нею последовали и все остальные, и все подобно первой были побеждены и уничтожены: и конституционалисты, и жирондисты, и монтаньяры, и, наконец, сами децемвиры. При каждом поражении кровопролитие становилось все сильнее,

система тирании все более необузданной. Децемвиры (комитет общественного спасения) были наиболее безжалостными, потому что они были последними“ (II, 50 — 51).

Минье был на стороне более умеренных, но он видел, сам понимал и объяснял читателям историческую необходимость перехода власти к более крайним партиям. Он показывает, как сами сторонники революции стали ссориться между собой. В эпоху Законодательного Собрания, „первые зачинатели (auteurs) революции не могли одобрить меры, противные закону, а продолжатели, наоборот, видели в них спасение отечества, и вражда (désaccord) не могла не вспыхнуть между теми, которые предпочли „государство конституции“ (I, 258). Такая формулировка, конечно, не особенно ясна, но понятно, что хотел сказать Минье. Яснее другое место: „распри конституционалистов и жирондистов, из которых первые хотели быть законодателями, как в мирное время, а другие — врагами, как в военное, разделили приверженцев революции“. Жирондистам с их точки зрения оставалось или отказаться от революции, или низвергнуть трон (qu'il fallait renoncer à la révolution ou au trône), они выбрали второе.

Начало республиканской партии Минье отводит ко времени попытки Людовика XVI бежать (le parti républicain, commençait alors à paraître I, 165). Скоро главари этой партии начали подстрекать толпу (la multitude, I, 166), но бойня на Марсовом поле 17 июля 1791 года нанесла этой партии сильнейшее поражение (II, 168), так как она не была еще достаточно сильна и не имела достаточной поддержки. „Десятое августа было восстанием толпы против среднего класса и конституционного трона... и началом эпохи революции — диктаторской и основанной на произволе“, когда в виду войны потребовалась, прежде всего, энергия, которая, будучи народной, а потому беспорядочной (dérégulée parcequ'elle était populaire), сделала господство низших классов тревожным, притеснительным и жестоким: „целью была уже не свобода, а общественное спасение“ (II, 341). Говоря это, Минье приводит слова Жозефа де-Местра о том, что только якобинизм спас Францию¹⁾.

В Конвенте боролись две республиканские партии: жирондисты и монтаньяры, о различиях и отношениях между кото-

¹⁾ См. выше, стр. 32 и 35.

рыми историками говорили разно. У Минье жирондисты являются переходной партией (*un parti de passage*) от среднего класса к народной массе (*multitude*) (I, 184); эта партия готова была защищать революцию всеми средствами, а не опираясь только на закон, как конституционалисты, но сначала не имела никакого субверсивного проекта. „Жирондисты, говорит Минье, вынуждены были обстоятельствами сделаться республиканцами. Что более всего к ним подходило бы, это—оставаться конституционалистами „при их прямоте, при их отвращении к толпе и к насильственному образу действий“, но „не в их воле было оставаться теми, какими они были прежде. Они шли по наклонной плоскости, ведущей их к республике и мало по малу привыкли к этой форме правления“. Хотя теперь они желали ее искренно, но не видели вокруг себя для этого людей, а низший класс, который выдвигался силою обстоятельств, был не по ним. „Они утратили поддержку конституционалистов, но не приобрели и поддержки демократов“ и, таким образом, „составили какую-то полупартию, которая скоро была низвергнута, потому что не имела корней“. Наоборот, монтаньяры „желали республики с народом... Они были менее образованы, менее красноречивы, но ловче, решительнее, неразборчивее в средствах... и то, что они называли народом, т. е. низший класс, был предметом их постоянной лести и их самых горячих забот“ (I, 263—264). Глубже в вопрос о причинах вражды обеих партий Минье не входит, хотя и говорит, что было много мотивов для их соперничества из-за власти и в их планах. Он не разделяет обвинения жирондистов монтаньярами во вражде к народу и в измене республике, но находит их поведение непоследовательным, даже двусмысленным и думает, что не эти умеренные республиканцы могли восторжествовать, а восторжествовав, спасти республику. „Как бы, спрашивает он, могли они сделать справедливыми законами то, что сделали монтаньяры насильственными мерами? Как могли бы они победить внешних врагов без фанатизма, обуздать партию, не наводя страха, прокормить народную массу без максимума, содержать армию без реквизиций?“ Если бы, думает он, жирондисты удержались, революция замедлилась бы, Европа победила бы, Франция была бы раздроблена (II, 2), т. е. выходит так, что победа монтаньяров послужила ко

благу революции, и Франции нужно было, чтобы так случилось.

Мысль о том, что якобинский террор спас Францию, была высказана еще де-Местром, а у сторонников революции она сделалась своего рода догматом, какими бы отрицательными чертами они ни характеризовали террор. Минье говорит о политике комитета общественного спасения, как о сплошном ужасе (II, 20 и сл.). Эпоха террора хорошо очерчена в книге Минье, хорошо — и борьба Коммуны с комитетом общественного спасения, как и все последующее очерчено последовательно и ясно.

Борьба между партиями была борьбою и между лицами. У Минье эта сторона изложения событий революции, изображение характеров и поведения деятелей тоже была очень развита. К сожалению, недостаток места не позволяет остановиться на этой теме подробнее. Общие характеристики лиц у Минье кратки и во всей своей краткости яркие, будучи вместе с тем достаточно объективными, чему способствует присущая Минье сдержанность выражений. Не останавливаемся и на том, что говорится у Минье о внешней политике Франции в это время.

Тьер.

В историческом журнале „La Révolution Française“ за 1914 г. его редактор Олар в статье „Тьер, как историк французской революции“, рассказал довольно подробно историю возникновения этого труда, пользуясь разным для этого материалом. Готовясь к деятельности журналиста, молодой Тьер мало-по-малу, сам того не замечая, накопил весьма значительный материал, из которого потом и вырос его труд. Еще в 1822 году в рецензии о книге феодала Монлозье „De la Monarchie Française“, он написал несколько строк в похвалу революции за „ежегодное представительство, свободу печати и индивидуальную свободу, вотирование налогов, равенство перед законом, допущение всех к должностям“. Против тех утверждений, которые были в книге Монлозье и в других ей подобных, он сначала предполагал написать очень короткое изложение и даже в сотрудничестве с другим лицом, неким Феликсом Боденом (имя которого и стояло на обложке

двух томов, а всех в первом издании было десять), да и сама книга должна была составлять часть целой серии, в которой предполагалось и участие Бодена. В проспекте, выпущенном издателями, указывалось, что все предыдущие истории революции были написаны современниками, и что их сочинения скорее являются „мемуарами, лишенными настоящего исторического характера“. Если данный момент, говорилось далее, труден и, может быть, даже небезопасен для писателей (намек на возможные неприятности), то необычайно благоприятен для исследования истины. Достаточно удаленный от событий, чтобы их уже можно было хорошо судить, он все-таки и не так далек, чтобы все очевидцы уже исчезли“.

В первых двух томах, вышедших в 1823 году, история революции была доведена до падения монархии 10 августа 1792 года, но с третьего тома после того, как первые два имели некоторый успех, Тьер изменил свой план. В предисловии, о котором еще речь впереди, он сказал, что его поколение призвано защищать одно и то же дело (*soutenir la même cause*) с деятелями революции, а это заявление для того времени было смелостью, обратившею на книгу внимание публики, которая не пропустила мимо ушей и бывшие в книге тонкие намеки на современность. Проявляя презрение к толпе, „всегда идущей за агитаторами“, но жалея народ, „в поте лица питающий и своею кровью защищающий высшие классы“, Тьер говорил вообще в тоне либералов двадцатых годов, не желавших прослыть за демагогов. Особая симпатия, какую в то время пользовался во Франции Лафайет, отразилась и на отношении к нему Тьера. Молодой историк вообще хотел показать, что люди 1789 года, отцы либералов двадцатых годов, были в одно и то же время врагами как деспотизма, так и демагогии, и что буржуазия могла управлять без помощи „черни“. Правилось в труде Тьера и то, что он проявил в отношении к революции вдумчивость и желание быть справедливым, придававшее его изложению уравновешенность здравого смысла и благожелательности. По мере выхода в свет следующих томов, их успех все более и более возрастал, придав книге значение боевой машины против абсолютизма Карла X. Либеральная пресса отнеслась еще к первым же томам весьма сочувственно.

Олар думает, что, вероятно, автор одной статьи в роялистической „Gazette de France“ за 1823 год имел в виду именно успех обоих уже первых томов, когда писал такую фразу: „Как?! Революция еще не умерла? За недостатком ее худосочия (sасоссhуmіе) бешенство ее еще не задушило. Она настаивает, выпрямляется, говорит, даже угрожает. Значит, она еще очень живуча“.

„История французской революции“ Тьера гораздо больше книги Минье. В том издании, на которое выше делались ссылки, последняя состояла из двух томов небольшого формата, заключающих в общей сложности около 650 страничек, и если исключить эпоху консульства и империи, предмет, как мы знаем, особого большого труда Тьера, то лишь около 540. „История Революции“ Тьера в издании, использованном при написании дальнейшего¹⁾, состоит из двух томов большого формата и в два столбца, причем в обоих до 1175 страниц. Я не поленился подсчитать, сколько приблизительно букв в обеих книгах, и нашел, что если у Минье эта цифра лишь немногим превышает миллион, то у Тьера она достигает до четырех с половиной миллионов, т. е. таких томов, как у Минье, вышло бы у Тьера девять. У первого, как мы видели, детали остаются неразработанными, тогда как второй входит как-раз в разные подробности, знание и понимание которых за время, протекшее от появления обоих трудов до нашего времени, сильно подвинулось вперед. У Тьера нет, как было уже указано, равномерности в распределении частей. Вся эпоха Учредительного Собрания с краткой историей царствования Людовика XVI до созыва Генеральных Штатов укладывается на 85 страницах, а на время Законодательного Собрания, продолжавшегося 12 месяцев, когда Учредительное заседало 29, отведено уже более ста страниц, история же Конвента, длившегося меньше, чем оба первые собрания, занимает около 620 страниц и т. п.

В кратком предисловии к своей „Истории Революции“ Тьер признается, что взялся за трудное дело, ибо „страсти, считавшиеся потухшими под влиянием военного деспотизма, снова пробудились. Внезапно, продолжает он, люди, многопожившие и поработавшие, ощутили возрождение в себе

¹⁾ Брюссель, 1846 (I т.) и 1850 (II т.).

чувств, которые казались навсегда успокоившимися, и общили их нам, своим сыновьям и наследникам. Но, сказано дальше, если нам предстоит поддерживать то же самое дело, мы не обязаны защищать их поведение, и мы можем разделять свободу тех, которые ей хорошо или дурно служили, обладая преимуществом, в том смысле, что мы видели и слышали этих старцев, которые, еще полные своих воспоминаний, волнуясь еще своими впечатлениями, открывают нам дух и характер партий и научают нас их понимать". Так отмежевывает себя Тьер от современников революции, сохранивших старые страсти, но у тех же современников он хочет научиться истории революции. „Быть может, говорит он, время, когда актеры стоят на краю могилы—самое подходящее для писания истории: можно собрать их свидетельства, не разделяя их страстей". Во всяком случае, Тьер старался, по его словам, „утишить в себе чувство ненависти". Он поочередно при этом воображал себя то родившимся в хижине и справедливо желавшим получить вещи, в каких ему отказывали высшие классы, то воспитавшимся во дворце и чувствовавшим недовольство от утраты своего законного достоинства. „После этого, замечает он, я не мог раздражаться; мне было жаль бойцов, и я вознаградил себя преклонением перед их великодушными характерами". На последней странице своего труда он еще раз говорит, что описал первый кризис, приготовивший для Европы элементы свободы, „без ненависти, сожалел об ошибках, уважая добродетель, удивляясь величию, стараясь угадать в этих великих событиях глубокие виды Провидения, и преклоняясь перед ними, как скоро ему казалось, что он их угадал"¹⁾.

Ненависти, действительно, нет в труде Тьера, но, как справедливо замечали, у него в истории не столько проявляется провиденциализм, сколько фатализм, преклонение перед совершившимся фактом, а вместо добродетели занимает успех, ошибки же заключаются в неудачах.

То, что наблюдается у Мишле в отношении к фаталистическому пониманию хода событий, у Тьера, действительно, достигает высшей ступени развития. В истории, по его пред-

¹⁾ Сравнительно с предисловием первого издания, приведенным в статье Олара, в цитированном здесь, есть только стилистические изменения.

ставлению, все происходит с прямолинейною логичностью, все как должно, не в смысле неизбежности, а в смысле выражения: „так и следует“, а это получает характер оправдания каждого совершившегося факта, поклонения каждому успеху, восхищения перед всякой силой и признания каждой неудачи, как заслуженной кары. Такой исторический оппортунизм доведен Тьером до крайних пределов, но он же является основой его объективизма. Тьер действительно писал без ненависти, *sine ira*, и равным образом и без пристрастия, *sine studio*, поскольку у него нет предвзятых моральных и политических идей, с точки зрения которых им оценивались бы люди и партии, их стремления и события: все дело в том, имело ли то или другое успех, или его постигала неудача. Если одерживалась победа, значит, так надо было: победителей не судят, тому же, что испытало поражение, туда и дорога. Попеременно Тьер делается конституционалистом, жирондистом, якобинцем, термидорианцем, в конце концов бонапартистом. На последней странице своего труда он объявил, что революция, которая „должна была дать свободу, сама не должна была быть свободой“; после победы над старым порядком во Франции нужно было, чтобы она победила его в Европе, что для этого нужны были и военные успехи, и внутреннее упорядочение Франции, что поэтому 18 и 19 брюмера были необходимы, что Наполеон завершал „тайнственную задачу, которую, сам того не зная, имел от судьбы и которую исполнял помимо своего желания“, что, наконец, он „приходил продолжать революцию, садясь, он, плебей, на трон, призывая в Париж первосвященника, чтобы помазать священным елеем его плебейское чело,... принимая в свое ложе дочь кесарей и соединяя свою плебейскую кровь с одною из древнейших кровей Европы“ и т. п. Написанная Тьером много лет спустя „История Консульства и Империи“ была панегириком Наполеону. А между тем в политике Тьер был орлеанистом, что, впрочем, не оказалось на его исторических взглядах. Он был еще и либералом, задачей которого было оправдать революцию, но для него она оправдывала себя уже одним тем, что имела времена успеха, и что оставила нечто хорошее, чем пользуется Франция. Тьер был и патриотом: разве, спрашивается, террор не спас Францию от внешних врагов, и не лежит ли в этом причина

его, террора, необходимости, своевременности и победы? Таким образом, Тьер показывал самую нужность революции, как показывал потом нужность Наполеона в качестве исполнителя „таинственной задачи, врученной ему судьбой“, по мнению Тьера, как он сам о себе думает, „старавшегося проникнуть в глубокие виды Провидения“.

Мы уже знаем, что Минье не занимался исследованием причин революции в материальной, духовной и общественной культуре Франции, в ее политическом строе, социальной жизни, экономическом быту, заменив все это рассказом о „прелиминариях революции“, т. е. воссоздав перед читателем причинную связь прагматических фактов, продолжением которых и была революция. Тьер поступает совершенно так же и дает очень краткий очерк царствования Людовика XVI до того момента, когда были созваны Генеральные Штаты. И Тьер, и Минье одинаково отступили от точки зрения двух ранних историков, Монжуа и Ламета, показавших важность двух лет перед открытием Генеральных Штатов¹⁾, и были еще очень далеки от мысли познакомиться с настроением и желаниями нации по наказам 1789 года. Минье едва упоминает о их существовании (I, 28 и 37). (Кстати, как мало было у нас понятно значение термина „cahiers“ еще в шестидесятых годах, видно из того, что в русском переводе он был истолкован в смысле „избирательных списков“). Тьер также со своей стороны лишь мимоходом упоминает, что третье сословие во время выборов „было сильно, между прочим, энергичным выражением своих наказов“. Если в нескольких строках оба историка и изображают положение дел во Франции перед революцией, то слишком общо и лишь для подтверждения тезиса, что положение это было невыносимо. Да и иначе как бы было сделать в книгах, доказывавших, что революция была неизбежна, и нужна? Старый порядок в эпоху реставрации был известен во Франции только в самых общих чертах, которыми и удовлетворялись оба историка.

Набрасывая картину дореволюционной Франции всего в строках пятидесяти и давая заголовок этому абзацу „причины революции“, Тьер выдвигает вперед то, что во Франции до революции все сводилось к привилегиям (*tout était privilège*),

¹⁾ См. выше, стр. 28 — 29.

что везде меньшинство привилегированных стояло против „обобранного большинства“, а об остальном упомянуто вскользь: об отсутствии личной неприкосновенности и свободы печати и о дурном управлении (I, 19—20). Тьер не вдается в подробности и классового строя общества. Ему достаточно, что „третье сословие охватывало почти всю совокупность нации, все полезные, работающие (industrieuses), образованные классы“ (I, 18) и что „буржуазия трудолюбивая, просвещенная, менее, конечно, несчастная, чем народ, но обогащавшая королевство своею промышленностью, украшавшая его своими талантами, не пользовалась никакими выгодами, на которые имела право“ (I, 20). Тьер и говорит обо всем третьем сословии, имея в виду преимущественно буржуазию, т. е. более зажиточный и образованный класс общества. Для него то все непривилегированные смешиваются в одном понятии третьего сословия, то в последнем различаются буржуазия и народ, то под народом разумеется все большинство нации, все третье сословие, то почти отождествляются понятия народа и той самой „multitude“, которая играет такую роль в повествовании Минье. Впрочем, многое из сказанного о Минье распространяется и на Тьера, хотя общие взгляды последнего тем труднее формулировать, что, очень последовательно и подробно рассказывая, он не дает таких кратких резюме, какие мы видели у Минье. Мне кажется только, что, описывая народные волнения уже первого года революции, Тьер более резко выражается, чем Минье, о проявлениях жестокости, зверства, грабительства. Он менее здесь стесняется говорить о черни (populace) и, уже рассказывая о погроме дома обойного фабриканта Ревельона за несколько дней до открытия Генеральных Штатов (27 апр.), отмечает участие в этом погроме тех „на все шедших и жестоко буйных людей, которые впоследствии выступали во всех подобных случаях и получили название разбойников“ (I, 21). Большая подробность изложения также имеет своим следствием то, что все ужасы, подобные сентябрьским убийствам, у Тьера рисуются конкретнее и ярче. Деятельность клубов нашла в Тьере, равным образом, более внимательного историка.

Тьер в самых восторженных выражениях говорит о первом периоде революции, как о наиболее „благородном, справедливом, героическом“. „Достопамятное“ Учредительное

Собрание представляется ему „благородно мужественным“, просвещенным, „убежденным в своем праве“, смелым представителем нации. Победив прежнюю власть, оно ввиду старого иерархического строя, столь неравномерно распределявшего наверху и внизу блага мира, пожелало „все уравнивать“. Оно, говорит Тьер, „решает, что масса граждан, совершенно уравниваемая, будет выражать свою волю и что король будет обязан только ее исполнять“ (I, 96). Нельзя, однако, сказать, что Тьер систематически и даже точно изложил конституцию 1791 года: в его передаче, как увидим после, есть недосмотры; настоящего ее анализа им не было сделано. По его мнению, однако, Учредительное Собрание ошиблось, „думая, что король, помня себя тем“, чем он был прежде, мог бы примириться со своим новым положением, и что народ, который только-только пробуждался и получил некоторую долю в общественной власти, не захотел бы овладеть ею и целиком“. Тьер находит, что было ошибкою низвести королевскую власть на степень простой магистратуры, хотя и понимает, что по тогдашнему времени „Учредительное Собрание столь же мало, как сама нация, было способно совершить отречение“ от своих прав в пользу короля. Оно надеялось, что „король удовольствуется такой магистратурой и что народ ему ее оставит. Собрание не могло не считаться с общественным мнением, в котором была вся его сила. В установлении однопалатного представительства Тьер видит еще более действительную ошибку, но и ее считает столь же неизбежной. Не следует требовать от людей и от умов ничего, кроме того, что они могут дать в данную эпоху. „Будущее показало, что если бы за королем и аристократией оставили все права (pouvoirs), которые у них были отняты, революция тем не менее все-таки имела бы место в своих последних крайностях“. Франция находилась в таком положении, что один за другим, после долговременной спячки, проснулись и вернули себе часть своих прав сначала образованные классы, а потом и низшие, вся масса целиком. В скором времени, говорит Тьер, „удовлетворенные полученным, образованные классы хотят остановиться“, но не могут этого сделать, и беспрерывно толкаются вперед теми, которые за ними следуют. Останавливающиеся, будь они сами только предпоследними, для последних все-таки аристократия, и в этой борьбе

классов (*lutte des classes*), обрушивающихся одни на другие, простой буржуа получает от батрака кличку аристократа и в качестве такового подвергается преследованию" (I, 97, 98). Учредительное Собрание хотело оставить тем, которые имели, часть того, что они имели, и доставить неимущим образование и права, посредством его приобретаемые, но одни жалеют об утраченном, а другие стремятся приобрести все. Это второе чувство Тьер часто называет „ambition“. И вот начинается „истребительная война“. „Члены Учредительного Собрания были, говорит он, первыми людьми добра, которые, сбрасывая рабское иго, пытаются установить справедливый порядок, пробуют это бесстрашно, даже исполняют эту громадную задачу, но падают, желая одних убедить в необходимости некоторых уступок, а других в необходимости умерить свои желания" (I, 98). Отсюда, как замечает Тьер, Собрание, как революционное, было предметом ненависти в Кобленце (т. е. у эмигрантов) и, как аристократическое, в Париже (I, 96). Хорошо отмечает он и некоторый антагонизм, возникший между людьми первого собрания и второго. Первые, „давшие начальные правила свободы и желавшие, чтобы за них держались“, смотрели несколько свысока на новое собрание и тем его до известной степени раздражали под влиянием „своего рода аристократического чванства“, другие же, „долгое время нетерпеливо смотревшие, как действовали первые, находили, что их предшественники еще не достаточно сделали" (I, 99). Такие психологические объяснения—один из обычных приемов Тьера.

Но и второе собрание не поспевало за движением, развившимся в массах (I, 168 и др.). Тьер подчеркивает, как быстро шли события вперед. Гораздо обстоятельнее, конечно, чем Мишье, он изображает конфликт с Собранием—якобинского клуба и парижской Коммуны (I, 172), больше при том обращаясь к психологическим объяснениям из различия темпераментов и непосредственных стремлений, нежели к соображениям о различии социальных, чисто классовых интересов. Ссылки на то, что происходило в парижских секциях, у Тьера при этом очень часты. Сложные отношения между Конвентом, Коммуной, клубами, секциями, партийная борьба между жирондистами и якобинцами подробно рассказываются историком, но он, как и в большинстве случаев, воздерживает

вается от обобщений, от подведения итогов, приводя массу фактов, анекдотов, выдержек из речей и т. п., которые, как непосредственный материал, призваны сами говорить за себя. Следуя строго хронологическому порядку, он перемешивает факты внутренней и внешней политики и об однородных предметах, какова, напр., борьба жирондистов и монтаньяров, говорит разбросанно, не останавливаясь на таком однородном материале, чтобы резюмировать сущность дела в общих положениях, которые можно было бы приводить в качестве главных взглядов историка. Вот почему последние не поддаются такой краткой передаче, какая возможна по отношению к Минье, хотя и у последнего это скорее отрывочные замечания, время от времени прерывающие рассказ, чем связанные между собой рассуждения. Тьер сообщает факты, в роде переворота 10 августа, сентябрьских убийств, казни короля, но не сопровождает их никакими размышлениями от себя. Он старается только, чтобы события с необходимостью вытекали из других, чтобы бросалась в глаза их непрерывность, чтобы каждое из них было представлено в наиболее конкретном виде, откуда его забота о подробностях, о приведении собственных слов деятелей, даже местами об оживлении рассказа анекдотами. Лишь изредка Тьер позволяет себе подведение итогов в роде того, который приводится ниже, как заключающий в себе взгляд на перелом в истории революции после падения жирондистов.

После 10 августа в то время, как „власть оставалась в руках разных народных учреждений (autorités), возникает вопрос, как пользоваться этой властью. Тогда различия, уже проявившиеся между сторонниками умеренности и неуемимой энергии, раздражаются самым неумеренным образом: Коммуна, состоящая из наиболее пылких людей, нападает на Законодательное Собрание“. Внешняя опасность доводит страсти до последней крайности. „Видя приближение герцога Брауншвейгского, наперед совершают (on dévance) жестокости, которые герцог возвестил в своем манифесте“, как прекрасно выражается Тьер о сентябрьских убийствах. Освобожденная от опасности Франция опять волнуется из-за того же вопроса об умеренном или беспощадном пользовании властью. Сентябрь делается тягостным предметом упреков: умеренные негодуют, насильники (les violents) желают,

чтобы молчали о бедствиях, которые они называют неизбежными и непоправимыми. Жестокие личные мотивы (*personnalités*) прибавляют персональную ненависть к враждебности мнений... Тогда приходит момент решить судьбу Людовика XVI. К его личности применяют две системы: система умеренности побеждена, система насилия одерживает победу". Казнь короля оживляет коалицию против Франции, в то время восстает Вандея, умеренные департаменты начинают угрожать. „Никогда не было более крупной опасности для революции. Неудачи и измены дают якобинцам предлог для клевет против умеренных республиканцев и мотив для требования судебной и исполнительной диктатуры... Две партии по этим вопросам вступают в крайнюю борьбу, они не могут более оставаться вместе“. Якобинцы возбуждают „ужасную бурю“ 31 мая, а 2 июня решение судьбы жирондистов только откладывается, как это было и с Людовиком XVI, до того времени, когда „насилие делается достаточным, чтобы отправить их на эшафот“. Время между 10 августа и 31 мая было „долгой борьбой между двумя системами употребления средств. Все возрастающая опасность делала спор еще более оживленным и ядовитым, и великодушная депутация Жиронды, обессиленная желанием отомстить за сентябрь, не допустить ни 21 января (т. е. казни короля), ни революционного суда, ни комитета общественного спасения, погибает, когда более крепкая опасность делает насилие более настоятельно необходимым (*urgente*), а умеренность менее допустимой. Теперь, когда всякая законность была побеждена, всякий протест подавлен с исключением жирондистов, а опасность сделалась еще более страшной, нежели когда-либо, вследствие восстаний, поднятых для отмщения за жирондистов, насилие может развиваться без помех и без меры... Здесь начинаются более крупные и во сто раз более ужасные сцены, чем все те, которые приводили в негодование жирондистов. Для них история их кончилась; остается только прибавить рассказ о их героической смерти. Их оппозиция была опасна, их негодование — неполитично; они компрометировали революцию, свободу и Францию, они компрометировали даже умеренность, защищая ее с неуступчивостью, и, умирая, они увлекли за собой в своем падении все, что было во Франции наиболее великодушного и просвещенного“ (1,349—350).

Очень жаль, что у Тьера мало таких мест, как это, приведенное, впрочем, с некоторыми купюрами. Взгляд Тьера ясен: борьба жирондистов и якобинцев была борьбою систем и темпераментов, и в ней, в этой борьбе, жирондисты погибли, потому что менее соответствовали условиям и потребностям времени. Их гибель как-бы оправдывается интересами революции, свободы, Франции, для которых их система была опасна, поведение их неapolитично. Правда, Тьер несколько смягчает суровость приговора: „однако, спрашивает он, кто не хотел бы сыграть их роль? Кто не хотел бы наделать их ошибок? Возможно ли, в самом деле, кровопролитие без сопротивления и без негодования?“

К числу таких же редких мест более общего содержания нужно отнести начало книги XVI, где характеризуется положение дел во Франции после падения Жиронды и говорится, как обстоятельства привели к всевластию Конвента, помимо его собственного желания (I, 375). Здесь речь опять идет о противоположности не классовых интересов, а мнений, систем, темпераментов, причем все еще под вопросом оставались умеренность или насилие. Политику Робеспьера, начавшего главенствовать, Тьер называет „похвальной и полезной“ и находит, что все складывалось в ее пользу (*tout était profit pour lui*, I, 381). Как и предшествовавшие вожди революции, Робеспьер хотел „остановить революцию на точке, на которой остановился сам“, но и эта политика, которая лишила других популярности, не должна была принести вреда его популярности, потому что революция приближалась к концу своих опасностей и своих крайностей“ (I, 382). Террор был возведен в систему, но он спасал Францию. О революционных мерах, „декретированных для спасения Франции“, историк говорит, между прочим, так: „придуманные самими пылкими людьми, они были насильственными в самом своем принципе, выполняясь вдали от вождей, их сочинивших; в низшей сфере, где более темные страсти были более грубы, эти меры становились еще более насильственными в применении“ (I, 444). Тьер не щадит красок в изображении ужасов эпохи, причем о конечной судьбе жирондистов им написаны были прекрасные страницы. „Так, читаем мы здесь, в этом странном бреде, который делал подозрительными умы, все, что было во Франции наи-

более благородного, наиболее великодушного, гибло или в самоубийстве, или от руки палача". (I, 455). Произвол только порождает дальнейший произвол, от одной крайности переходили к другой, вплоть до ниспровержения религии. Любопытно, как Тьер понимает отношение к этому массы. Историк „с отвращением“ взирает на все эти сцены, где народ „переменил свой культ, не понимая ни старого, ни нового. Но когда же, спрашивает Тьер, народ способен понимать догматы, в которые его заставляют верить? Обыкновенно что ему нужно? Большие собрания, которые удовлетворяли бы его потребности быть вместе, символические зрелища, которые ему беспрестанно напоминали бы идею высшей над ними силы, наконец, праздники, где чествовались бы люди, наиболее приближавшиеся к добру, красоте, величию, одним словом, храмы, церемонии, святые. Все эти потребности были удовлетворены“. Слишком простое объяснение, когда речь вообще заходит у Тьера о народной массе. Но вот что верно в его словах по этому поводу: „Никогда сразу не проявлялось столько принуждения по отношению к этой инертной и пассивной части населения, над которой производится политические опыты. Не осмеливались высказывать какие-либо мнения, боялись свиданий с друзьями и родными, чтобы как-нибудь себя не компрометировать и не потерять свою свободу, а пожалуй, и самую жизнь. Никогда власть не производила столь насильственных перемен в привычках народа. Это, без сомнения, была самая жестокая из тираний“, говорит Тьер, но тут же прибавляет: „однако, нужно принимать в расчет опасность государства, неизбежные кризисы торговли (т. е. по отношению к мерам экономического характера) и дух системы, не отделимый от духа нововведений“ (I, 435).

Тьер подробно рассказывает о том, как началось разделение среди победителей — монпаньяров, но не сводит все к одной понятной и легко запоминаемой формулировке. Робеспьер продолжает оставаться его героем, поведение которого он называет благородным и ловким (I, 471). Система его и Сен-Жюста, этих „двух мрачных умов“, охарактеризована им хорошо (I, 505), как с захватывающим интересом рассказана и трагедия Дантона, характеристика которого относится к лучшим, нередко у Тьера вообще очень удачным.

Расправу Робеспьера с Эбером и эбертистами он оправдывает, называя их „низкими“, как и их обвинителя. Вместе с тем, говоря о процессе этих людей, он обозначает их словопреения с прокурором бесстыдными. „Страшное правительство, продолжает он, пользовалось низким обвинителем (Фукье), чтобы приканчивать жертвы, которые оно ему заказывало. Пребывая в высшей сфере, оно несчастных, бывших ему помехой, отмечало и представляло своему генеральному прокурору заботу удовлетворить всем формальностям посредством лжи. Если в этой низкой толпе жертв, обреченных на гибель ради общественного спокойствия, некоторые заслуживают быть выделенными, то это злосчастные иностранцы“. Сказав о казни эбертистов, Тьер прибавляет: „так были принесены эти презренные в жертву настоящей необходимости (*indispensable nécessité*) установить прочное и сильное правительство, и здесь нужда в порядке и в повиновении не была одним из тех софизмов, при помощи которых правительство закалывает свои жертвы. Вся Европа угрожала Франции, всякая дрянь (*tous les brochions*) хотела захватить власть и компрометировала спасение своими распрями. Было неизбежно, чтобы какие-нибудь люди более энергичные овладели этою оспаривавшеюся властью, и, таким образом, должны были ею воспользоваться для сопротивления Европе“. Тьеру только досадно (*ou éprouve un regret*), что прибегли при этом к лжи (стр. 512). Но, поражая анархистов, комитет общественного спасения подвергался опасности прослыть за умеренный; нужно было, чтобы он проявил „самую большую строгость, дабы не компрометировать свою революционную репутацию“, а потому нужно было (*il fallait*), чтобы то же было сделано с Дантоном и с Камиллом. Поэтому комитет почувствовал необходимость снять с себя обвинение в умеренности новою жертвою“. Было время, когда Робеспьеру нужно было защищать Дантона, но, „защищая дальше этого утратившего популярность товарища, он компрометировал самого себя“, тем более, что в поведении Дантона было нечто подозрительное, угрожающее (I, 513). Новою жертвою политической необходимости и был, таким образом, Дантон в руках „коварного“ на этот раз, „лицемерного и ловкого“ Робеспьера (I, 516). „Люди, нанесшие удар ультра-революционерам, должны были, чтобы не показываться пошедшими назад, ударить и по

умеренным. Политика требовала жертв“ (I,522). Дантон сам дал повод, чтобы удар пал на него.

Удар по ультра-революционерам Тьер считает политической необходимостью, но в другом ударе такой надобности, по его словам, не было, хотя удар все-таки „мог быть полезен, чтобы устранить всякую видимость умеренности“ (II,1). Вот эта точка зрения целесообразности и играет большую роль в редких исторических соображениях Тьера, а цель в данном случае была достигнута: „оставалось только царствовать без помехи“. Но тут-то власть развертывается вовсю, выходит из берегов и губит себя. „В то же время, как все рты закрыты, на всех лицах написана покорность,— в это время ненависть сосредоточивается в сердцах, и в момент торжества победителей готовится обвинительный акт против самих них“. Тьер снова хвалит Робеспьера в эпоху провозглашения Верховного Существа (II,7), хотя несколько дальше говорит о нем, наприм, как о „кровавом и гордом первосвященнике“ (II,31). Он очень подробно рассказывает о последних месяцах карьеры Робеспьера. Когда же самому диктатору наносится удар, то для нашего историка этот удар получает характер „счастливой катастрофы“.

По представлению Тьера, все делалось, как тому следовало делаться. Исторический рок оставлял Робеспьера на его месте, пока не пришел срок прекращения опасностей и крайностей. „Счастливая катастрофа“ окончила восходящее движение революции и начала нисходящее. Это дает историку повод еще раз бросить общий взгляд на все прошлое революции, начиная с 14 июля 1789 года. Революция здесь представляется, как какое-то живое существо, способное чувствовать, имеющее волю, целесообразно действующее. Ее, как бы олицетворенной здесь революции, жар удвоил число ее врагов, а рост ее врагов и опасностей увеличил вдвое ее гнев и превратил его в ярость. Она насильственно вырвала из храма законов искренних республиканцев, которые, не понимая ее крайностей, хотели ее умерить. Ей предстояло сражаться с половиною Франции, с Вандеей и с Европой. Вследствие этого постоянного взаимодействия между ее волей и препятствиями, она дошла до последней ступени гибели и увлечениям: она воздвигла эшафоты и послала миллион людей на границы. Тогда, в одно и то же время величественная

и жестокая, она стала разрушать с слепую яростью, управлять с изумительной быстротой и глубокою осторожностью. Изменившись по необходимости в сильном действии из мятежной демократии в абсолютную диктатуру, она сделалась упорядоченной, молчаливой и страшной. Во весь конец 93 года и в начале 94 она шла единой дорогой вследствие непреодолимости опасности. Но когда победа увенчала ее усилия, тогда могло родиться несогласие, ибо великодушные и сильные сердца, успокоенные успехом, зывали: „милосердие к побежденным!“ Не все еще сердца успокоились, спасение революции еще не было очевидным для всех умов; сострадание одних возбудило ярость других, и были странные умы, которые хотели, чтобы правительством был суд, присуждающий к смерти. Диктатура нанесла удар двум новым партиям, которые затруднили ее ход... Революция продолжала так свой ход, покрыла себя славой с начала 1794 года, победила всю Европу и привела ее в смятение. Это был момент, когда сострадание должно было наконец победить гнев. Но случилось то, что случается всегда. Вожди правительства систематизировали насилие и жестокость и, когда опасность и ярость прошли, хотели убивать и убивать еще; но общественный ужас поднимался со всех сторон. На общественную оппозицию они хотели отвечать обычным средством: смертью! Тогда один и тот же крик сразу раздался со стороны их соперников из-за власти, их товарищей, почувствовавших угрозу, а этот крик был сигналом общего возбуждения. Достаточно было нескольких мгновений, чтобы стряхнуть оцепенение и страх, но в этом скоро успели, и система террора была низвергнута, Робеспьер не мог победить, оставшись один, а если бы он победил, „ему нужно было бы уступить общему чувству или, раньше ли, позже ли, пасть“. „Подобно другим узурпаторам, говорит здесь Тьер, он был бы вынужден заменить ужасы факций спокойным и мягким режимом. Наша революция была слишком обширна для того, чтобы один и тот же человек, депутат в Учредительном Собрании 1789 года, был объявлен императором или протектором в 1804 году в соборе Парижской Богоматери“. И вот, так сказать, на свежей могиле Робеспьера Тьер ставит вопрос, почему Робеспьер пережил других знаменитых революционеров, бывших выше его, напр., Дантона. Дело, однако,

не в ответе на этот вопрос, а в характеристике начинающейся словами: „но он был из худшего сорта людей“ (I,165). Робеспьер не считался же таким раньше, когда имел успех, — характерная для Тьера черта. Революция пошла на убыль, но борьба партий не прекратилась, с тем различием, что якобинцы, бывшие у власти, теперь очутились в оппозиции (II,75 сл.).

Тьер в высшей степени обстоятельно следит за событиями последних месяцев Конвента, по поводу окончания работ которого еще раз оглядывается на ход революции, подводя здесь итоги и под деятельностью Конвента. Это собрание вынуждено было обстоятельствами захватить диктатуру ради общего спасения, но ради той же цели этою диктатурою овладел комитет общественного спасения. „Двенадцать диктаторов завладели всем, людьми и вещами, ... последовательно принесли в жертву все партии“, обладая всеми „излишествами своих качеств“: „этими качествами были сила и энергия, этим излишеством — жестокость. Они пролили потоки крови, пока, сделавшись бесполезными вследствие победы и ненавистными вследствие злоупотребления силою, не пали сами. Конвент тогда взял себе назад диктатуру и мало-по-малу начал ослаблять пружины своего ужасного управления. Обеспеченный победою, он стал прислушиваться к голосу человечности и предался своему духу возрождения. Он желал всего, что только есть доброго и великого, и пытался это делать в течение года; его партии, раздавленные под неумолимой властью, возродились при мягком режиме. Две партии, в которых соединялись с разными оттенками дружба и недруги революции, нападали на него поочередно. Одних он победил в жерминале и в прерияле, других — в вандемьере и до конца оставался героическим среди опасностей“ (II,221). К конституции III года Тьер отнесся очень сочувственно (II,207 — 208), равно как и к подавлению движения 13 вандемьера за его роялистический характер. Впрочем, у Тьера, как принято было, побежденные всегда являются и виновными. Достоинно внимания, что в своих, хотя и немногих, но определенных общих соображениях о ходе революции Тьер, говоря о борьбе партий, молчит вполне о борьбе классов. Партии здесь не выступают у него, как органы каких-либо общественных сил, когда речь идет о партиях республиканских, а не о рояли-

стах, как приверженцах старого социального строя. Скорее выходит так, что не социальные интересы классов диктовали принципы партий, а последние делали сами своими орудиями известные классовые инстинкты. Другими словами, различия были не столько программные, сколько тактические, выбор между более умеренною или более крайнею политикою, между законностью или насильственностью средств в вопросе о спасении революции и отечества. Когда речь у Тьера заходит о различии между жирондистами и якобинцами, главное, что выдвигается вперед, это — различие их „систем“, местные отношения парижской жизни, мотивы властолюбия, личные соперничества и т. п. Тьер несколько раз говорит о разногласиях между жирондистами и якобинцами по разным вопросам (I, 99, 188, 202—206, 209—212, 223 и 226, 241—242, 237—258, 275—276, 284—289, 308, 315 и пр.), но мало занимается их связью с теми или другими общественными классами, хотя, конечно, и отмечает, что отношение к партиям было разное в разных слоях населения. Весьма естественно, что якобинцы более подходили к настроению массы, будучи по самой натуре своей демагогами. Тьер нередко говорит о роли парижских секций, где часто брали перевес невежественные агитаторы. „В секциях, по его представлению, царствовал революционный фанатизм, еще более невежественный и более рьяный, чем в Коммуне и в якобинском клубе“... и „они производили все волнения в столице“. Их членов Тьер называет очень неразвитыми и необразованными (*leur infériorité et leur obscurité*, 1, 285), вследствие чего они были очень доступны всяким влияниям, всякой агитации, вплоть до введения культа Разума. Мы видели, как отнесся Тьер к признававшемуся им временному успеху его в народе. Во всяком случае, Тьер не уематривал еще в наиболее бурную эпоху революции никаких социальных требований демократии — до появления Бабёфа.

Заговор Бабёфа, о котором коротко рассказал и Минье, обратил на себя значительное внимание со стороны Тьера. Интересно, какое впечатление этот эпизод, занимающий видное место в истории социализма, произвел на историка революции, писавшего в двадцатых годах прошлого века. Тьер отнесся к Бабёфу очень резко. То, что в газете Марата было вызвано необычайными обстоятельствами, говорит он, „было

возведено в систему и проводилось с невиданной еще глупостью: когда идеи, занимавшие умы, подходят к концу, они остаются в некоторых головах и там переходят в манию и в нелепость. Бабёф был главою секты больных людей, которые утверждали, что сентябрьские убийства были еще неполны, что их нужно было возобновить, дабы сделать дело окончательно. Они публично проповедовали аграрный закон, чего не осмеливались сделать сами эбертисты,—и пользовались новым словом общее счастье, чтобы выразить цель своей системы. Одно это выражение, продолжает Тьер, характеризует в них крайнюю ступень демагогического абсолютизма. Содрогаешься, читая страницы Бабёфа. Добросовестные умы разжалобились, алармисты сделали вид, что верят в приближение нового террора, да и верно, что заседания общества Пантеона давали особый повод для их опасений“ (II, 249). Это казалось возрождением якобинизма, против которого директория и приняла меры, пользуясь средствами, какие давала конституция, но применив таковые и к роялистическим собраниям. Тьер отмечает здесь, что в это время „сторонники революции, которые должны были бы желать безграничной свободы печати, требовали репрессивных мер, оппозиция же, тайная мысль которой клонилась скорее к монархии, чем к республике, проповедовала безграничную свободу: так, прибавляет он, партии управляют своими интересами“. Сам Тьер высказывается за полную свободу. Для Конвента, по его мнению, не приспело еще время понять эту истину, но директория, казалось бы, должна была понять (II, 250). Репрессии против демократов озлобили их против правительства и заставили выступить на путь самой секретной против него конспирации, чтобы перерезать директоров, разогнать советы и передать народу непосредственную верховную власть, т. е., в сущности, не выборным представителям, а наиболее испытанным якобинцам (II, 254). Меры намечены были самые насильственные, „ужасные и безумные“ (insensées), как определяет их Тьер (II, 255). В его изображении сущность заговора Бабёфа заключалась не в новой социальной цели, которая в нем ставилась, а в прежней политической системе якобинцев, т. е. в захвате власти от имени и во имя народа. Аграрный закон был будто-бы лишь демагогическим средством. Тьер даже не интересуется идеями Ба-

бёфа и не рассматривает это дело, как нечто особое в ходе событий, даже—разбивая отдельные части своего изложения этого дела по разным местам, отделенным одно от другого изложением событий внутренней и внешней политики,—прием, впрочем, характерный для труда Тьера с его строгой хронологичностью. Сказав, что о заговоре начато было следствие, которое и должно было быть продолжительным, так как хотели вести его со всеми формальностями“ (II, 255), Тьер как будто о нем забывает среди других событий эпохи, не видя в заговоре Бабёфа сколько-нибудь важного симптома. У Минье заговор этот тоже рассматривается, не как признак чего-то нового, начинавшегося, а как повторение прерияльской попытки, подавление которой и было последним поражением демократической партии. „Бабёф, говорит Минье, был последним главою партии прежней коммуны и комитета общественного спасения, разделившихся перед термидором и воссоединившихся впоследствии“, —партии, которая после Бабёфа более не существовала (II, 173). Оба историка писали, когда еще не было самого слова „социализм“, а традиция бабувизма еще не возродилась в целой книге одного из участников заговора, Буонаротти: вышла книга в 1828 году в Брюсселе в двух томах под заглавием „Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle a donné lieu“.

Тьер весьма вообще детально излагает события эпохи, наступившей после падения Робеспьера, как внутри Франции, так и в ее войне с иностранной коалицией, даже останавливаясь на чисто военных действиях. Он следит за борьбою партий, выводя теперь на сцену и роялистов, приписывая им большую роль в движении 13 вандемьера и в тех явлениях, которые вызвали 18 фрюктидора. Материал для этого второго периода революции был собран Тьером очень большой.

Во всем труде своем он выступает, как повествователь, а не как исследователь и мыслитель. Выводы он предоставляет самому читателю, так сказать, не насилуя его мнений, но и своего мнения часто совсем не высказывая не только в смысле оценок, но и в смысле более глубокого исследования причин и следствий или широких обобщений для однородных фактов или для явлений, приводивших в одном и тем же результатам. Таким образом, „История французской рево-

люции“ являлась очень большим реперторием фактов, без которого уже не могли, как без общей канвы, обходиться последующие историки революции.

Но и особенно во всем доверять Тьеру с фактической стороны, однако, не приходится. Он, например, довольно смело поступает с приводимыми им речами ораторов революции, прямо их переделывая, пересказывая своими словами, или подправляя слог и тем не менее ставя их в кавычки, как подлинные фразы самих ораторов. Иногда, что уже хуже, он прямо сочиняет речи, как это делали древние историки,—литературный прием, которым пользовался Тьер, чтобы выяснить читателю политику той или другой партии, так сказать, персонифицировавшейся, причем фиктивная речь тоже приводилась в кавычках. С письменными документами он обращался осторожнее, хотя и здесь случались неточности (например, в изложении письма Людовика XVI перед бегством в Варенн, или пильницкой декларации). Олар в указанной выше статье даже утверждает, что Тьер, в быстром ходе своей импровизации, пренебрегал чтением конституционных текстов, великих законов политической организации и говорил о них по наслышке или по старой и смутной памяти о прочитанном¹⁾.

Какие небрежности здесь попадают, можно видеть из двух примеров. Избирательный закон 22 декабря 1789 года требовал от избирателей ценза в виде уплаты налога, равного трехдневной заработной плате, а для права быть избранным—в размере марки серебра при обладании недвижимою собственностью, Тьер же пишет, что марка серебра была цензом избирателя, а что касается до права быть выбираемым, то для него будто бы не требовалось „никакого условия“. В рассказе о 10 августа 1792 года перечисляются декреты Законодательного Собрания и пропускается тот, которым во Франции было введено всеобщее избирательное право. Такие грубые ошибки были возможны при господстве старого, более литературного, чем научного понимания истории, когда слишком большая точность могла казаться педантизмом. Собираясь с тогдашними литературными требованиями и со вкусами читателей, Тьер избегал также приводить более или

¹⁾ La Rév. Fr., 1914, VI, 514.

менее часто даты событий, дабы текст не пестрил цифрами, как избегал всяких технических подробностей, которые могли бы быть скучными. Он, впоследствии хваливший административную централизацию, как нечто, „чему завидует вся Европа“, отделяется всего несколькими словами от задачи объяснить, чем же, собственно говоря, было разделение Франции на департаменты. Та муниципализация страны, которая началась чуть не с первых дней революции, также не обратила на себя внимания Тьера.

Не в моде вообще были тогда и подстрочные примечания, но Тьер все-таки указывал на свои источники, хотя последующие издания его труда обходились как без этого, так и без приложений, в которых автор приводил выдержки из мемуаров, официальные документы и даже критические эссе. Особенно много он пользовался мемуарами. В проспекте издателей было сказано, что в основу труда были положены и документы, имеющие появиться, но „пока еще неизданные“. Действительно, Тьер пользовался и таким материалом, а именно перепиской Мирабо с де-Ламарком, изданной только в 1851 году Бакуром: на основании этого материала он мог дать совершенно новое для того времени изложение сношений Мирабо с двором. Один из биографов Тьера (Лауа, издавший о нем два тома в 1846 г.) утверждает, что он, между прочим, получал сведения от Талейрана, а другие указывали еще на Баррера, но более точные справки доказали, что с Талейраном Тьер познакомился много позже, а с Баррером даже вовсе не был знаком ¹⁾.

История революции Тьера продолжала пользоваться успехом и после, до появления историй революций Мишле и Луи Блана, переиздаваясь, впрочем, и после них. Когда в начале шестидесятых годов была закончена история Луи Блана, книгу Тьера еще долго переиздавали. На нее продолжали смотреть, как на труд в своем роде даже классический ²⁾, но оба названные историка, собственно говоря, его совершенно упразднили ³⁾.

¹⁾ Aulard в указанной статье (VI, 516).

²⁾ К сожалению, мне по названию только известна работа De Martel'я „Les historiens fantaisistes. M. Thiers (1883).

³⁾ Русский перевод был сделан довольно рано, еще до перевода Мишле, появившегося в 1865 г.

ГЛАВА V.

Июльская монархия. Истории революции Мишле и Ламартина.

Эпоху реставрации, как мы видели, характеризует борьба послереволюционной Франции с Францией дореволюционной. Эта борьба совершалась разными способами, будучи и революционной, и конституционной, происходя не только в области политических действий, но и в разных отраслях литературного творчества, в публицистике, в поэзии, в историографии. Революционные попытки низвергнуть Бурбонов относятся к царствованию Людовика XVIII, ко времени же выхода в свет трудов Тьера и Минье они прекратились, но зато в царствование Карла X значительно усилилась легальная оппозиция против реакционного направления правительства: тот же самый 1827 год, когда появилась в печати последняя часть труда Тьера, был ознаменован первыми признаками усиления либеральной оппозиции. Выборы 1827 года дали победу либералам, и в том же году начались в Париже оппозиционные демонстрации. В январе 1830 года оба тогдашних историка революции в товариществе с Арманом Каррелем, автором книги о реставрации и второй революции в Англии, основали, как уже было упомянуто выше, газету „Le National“, главною целью которой было содействовать низвержению старшей линии Бурбонов для передачи престола младшей ее линии в лице герцога Орлеанского: во Франции должна была повториться вторая английская революция для упрочения конституционного образа правления. Новый оппозиционный орган, главным руководителем которого был Тьер, старался выводить из хартии 1814 года такие заключения, при которых легитимному правительству оставалось бы только прибегнуть к государственному перевороту, чтобы осуществить свои реакционные вождедения. По окончании труда о революции Тьер задумал написать большое сочинение по истории цивилизации и собирался с научною целью в кругосветное путешествие, но остался во Франции, когда Карл X назначил

в августе 1829 года главою министерства своего друга, крайнего реакционера Полиньяка. Тьер нашел, что не время теперь заниматься наукой, что нужно вести борьбу, и с ближайшими друзьями основал только-что названную газету.

Июльская революция вполне соответствовала желаниям и ожиданиям антидинастической оппозиции, в которой заняли такое определенное положение оба историка революции. Карл X и Полиньяк пошли на нарушение конституционной хартии, а на это в 1830 г. население Парижа ответило восстанием, приведшим к возведению на престол Людовика-Филиппа Орлеанского с некоторым изменением конституции и к торжеству буржуазии над аристократией. Известно, какую роль сыграл Тьер в этом перевороте. Из редакции его газеты вышел знаменитый протест против нарушения конституции. Разгром полицией типографии, где печатался „Le National“, не остановил выхода этой газеты в свет. В дни парижского восстания либеральные журналисты оказались решительнее оппозиционных депутатов. Тьер и Минье первыми заявили, что после всего совершившегося речь может идти только о перемене династии, о чем и возвестили населению Парижа в выпущенной ими массе летучих листов, с указанием на герцога Орлеанского, как на кандидата в короли. Тьер же лично убедил герцога вмешаться в события. Впоследствии Тьер играл видную роль в парламентской жизни времен июльской монархии, бывал министром и стоял во главе оппозиции, когда первым министром был другой историк, Гизо.

В официальных актах, санкционировавших июльскую революцию, многое представляло собой возвращение к принципам 1789 года. Конституция 1830 года уже не была дарована королевскою властью, как хартия 1814 года, а принята национальным представительством; новый король вступал на престол не по наследственному праву, а по приглашению народа через его представителей; его власть в некоторых отношениях была теперь более ограничена, а права представительства расширены; католицизм перестал быть государственной религией, будучи признан только вероисповеданием большинства нации, что было даже либеральнее взгляда Учредительного Собрания и т. д. Некоторое понижение избирательного ценза, бывшего при реставрации очень высоким и выгодным преимущественно для класса земельных соб-

ственников, увеличило число избирателей и в то же время всецело передало политическую власть в руки крупной буржуазии.

Времена июльской монархии с „королем-гражданином“ во главе были, таким образом, эпохой господства во Франции одного высшего слоя буржуазии, только и составившего так называемую „легальную страну“. Новый режим особенно казался упроченным около 1840 года, когда прекратились революционные попытки, бывшие столь частыми в тридцатых годах, и когда между королем, министерством и подавляющим большинством палат царствовало полнейшее согласие, имевшее вид совершенного единодушия, так что „легальная страна“ была в высшей степени довольна и своим представительством, и своим правительством. Как пользовалась крупная буржуазия своим положением, слишком хорошо известно, чтобы об этом здесь нужно было распространяться. Наиболее видными фигурами в парламентской жизни Франции в эту эпоху были либеральные историки предыдущего времени, Гизо и Тьер, одинаково приверженцы июльского трона, одинаково защитники интересов буржуазии, одинаково невнимательные к требованиям демократии, один более консервативный, другой более подвижной и приспособлявшийся к обстоятельствам. Эта приспособляемость Тьера к условиям момента выразилась и в том, что в новых изданиях своей „Истории французской революции“ он кое-что изменял соответственно с духом времени. Свой взгляд на значение июльской революции Тьер высказал в брошюре „Монархия 1830 года“. В ней он защищал революцию, но боролся с революционным духом,—различие, делавшееся уже и раньше, например, в сходном противополжении у Ремюзэ „революционного духа“ и „духа, порожденного революцией“. Июльский переворот представлялся здесь Тьеру не нападением на власть, во имя нового права, а защитой существовавшего уже права от покушения на него со стороны власти. Все, в чем нация нуждалась, по его мнению, было достигнуто. Политическая задача заключалась в упрочении социальных приобретений революции, что уже отчасти исполнил Наполеон. Тьер находил, что без укрепления общественной свободы такая цель не может быть достигнута. В сороковых годах он был вождем оппозиции против политики Гизо, расходясь с нею, однако,

в разном понимании не цели, а средств, тактики, метода. Более податливый и ловкий, Тьер,—если бы он, а не Гизо находился у власти,—сумел бы, вероятно, несколько продлить существование буржуазной монархии.

Политическое поведение Тьера во время июльской революции и во все царствование Людовика-Филиппа, так сказать, задним числом проливает свет на общий дух его „Истории французской революции“. Тот политический идеал, который предносился перед его умственным взором, когда он писал свой труд, был осуществлен июльской монархией с ее парламентарными формами, с теми свободами, которые потом, при Наполеоне III, он называл „необходимыми“, и с господством „среднего класса“. Если Гизо хлопотал о примирении с июльской монархией людей, стоявших правее, то Тьер стремился к тому же самому по отношению к людям, стоявшим левее, но в общем политика его отличалась также консерватизмом, только более умеренного характера.

С самого же начала июльской монархии против нее возникла и оппозиция, которая развилась и в оппозицию против буржуазии, когда вполне проявился характер июльского режима, как царства крупной буржуазии. Стихийным народным движением в последних числах июля 1830 года задумали-было воспользоваться немногочисленные в то время республиканцы, выпустившие и расклеившие на стенах домов прокламацию о предоставлении непосредственно самому народу решить судьбу Франции, о необходимости отменить королевскую власть, ввести всеобщее избирательное право и т. п. В этом направлении хлопотало „Общество друзей народа“: в Ратуше была составлена особая демократическая программа, которую и думали навязать новому королю, когда сделалось очевидным, что не республика установится, а утвердятся „трон, окруженный республиканскими учреждениями“, как выразился Лафайет. В тридцатых годах, то и дело, устраивались во Франции заговоры, происходили попытки восстания, совершались покушения на жизнь короля, но все это подавлялось правительством, пока в сороковых годах не произошло внешнее успокоение, бывшее, однако, только затишьем перед бурей 1848 года. Общественная борьба в эту эпоху совсем изменила свой прежний характер: во время реставрации буржуазия находилась в оппозиции, теперь

против самой буржуазии, достигшей власти, поднялась оппозиция со стороны демократии.

Взгляд старого историка французской революции, Тьера, на значение июльского переворота совершенно не соответствовал взгляду, высказанному о буржуазной монархии писателем, который через двадцать лет после Тьера предпринял большой труд о революции 1789 года. В 1840 году во Франции вышла в свет и очень нашумела „История десяти лет“ Луи Блана, заключавшая в себе рассказ о событиях первых десяти лет июльской монархии с точки зрения не только демократической, но и социалистической. Луи Блан уже противопоставлял не третье сословие привилегированным, а народ—буржуазии. На одной из первых же страниц этой книги он говорит: „под буржуазией я разумею совокупность граждан, которые, владея орудиями труда или капиталом, работают при помощи своих собственных средств и зависят от других только в известной мере. Народ есть совокупность граждан, которые, не владея капиталом, зависят от других вполне во всем, что касается первых потребностей жизни“. Одни, говорит здесь, еще Луи Блан „могут, не порабощаясь, развивать свои способности“, другие, наоборот, „не находят в себе самих средств для своего развития“. Это уже не было старое разделение нации на „людей пергаменов“ и „людей индустрии“, на феодалов и индустриалов, а ближе напоминало „les classes moyennes“ и „la multitude“ Минье, хотя опять-таки несколько в другом роде.

Названная книга Луи Блана была обвинительным актом против июльской монархии, как царства буржуазии, ставившей выше всего свои материальные интересы, подчинявшей им все проявления общественной жизни. Сам либерализм буржуазии, по представлению Луи Блана, был исключительно прикрытием грубых классовых интересов. В прошлом буржуазия служила службой историческому прогрессу. „Как воинствующий класс, говорит Луи Блан, она оказала не малые услуги цивилизации. У нее есть свои хорошие качества: любовь к труду, уважение к закону, ненависть к фанатизму и к его увлечениям, мягкость нравов, бережливость, все, что составляет основу семейных добродетелей. Но ей вообще не хватает глубины идей и возвышенности чувств, и у нее нет никаких верований“. Несколько выше этой характеристики сказано было

о буржуазии еще следующее: „довольная своею судьбою, она не хотела, чтобы страдания, которые не были ее страданиями, доводились до ее сведения шумом тревожных сигналов; отсюда система порядка, зависящего от молчания несчастных и защищавшегося пушечными выстрелами“. Обличая „систему, сделавшую из частного интереса источник власти“, Луи Блан прибавляет, что „порядок, которого желала и поддерживала буржуазия, был отмечен полным пренебрежением к бедняку“. Заблуждение буржуазии он сводил к тому, что „она верила, будто там, где нет равенства в средствах к развитию, довольно одной свободы для прогресса и справедливости“. В „Истории десяти лет“ Луи Блан рассказал и историю лионского восстания рабочих осенью 1831 года, которое не имело никакой политической подкладки, а вызвано было исключительно экономическими причинами, являясь грозным симптомом борьбы труда с капиталом. В восстании этом Луи Блан усматривал „доказательство экономических недостатков промышленного режима, установленного в 1789 году, обнаружение всего того, что только есть постыдного и лицемерного в пресловутой свободе договоров, которая отдает бедняка в полное распоряжение богатого и обещает легкую победу умеющей ждать жадности над голодом, не могущим ждать“.

Появление „Истории десяти лет“ было лишь одним из эпизодов этой оппозиции против июльской монархии, которая проявлялась и в литературе. В этой оппозиции, имевшей чисто демократический характер, было два направления, которые стали обозначаться, как демократия политическая и как демократия социальная. Первая вдохновлялась идеалом государства, основанного на политическом равенстве граждан, при сохранении общественного строя, основанного на частной собственности, у другой целью демократического строя было преобразование самого общества на новых социальных началах. Во Франции уже до июльской революции существовали социальные учения сен-симонистов и Фурье, по самому характеру своему аполитичные, не революционные, прямо отмежевывавшие себя от той партийной борьбы, какая происходила тогда в стране. Как либералы, а за ними и радикалы были далеки от идей социальных реформаторов, так и последние сторонились от всякого участия в текущей политике. Одно течение так-таки и не сливалось с другим

до середины тридцатых годов. Политические радикалы, организовавшие тайные общества и пытавшиеся произвести новую революцию, были республиканцами, клавшими в основу своей программы декларацию прав, предпосланную якобинской конституции 1793 года, и всё более и более проникавшимися социальным направлением, тогда как другие демократические элементы предпочитали мирную пропаганду в печати, не имея притом в виду полного общественного переустройства.

Одним из первых политических радикалов, усвоивших социальные стремления, был Бюшез, когда-то участник тайной политической агитации еще при Людовике XVIII, потом короткое время член кружка сен-симонистов, уже по выходе из него занявшийся изучением истории французской революции, результатом чего была многотомная коллекция относящихся к революции материалов, о которой еще речь впереди. Издание ее началось в 1834 году, как-раз в то время, когда впервые было употреблено слово „социализм“ в противоположность индивидуализму политического и экономического либерализма. В том же самом 1834 году приехал в Париж и начал свою литературную деятельность Луи Блан, на первых порах работавший в чисто демократической прессе, но уже в 1839 году основавший свой орган, где выступил с проповедью социального преобразования. Перед самую февральскую революцию, сокрушившую трон Людовика-Филиппа, он предпринял свой большой труд по истории французской революции, не только написанный с точки зрения социального демократа, но и представляющий много общего с изданием Бюшеза. Оба содействовали возрождению во Франции якобинской традиции, почти совершенно заглушенной в предыдущее время. Как произведения Тьера и Мишле отразили на себе оппозиционный дух реставрации, так труды Бюшеза и Луи Блана были проявлением в историографии того нового направления мысли, которое в тридцатых годах стало называться социализмом.

В одно время с „Историей французской революции“ Луи Блана, накануне февральского переворота, появились еще два исторических произведения о той же великой революции, авторами которых были Мишле и Ламаргин. Ни у того, ни у другого не было сочувствия к социализму, но

оба были убежденные демократы, совсем не разделяя позиции, занятой в двадцатых годах Тьером и Минье.

Вот при каких общественных условиях были начаты новые исторические труды о французской революции в тридцатых-сороковых годах: „Парламентская история“ Бюшеза, истории революции Луи Блана и Мишле и „История жирондистов“ Ламартина. Двое из них, Луи Блан и Ламартин, первый бывший апологетом якобинцев, второй историком жирондистов, революцией 1848 года были даже призваны к власти в качестве членов временного правительства. Ни тот, ни другой не были прежде профессиональными историками, но Луи Блан был, по крайней мере, публицистом с определенным политическим мирозерцанием, имел свой собственный план социального преобразования, Ламартин же был поэтом и скорее дилеттантом не только в историографии, но и в политике. Настоящим историком был зато Мишле, в данном случае, значит, человеком одной профессии с Минье. С него мы и начнем обзор историков революции, выступивших в царствование Людовика-Филиппа.

Мишле.

Жюль Мишье¹⁾ принадлежал к одному поколению с Тьером и Минье, родившись, как и оба они, в самом конце XVIII века (1798). Свое происхождение он сам называл „крестьянским“, хотя, в сущности, отец его был типографщиком, разоренным строгими мерами Наполеона против печати. Во всяком случае, Мишле вырос в бедности и в сопряженных с нею лишениях и в детстве занимался физическим трудом. Отсюда его тяготение к народу, связь свою с которым он чувствовал всегда. Первым его наставником был старый республиканец, когда-то школьный учитель, потом торговец книгами, внушивший ему взгляд на революцию, как на событие, принесшее много добра французскому на-

¹⁾ О нем G. Monod в специальной книге (1923) и в книге о Реване, Тэне и Мишле (1894), Noël (1873), Coëgëard (1886), Jules Simon в книге о Минье, Мишле и Анри Мартене (1899), J. Brunhes (1898), A. Feger (1910). По русски статья Герье „Народник во французской историографии“ (Вестн. Европы, 1896, III и IV), переводы статей Тэна (Русск. Мысль, 1886, XII) и Моно (там же, 1885, III). Русского перевода труда Мишле не существует.

роду. Получив среднее образование, Мишле, имея от роду 23 года, сделался учителем истории в одном из парижских коллежей, хотя в то время больше интересовался философией и древней литературой, нежели историей. Интерес к философии не покидал его и на кафедре в знаменитой Нормальной Школе, где он начал преподавать в 1827 году, опять-таки главным образом историю, которою занимался, однако, с философской точки зрения, как „драмою борьбы свободы с фатализмом“. Июльская революция оказала влияние на его судьбу тем, что доставила ему место директора в Национальном архиве: это-то и направило его на специальные занятия отечественной историей. В 1833—1843 годах вышли шесть томов его „История Франции“, прославившие его, как основательного ученого и блестящего писателя. Временно Мишле замещал Гизо в Сорбонне, а в 1838 году стал читать лекции в Collège de France перед большой публикой, подвижной и пылкой, требовавшей от профессора широких взглядов и красноречивого слова.

В Collège de France Мишле очень сошелся с читавшими там же лекции Мицкевичем по славянским литературам и Кинэ по южно-романским литературам, с тем самым Кинэ, который потом, уже в шестидесятых годах, тоже написал книгу о революции. Все три друга поставили себе задачей „создавать души“, воспитывая молодежь в гуманных и прогрессивных идеях. В сороковых годах июльская монархия делалась все реакционнее не только в политическом, но и в культурном смысле. Мишле принял участие в демократической и в антиклерикальной оппозиции. В первом отношении он как бы возродил в себе культ народа, характеризующий Руссо, во втором лозунг Вольтера: „écrasez l'infâme“. Сам будучи деистом, Мишле видел в католицизме врага духовной свободы и союзника политического деспотизма. В начале сороковых годов он и Кинэ, по предварительному уговору, прочитали по курсу о иезуитах. Вышедший в свет курс Мишле под заглавием „Les Jésuites“ (1843) имел колоссальный успех, а в дополнение к этой книге он издал другую „Священник, женщина и семья“ (1845), также антиклерикального содержания. Свои демократические принципы полнее всего Мишле изложил вскоре после этого в книжке „Le Peuple“ (1846), где выступил защитником народной массы,

преимущественно крестьянской, изобразив страдания, стремления и надежды рабочего люда, любовь французского крестьянина к земле, к своему маленькому хозяйству, далекие, однако, от каких бы то ни было социалистических и коммунистических идей. Этот „народник“, как назвал его проф. Герье, был большим индивидуалистом, а в то же время и противником классовой борьбы, отстаивавшим идею однородности интересов нации против привилегий.

Лучшим государственным устройством Мишле считал демократическую республику, но никоим образом не в ее якобинской редакции, вызывавшей в нем непреодолимую антипатию, какую он чувствовал к каким бы то ни было террористическим средствам. Мишле до самой крайней степени идеализировал народ. В народе, учил он, живет высшая непосредственная правда. Народу он противопоставлял при этом не столько буржуазию, как отличный от него общественный класс, сколько слой интеллигенции, образованного общества. Он думал, что от сопряженно с народом культурный слой только может морализоваться, и вместе с тем требовал, чтобы образованные люди несли в народ свет знания. В буржуазии сильна рефлексия, в народной массе — инстинкт, благодаря чему народ, несмотря на беспорядочность и пороки, происходящие от беспомощности и бедности, носит в себе лучшие качества первобытной невинности, богатство чувств, доброту сердца и способность к самопожертвованию. Так как всякий инстинкт есть необходимое побуждение к действию, то опять-таки, по убеждению Мишле, только в народе живет настоящая способность к действию: образованные люди растрачивают всю свою энергию на рассуждения и разговоры, народ же скуп на слова, но зато, когда нужно, умеет действовать. В этом же качестве народа Мишле видел крепкий якорь спасения, главную основу лучшего будущего Франции. Этот же самый, так идеально понятый народ и является главным героем в книге о французской революции, написанной Мишле.

Первый том этого труда Мишле издал в 1847 году, т. е. перед самой февральской революцией, последний — в 1853, следовательно уже тогда, когда после кратковременного периода второй республики Франция во второй раз сделалась империей. Декабрьский переворот 1851 года ли-

шил Мишле кафедры, занимавшейся им тридцать лет в Collège de France, а за отказ принести присягу на верность новому владыке он потерял и свое место в Национальном архиве, где работал более двадцати лет. Между последующими его работами были две по истории революции: „Les femmes de la révolution“ и „Les soldats de la révolution“, по главным его трудом сделалось окончание „Истории Франции“ (1867 году), причем довел он ее до 1789 года. Наконец, в самом конце жизни Мишле предпринял „Историю XIX века“, доведенную им только до 1815 года.

Таким образом, Мишле был профессиональным историком, уже много поработавшим над изучением прошлого Франции, архивным деятелем, который имел легчайший доступ к неизданным документам, притом историком с склонностью к философскому освещению изучавшихся им эпох и соединившим последнее с публицистическою отзывчивостью на злобы дня. Его политическая позиция определяется его республиканскими и антиклерикальным демократизмом, проповедь которого он соединял с проповедью социальной любви, долга образованного класса перед народом, веры в свое отечество, как страну прогресса, справедливости и свободы. Любовь к народу должна была, по его убеждению, устранить „тот общественный разрыв“, который существует между верхними слоями и народной массой. Такой человек не мог быть ни в каком случае сторонником насилия и террора, идеализация же народа подсказывала ему желание снимать с народа вину в злодеяниях эпохи, чтобы переложить ее на деятелей революции из образованного класса. Нужно прибавить, что в то время Мишле далеко не был одиноким в литературной идеализации народа.

В личном характере Мишле при всем том наблюдалась своего рода „детскость“. Его необыкновенная впечатлительность, чувство жалости к униженным и оскорбленным, сентиментальная любовь к человечеству, вообще вся очень развитая эмоциональная сторона его психики отражались на его исторических трудах до такой степени, что Тэн как бы отказывался видеть в нем историка, скорее считая его поэтом, даже одним из величайших поэтов, почему и о его истории отзывался, как о „лирической эпопее Франции“. Действительно, у Мишле бывает много лиризма, а часто его чувствоoble-

кается и в совершенно риторические формы, что делает крайне трудным переводить многие места его сочинений на иностранные языки¹⁾). Вследствие этого можно говорить о недостатке научности в его „Истории французской революции“, особенно, когда Мишле начинает философствовать. У него не было того объективного спокойствия, с каким передавали события революции Тьер или Минье.

Труд о революции, написанный в таком субъективном духе и приподнятом тоне, не мог не производить сильного впечатления на читателей. У Мишле было и много поклонников, среди которых одним из последних был Жюрес, сам также автор большой истории революции, признающийся, что Мишле был одним из его вдохновителей.

Мы еще увидим, что Бюшез в своей „Парламентской истории французской революции“ отождествлял революцию с христианством, будто бы нашедшим в революции свое завершение. Бюшез даже прямо признавал себя католиком, противником реформации и просвещения XVIII века. Мишле не мог оставить такую точку зрения без возражения, при том антиклерикальном направлении, какое приняла его литературная деятельность в сороковых годах. Он прямо ставит христианство и революцию в резкую противоположность между собою. „Я, говорит он в самом начале своего труда²⁾, — я определяю революцию, как пришествие закона, воскресение права, воздействие справедливости, но спрашивается, совпадает ли или противоречит тот закон, который нам явился в революции, религиозному закону, ей предшествовавшему? Другими словами, была ли революция христианскою или антихристианскою? Исторически и логически этот вопрос нужно поставить раньше всех других. Он касается, он даже собою проникает те вопросы, которые считаются исключительно политическими. Все учреждения гражданского порядка, какие застала революция, или вытекали из христианства или были созданы по его образцам, получали его сальвацию“ (I, 49). Для Мишле христианство и революция — „два великие фактора, два принципа, два действующих лица“, которые он видит постоянно на великой исторической сцене (50). „Многие выдающиеся умы, продолжает он, в похвальном стремле-

¹⁾ Труд Мишле о революции — единственный не переведенный порусски.

²⁾ Цитируем по изданию 1887 года в девяти томах.

нии к успокоению и миру стали недавно утверждать, что революция есть завершение христианства, что она имела своею целью продолжить его и осуществить на деле все его обещания. Если это утверждение верно, то XVIII век, философы, предшественники и вожди революции ошибались и делали совсем не то, что хотели делать. Вообще у них была другая цель, отнюдь не завершение христианства“ (54). Мишле, однако, понимает их отношения, как более сложные. „Революция, говорит он, продолжает христианство и находится с ним в противоречии. Она в одно и то же время есть наследница и противница. В том, что они заключают в себе общего и человеческого, именно в чувстве общепринципа сходятся. В том, что составляет обособленную жизнь, в основной идее каждого из них они находятся в противоречии и во вражде. Они сходятся в чувстве человеческого братства. Это чувство, родившееся вместе с человеком, вместе с миром, присущее каждому обществу, тем не менее было расширено и углублено христианством. В свою очередь революция, дочь христианства, проповедовала его (это чувство) всем, всякому народу, всякой религии, существующим под солнцем. В этом все сходство. А вот и различие. Революция основывает братство на любви человека к человеку, на взаимном долге, на праве, на справедливости. Это единственная основа, и никакой другой не нужно. Для этого бесспорного принципа революция не искала сомнительной исторической основы. Она не выводила братства из общего родства, из преемственности поколений, которая от отцов к детям вместе с кровью передает солидарность в преступлении“ (56). Здесь Мишле имеет в виду учение о первородном грехе, тяготеющем над человечеством, и входит в довольно длинный разбор этого христианского догмата. Вместе с этим он говорит о догмате благодати, сопоставляя его с практикой старой монархии, именно сближая то и другое в том, что и здесь, и там мы видим привилегии немногих избранных среди массы отверженных: так подводятся у Мишле под одну категорию догмат о первородном грехе, следствия которого тяготеют над отцами и детьми, и наследственность общественных положений в сословном строе старого порядка. В этих сопоставлениях много произвольного, много прямых натяжек, как было их много и у опровергавшегося им

Бюшеза. Например, двойное значение слова „la grâces“ в смысле богословского понятия благодати, даруемой богом, и в житейском понятии милости, оказываемой королем, дает ему основание для сближения христианства, как религии, с монархией, как формой правления. Божественная монархия и монархия человеческая, говорит он, управляют только для своих избранных. „Где человеку найти убежище? На небе царствует одна благодать (la grâces), а здесь одна милость (la faveur)... Революция есть не что иное, как запоздалая реакция справедливости против правления милости (т. е. произвола, как ее понимает Мишле), и против религии благодати“ (62).

Эти соображения, занимающие все начало „введения“, могут служить характеристикой той философии, которую Мишле применяет к пониманию и оценке революции. Здесь берутся не факты, не реальные отношения, а принципы, абстрактные формулы, при чем понимание и христианства, и революции основывается не на всей сложности обоих явлений, а не сведении к некоторым идейным основам, из которых одни отвергают вероисповедный субъективизм Мишле, а другие соответствуют его субъективизму политическому. В качестве дейста и противника католического клерикализма он, так сказать, не приемлет христианства, а в качестве демократа и противника монархии, он, наоборот, преемлет революцию, которую и старается отмежевать от христианства, чтобы опровергнуть взгляд Бюшеза, находивший последователь в обществе.

Но тот же Бюшез, как было упомянуто и как об этом подробнее будет говориться впереди, отождествлял революцию с якобинизмом. Это направление революции для Мишле было совершенно неприемлемо. Вообще, признавая всю внутреннюю правоту за народом, противопоставляя ему политические партии, руководимые образованными людьми (lettrés), считая, что все доброе в революции шло от народа, все дурное — от отдельных честолюбцев, этих марионеток, вынесенных наверх движением народных волн, Мишле не мог быть вообще безусловным партизаном каких бы то ни было, говоря посовременному, интеллигентских направлений революции, менее всего мог быть сам якобинцем в душе. Принцип братства родит в его глазах христианство и революцию, но как-

раз то братство, которое проповедовали и практиковали якобинцы, глубоко претило всей натуре Мишье.

„Братство, братство! писал он в предисловии к первому изданию своего труда о революции. Еще мало только повторять это слово. Нужно, чтобы народ видел у нас братское сердце, и только тогда он пойдет за нами. Победа будет за братством любви, а не за братством гильотины... Братство, или смерть! восклицали террористы, но это было братство рабов. Зачем еще в виде жестокой насмешки присоединять к этому священное имя свободы? Братья, бегущие друг от друга, бледнеющие один при виде другого, протягивающие и отталкивающие мертвенную холодную руку!... Ужасное отвратительное зрелище!... Если что либо должно быть свободным, так это—братское чувство. Одна философия, основанная в последнем веке, сделала возможным братство. Философия нашла человека без права, как нечто не существующее, затерянное в религиозной и политической системе, основанной на произволе. И она сказала: сотворим человека и да будет он через свободу. Едва созданный он стал любить. И опять-таки посредством свободы и наше время, проснувшись от долгого сна, чтобы вернуться к своей истинной традиции, будет в состоянии, в свою очередь, продолжать великое дело. Оно не напишет в своем законе: стань моим братом или умри! Но искусно действуя на лучшие чувства человеческой души, оно сделает так, что все, нетрата напрасно слов, сделаются братьями“ (37).

Из приведенных отрывков можно видеть, как у Мишле расширился вопрос о революции, включением в него религиозного вопроса о братстве. У Тьера и Мишье на первом плане одна политика, одни принципы свободы и равенства, но и не у одного Мишле были привлечены к рассмотрению взаимные отношения христианства к французской революции с третьим членом революционного девиза: „свобода, равенство и братство“, потому что всем этим заняты были и Бюшез, и Луи Блан. Мишле, однако, расходится с ними. В предисловии к первому изданию он упрекал „партию свободы“ за последнее время в том, что в ней явилась мысль, „будто враги религиозной свободы могут стать друзьями свободы политической. Пустые схоластические distinctions, затмившие ее зрение. Свобода, это—свобода“ (34—35). Мы еще

увидим, что у тогдашних социалистических историков революции индивидуальная свобода была объявлена принципом противообщественным.

Вот все данные, биографические и психологические, чтобы понять, как должен был Мишле отнестись к революции. Остается еще сказать, как он работал. „Моя книга, писал он в предисловии к изданию 1868 года, родилась в архивах, я писал ее шесть лет (1845—1850) в том центральном складе, где был начальником два года, и окончил книгу в Нантском архиве, где воспользовался также драгоценными коллекциями“ (13). Далее он говорит, что ему постоянно приходилось поправлять „Монитёр“, за которым слишком много следовали Тьер, Бюшез, Ламаргин, Луи Блан: как никак, эта газета редактировалась владыками дня. Кроме национального архива в Париже, Мишле обращался еще в архивы Ратуши и профектуры полиции. В последнем он имел в руках протоколы 48 парижских секций, сгоревшие, как известно, в 1871 году. К сожалению, Мишле чрезвычайно редко цитировал свои источники, а когда и делал ссылки, то не приводил тех шифров, под которыми те или другие документы значатся в каталогах и хранятся в картонах и папках. Автор в предисловии 1868 года оправдывался от упреков в этом тем, что по датам событий легко справиться в источниках, но это совершенно неверно. Самому ему, столько лет ежедневно занимавшемуся в архиве, бывшему распорядителем в одной и наиболее важной его части, конечно, не трудно было разбираться во всех этих регистрах, картонах, связках, но не тем, которые приходили бы со стороны. Во всяком случае, в основу труда Мишле положены первоисточники, которыми другие не пользовались. Луи Блан, начавший работать над историей революции в одно время с Мишле, окончил свой труд девятью годами после него (1862), но, как известно, с 1848 года не жил в Париже, а работал в Лондоне, где в руках имел только печатный материал.

В этом же предисловии 1868 года Мишле сообщает и о тех исторических обстоятельствах, среди которых ему пришлось работать после революции 1848 г., о своих тогдашних настроениях. Конечно, пережитое не прошло бесследно для историка. В 1848 году люди стали как бы переживать и самую революцию 1789 года. Тогда многие отождествляли себя

с теньми прошлого: кто был Мирабо, Верньо, Дантон, а кто Робеспьер (стр. 4). „Мы, говорит еще Мишле, без сомнения, сохраняем и теперь свои симпатии к тому или другому герою революции, но мы лучше о них судим. Мы их видим всех вместе и протягивающими друг к другу руки, отнюдь не в оппозиции одних с другими“ (5).

Весь труд Мишле о революции разделяется на введение и на двадцать одну книгу, из которых первая начинается с выборов 1789 года, последняя кончается падением Робеспьера. Во вступительной главе Мишле говорит о средневековой религии и о старинной монархии, и в каком духе, мы видели. Пять десятков маленьких страничек (79—129), на которых дается характеристика дореволюционной Франции, наполнены слишком общим содержанием, касающимся не только политики монархии, начиная с Людовика XIV, но и писателей XVIII века, с постоянными лирическими отступлениями и повторениями одних и тех же мыслей о революции. Мишле не последовал примеру тех, которые рассказывали, хотя бы даже вкратце, „прелиминарии“ революции. Он начинает прямо с созыва Генеральных Штатов, этой, как он выражается, „настоящей эры рождения народа“, да и о выборах в штаты говорит очень коротко, едва упоминая о наказаниях и превеличивая единодушные нации. Он говорит об „однообразии наказов“, о том, что „все хотели одного и того же“, о „полном согласии без оговорок“: „с одной стороны была нация, с другой привилегированные, а в нации тогда еще не было ни малейшего различия (*aucune distinction possible*) между народом и буржуазией. Обнаружилось одно только различие между образованными и необразованными; одни первые говорили и писали, но передавали мысли всех“ (137). Мишле и здесь не останавливается на подробностях, а спешит перейти к моменту, когда „запоздавшая справедливость“, наконец, начала действовать. У него революция связывается с прошлым Франции посредством более чисто литературного, чем научного приема. Но по примеру своих предшественников он не идет далее термидорского переворота. Рассказав о казни Робеспьера и других в один день с ним, Мишле продолжает: „вдохнем, не будем смотреть. Довлеет дней злоба его. Мы не будем рассказывать, что за этим последовало. Наступила слепая реакция. Ужасное и смешное

борятся равными силами. Началась эта позорная комедия, выгодные убийства во имя человечности, мщение чувствительных людей, убивающих патриотов и продолжающих их дело, покупка национальных имуществ. Черная банда горячими слезами оплакивала родных, которых у нее никогда не было, резала своих конкурентов и нахрапом добывала декреты, чтобы покупать при закрытых дверях. Париж опять стал веселиться. Была, правда, голодовка, но Пале-Рояль был полон, на спектаклях были толпы народа. Потом открылись эти балы жертв, в которых распутство выставляло в оргиях свой фальшивый траур. По этой дороге мы дошли до громадной могилы, в которую Франция положила пять миллионов человек" (IX, 350—351). Революция кончилась, разразилась реакция (*la réaction éclate*). Ее историю Мишле обещает рассказать отдельно. Уже было упомянуто, что перед смертью он предпринял-было большую историю XIX века, которую начал с эпохи директории, так что она прямо примкнула к труду о революции.

В небольшом послесловии в конце IX тома, Мишле почувствовал потребность поделиться с читателем тем мнением, какое он имеет сам о своей книге, „относясь к ней хладнокровно“. „Всякая история революции, читаем мы здесь, до сих пор была существенным образом монархической. (Одна по отношению к Людовику XVI, другая—к Робеспьеру). Моя первая республиканская история, разбившая идолов и богов. С первой страницы и до последней у нее один только герой: народ“. Этот герой рисуется у Мишле любвеобильным, великодушным, справедливым, невиноватым в тех злодеяниях, ответственность за которые Мишле возлагает на честолюбцев, думавших руководить движениями и подчинявших его своим ложным теориям.

События от 5 мая 1789 года по 27—28 июля 1794 года рассказываются у Мишле подробно, рельефно, колоритно, с темпераментом зрителя, задетого зрелищем за живое. Временам, конечно, на сцене мы видим толпу, бушующую и казнящую своих недругов. Фулон и Бертье предаются смерти. „Вампиры старого порядка, замечает Мишле по этому поводу, принесли столько зла Франции, наделали его еще больше после своей смерти. Казнь этих людей как-бы реабилитировала их, виселица сделалась их апофеозом. Они стали интерес-

ными жертвами, мучениками монархии, легенда о них пойдет, разрастаясь патетическими фикциями. Бёрк сейчас их канонизирует и отправится молиться на их гробах“ (I, 294). Парижские насилия поставили Национальное Собрание в очень трудное положение: нельзя было оставить их безнаказанными, но нельзя было поручить королю, т. е., значит королеве, двору „меч, который народ разбил в их руках“. В обоих случаях произвол и „так хочу“ восстанавливались в пользу старой королевской власти или в пользу новой уличной (*la royauté de la rue*). Разрушали ненавистный символ произвола, Бастилию, но возникал новый в виде фонаря¹⁾. Что было делать? (295). Если бы королю поручили подавить беспорядки, под которыми можно было разуть многое, власть, конечно, прежде всего, наказала бы за величайший из беспорядков, взятие Бастилии (296). Собранию предлагали организовать муниципальный суд, который успокоил бы народ, но оно отложило это до будущего времени, а пока советовало народу иметь доверие к королю. В самый этот момент возникали новые опасности. „Собрание, говорит Мишле, было неправо; народ был прав“ (297). Старый порядок „еще не был мертвецом. Он получил сильный удар, был ранен; морально он умер, физически он был еще жив и мог воскреснуть. Неужели привидение покажется? в этом был весь вопрос, который интересовал народ, и который смущал его воображение... Здравый смысл выразился здесь в тысяче форм народных суеверий“ (298). „Воображение всех было в самом деле больно этой Бастилией“ (299). Мишле в живых красках передает все толки, слухи, страхи, соединенные с ненавистью, боязнью, любопытством, а тут еще голодовка усиливала нервность населения. Он прекрасно объясняет психологию народных волнений и происхождение метательных чувств в населении летом 1789 года, но нигде не приводит доказательств своего тезиса: „*L'Assemblée avait eu tort: le peuple avait eu raison*“. Кстати, какими лирическими тирадами пересыпает Мишле свой рассказ, можно видеть из следующего. По поводу крестьянских волнений 1789 года он изобретает феодальную башню, которая „проклиналась каждое утро, каждый вечер тысячу лет, может быть, и больше. Пришел день, когда она упала. Как ты медлил придти, великий день!..

¹⁾ На которой вешали „аристократов“.

воскликает Мишле. Сколько времени наши отцы тебя ждали, мечтали о тебе... Одна надежда, что их сыновья тебя увидят, могла их поддерживать; без этого они не хотели бы жить и умерли бы от горя. Я сам, их товарищ, работающий рядом с ними на ниве истории, позволившей мне пережить скорбное средневековье и все-таки от этого не умереть, неужели я вижу тебя, о прекрасный день, первый день избавления?.. Я жил, чтобы о тебе рассказать" (313). В таком же повышенном тоне повествует Мишле и о ночи 4 августа. Он верит в то, что здесь все было одним благородным порывом, что эта „чудесная ночь, рассеявшая бесконечный и тягостный сон тысячи лет средневековья“, покончила во Франции с общественными классами и „дала бытие только французам“: „depuis cette merveilleuse nuit plus de classes, des Francais“ (332). В этом событии он видит „первое чудо нового Евангелия, божественное чудо, самое подлинное“ (333).

Или вот еще такое характерное место. „К нам приходит одна религия, а две (что делать?) уходят: церковь и королевская власть. Феодализм, королевская власть, церковь, из этих трех ветвей старинного дуба первая падает 4 августа; две другие качаются; я слышу большой ветер в ветвях, они борются, они держатся, листья усыпают землю. Ничто не может сопротивляться. Пусть погибает то, что должно погибнуть! Не нужно сожалений, не нужно тщетных слез. То, что считается умершим сегодня, с какого времени, боже мой, умерло, конечно, остается бесплодным“ (стр. 336). Такими словами Мишле начинает рассказ о церковной политике Учредительного Собрания, затем прямо апострофируя духовенство 1789 г. за его грехи перед народом. „Уйдите из храма! восклицает он, между прочим. Вы были в нем для народа, чтобы дать ему свет. Уходите, ваша лампада потухла. Те, которые построили эти церкви, требуют их у вас обратно. Кто были они? Тогдашняя Франция, отдайте их Франции твердешней“ (338).

А в каких красках рисует Мишле поведение народа. „Что особенно будет удивлять лиц, знакомых с историей других революций, говорит он, напр., это — то, что в бедствующем и голодающем Париже, оставшемся без властей, было вообще очень мало серьезных насилий. Было достаточно одного слова, разумного замечания, иногда шутки, чтобы их остановить... Когда я думаю о нашем времени, столь слабом, столь свое-

корыстном, я не могу не восхищаться тем, что крайняя нищета совсем не сломила этот народ, не вырвала у него сожаления о прежнем рабстве. Они умели страдать, умели голодать. Великие венцы, совершившиеся в столь короткое время, подняли в народе мужество, вселили во всех новую идею о человеческом достоинстве... Явление, оставшееся мало замеченным: несмотря на те или другие насилия народа, его чувствительность увеличилась; он не мог уже хладнокровно видеть жестокие казни, которые при старом порядке были для него зрелищем... Сердце человека открылось для юного жара нашей революции. Оно быстрее билось, было более страстным, чем когда-либо, более бурным, но и более великодушным... Дары детей, женщины, щедрость бедняка, лепта вдовицы, маленькие вещи, но столь великие перед лицом отечества, перед богом... Да, бедняк! бедняк! Кто расскажет о его жертвах!.. Благородная и великодушная нация. Для чего нужно, чтобы мы так мало знали эту героическую эпоху. Страшные насильственные, удручающие вещи, последовавшие потом, заставили забыть массу самоотверженности, ознаменовавшей начало революции. Явление более великое, чем всякое политическое событие, возникло тогда в мире: мощь человека, через которую человек становится богом, мощь жертвы увеличилась" (346 — 349).

Все движение, начавшееся в народе, находит в Мишле апологета. Так было и в движение 5 — 6 октября 1789 г., за которыми последовало переселение короля и Национального собрания в Париж. Народ один нашел выход из создавшегося положения, отправившись в Версаль за королем. „Не нужно, говорит Мишле, искать здесь действие партий; они действовали, но сделали очень мало (377). Что есть в народе наиболее народного, т. е. наиболее инстинктивного, наиболее вдохновенного, это, конечно, — женщины“. Им и принадлежит инициатива привести короля в Париж, чтобы он жил с народом. „Наивное понимание, но глубокое понимание“. Если королевская власть не есть тирания, нужно, чтобы между королем и народом был брак и общность по средневековому выражению: „за одним хлебом и за одним горшком“ (378). Мишле по этому случаю преклоняется перед французскими женщинами, которым позднее посвятил особую работу. „Такие вещи, говорит он, можно видеть только во Франции. Наши

женщины производят храбрых и сами таковы. В стране Жанны д'Арк можно назвать сотню героинь... Женщины были в авангарде нашей революции. Не нужно этому удивляться: они больше страдали" (386). И Мишле продолжает дальше в этом роде о женщинах, желая прямо возбудить сострадание к тягостям женской доли. В рассказе о том, что делалось в октябрьские дни, Мишле особенно выдвигает вперед роль женщин в этом событии. Многого его трогает в истории октябрьских дней, в одно и то же время „веселых, печальных, грубых, радостных, мрачных“. Эта революция, как он называет все движение парижан на Версаль, была „необходима, естественна, законна“ и вместе с тем, „стихийна (spontanée), непосредственна, поистине народна“ и „принадлежала особенно женщинам, как революция 14 июля принадлежала мужчинам. Мужчины взяли Бастилию, женщины взяли короля“ (423). Также с проникновенным чувством Мишле описывает любовь народа к королю, великодушие народа, его стремление к единению. „Пусть на вечные времена знают, восхлищает он, что в это плохо известное время, искаженное ненавистью, сердце Франции было полно великодушия, милосердия и прощения“ (II,1). Все это настроение пропало вследствие поведения короля, королевы, двора, эмигрантов, духовенства.

В ряде глав третьей книги, где рассматриваются события с октября 1789 до июля 1790 года, Мишле особенно останавливается на роли духовенства, взывавшего к гражданской войне, возбуждавшего религиозный фанатизм, разжигавшего социальные антагонизмы. В этом отношении Мишле сделал особенно много, даже и не в сравнении со своими предшественниками, мало интересовавшимися религиозною борьбою революции. Он не одобряет поведения Национального Собрания в этой истории. Что делало оно во время событий, совершавшихся в стране? „Оно шло за духовенством в процессии праздника божия тела. Его более, чем христианская, кротость во всем этом поразительном зрелище“ (II,117). И совершенно правильно, с другой стороны, Мишле называет гражданское устройство духовенства, созданное Собранием, „делом слабым и фальшивым“. „Не было, поясняет он эти свои слова, ничего губительнее для революции, как не знать самоё себя в религиозном отношении, не знать, что

в себе самой она заключала религию. Она себя не знала и не более того знала христианство; она не знала, была ли она с ним сообразна или ему противоположна, должна ли она была к нему возвратиться или же идти вперед". Она вообразила, что должна была „осуществить обещания евангелия, что призвана была реформировать, обновить христианство“, и получила только то, что „священники снова сделались священниками, врагами революции“. Епископы ради сохранения за собою всех благ земных заставили священников сделаться мучениками, в то же время представив народу каждого духовного, расположенного к революции,— а таких была масса,—как человека, продавшегося из-за мирских выгод (II, 118). Впрочем, не все мысли Мишле в этом вопросе можно считать верными, потому что, называя гражданское устройство духовенства хартией свободы для церкви и клира, он не принял в расчет, что тут было вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь религиозного общества (II, 124). Во всей оппозиции Национальному Собранию он видит, однако, разлад и недостаток веры. „Революция, говорит он, все более и более гармоничная и внутренне согласованная, с каждым днем все более является тем, чем она есть, религией, а контр-революция, разрозненная и внутренне несогласованная, тщетно предьявляет старую веру, она не есть религия. Ничего цельного, никакого определенного принципа. Ее сопротивление,— колеблющееся и сразу в разных направлениях. Она идет, как пьяный, шатаясь направо и налево. Король стоит за духовенство и отказывается поддержать его протесты. Духовенство нанимает, вооружает парод и требует у него десятину. Дворянство, офицеры ждут приказов от эмиграции и в то же время от революционных властей. Одной вещи не хватает всем, чтобы их действие было простым, сильным, вещи, которой много в другой партии: веры. Другая партия, это — Франция; она имеет веру в новый закон, в законную власть, в Собрание, истинный голос нации. На этой стороне все — свет, на другой все двусмысленно, неверно, темно“ (II, 135). Только здесь, в нации „история, реальность, положительность, прочность, а остальное—ничто. Тем не менее это ничто (ce néant) нужно было длинно рассказать, оговаривается Мишле. Зло именно потому, что оно—исключение, неправильность, требует, чтобы быть понятым, подробной

и мелочной разработки. Добро, наоборот, все естественное, которое гладко идет само собой, нам почти известно наперед по соответствию своему, с законами нашей природы, по вечному образцу добра, который мы носим в себе" (II, 137).

Приступая, после рассмотрения всех сопротивлений к рассказу о том, как строилась новая Франция, Мишле доказывает, что везде закону предшествовало спонтанное действие населения. Он замечает, что как-раз менее всего привлекали к себе внимания и даже остались неизвестными „великие национальные факты, совершенные громадными, непобедимыми и потому отнюдь не насильственными силами“. Обыкновенно рассказывают, что и как говорилось в Собраниях, и приводят законодательные меры, но факт-то в том, что „в этом чудотворном году, идущем от июля (1789) до июля (1790), закон везде предварялся стихийным порывом жизни и действия, — действия, которое, среди всяких частных беспорядков, содержит, однако, новый порядок и наперед осуществляет закон, имеющий сейчас быть созданным. Собрание думает, что оно ведет, а на деле оно идет по следам... То, что делает Франция, оно регистрирует более или менее точно, формулирует это и пишет под ее диктовку" (II, 138). Это — „важный момент, бесконечного интереса, когда природа вовремя себя находит, чтобы не погибнуть, когда жизнь, в виду опасности, следует инстинкту, лучшему своему руководителю, и в нем находит свое спасение. Устаревшее общество, в этом кризисе воскресения, дает нам присутствовать при происхождении вещей. Публицисты выдумывали колыбель наций; зачем было выдумывать? Вот она. Да, это — колыбель Франции, которую мы имеем перед глазами... Бог да сохранит тебя! О колыбель! Пусть он спасет тебя и поддерживает на этих безбрежных водах, где я с содроганием смотрю на твое плавание по морю будущего" (II, 139).

Просто говоря, речь у Мишле идет о той организационной работе, которая совершалась на местах, где новый порядок создается как-то сам собой, возникают новые власти из народных движений освобождения и самообороны, подготавливаются будущие общинные и областные учреждения. На всех обломках старого воздвигалась новая муниципальная власть. „Она одна стояла на ногах между разрушенным старым режимом и новым, еще бездейственным. Король был

обезоружен, армия дезорганизована, штаты, парламенты разрушены, духовенство и дворянство снесены. Само Собрание, видимая великая сила, более приказывало, чем действовало; это была голова без рук. У него было сорок четыре тысячи рук в муниципалитетах. Оно почти во всем отдалось двумстам тысячам муниципальных должностных лиц... Как воспитательное средство для народа, как посвящение его в общественную жизнь, это было достойно удивления" (II, 146). Если Франция 1789 года почувствовала себя свободной, то Франция 1790 г. признала себя единым отечеством. Это была новая религия. Мишле подробно рассказывает о федерационном движении в провинциях, восхищался им, даже трогаясь до глубины души, опять преклоняясь перед народом, еще раз отмечая роль женщин в этом движении к национальному объединению. „Различия классов, состояний, партий, говорит Мишле, были забыты" (II, 158), — и пишет новые страницы патриотической лирики. Франция праздновала свое единство и история дал восторженное описание ее патриотических торжеств.

Но в таком случае почему же все это не упрочилось, и „новая религия" оказалась не в состоянии вполне сложиться?

Революция охватила одинаково и горожан, и крестьян. „Городской пролетариат, составляющий громадное затруднение в наши дни, говорит Мишле, тогда едва существовал, кроме Парижа и нескольких больших городов, где сосредоточился голодающий люд. Ненужно помещать в то время, ни видеть тридцатью годами раньше их рождения эти миллионы рабочих, родившихся после 1815 года. Таким образом, препятствие между буржуазией и народом было минимальным. Первая могла без страха броситься в объятия другого. Эта буржуазия, продолжает Мишле, пропитанная Вольтером и Руссо, была в большой дружбе с гуманностью, была более бескорыстной и великодушной, чем та, какую создал индустриализм, но она была боязлива, и нравы, характеры, образовавшиеся при этом жалком старом порядке, неизбежно были слабыми. Буржуазия трепетала перед революцией, которую произвела и попыталась назад перед собственным своим делом. Страх ее отуманил, погубил, гораздо более, чем интерес. Не нужно было глупо поддаваться впечатлению от действий толпы, у которой заружились головы (au vertige des foules), пугаться, отступать

от этого поднявшегося океана. Нужно было в него окунуться. Иллюзия страха тогда исчезла бы. Издали это был океан с грозными и опасными валами, а вблизи это были люди и друзья, братья, протягивавшие вам руки. Не представляют себе, сколько в это время существовало в народе старых привычек уважения, почтения, доверия, благоприятных для образованных классов. Он видел среди них, в этот первый момент, своих ораторов, своих адвокатов, всех борцов за его дело. Он шел к ним с чутким сердцем" (II, 188). Впрочем, Мишле, слишком не обещает, отмечая, что очень многочисленная часть буржуазии бросилась в одно движение с народом. Ведь безразлично и монтаньяры, и жирондисты целиком принадлежали буржуазии, а патриотические общества, в том числе и якобинский клуб до 1793 года, по видимому, не принимал у себя людей необразованных классов. К этой революционной буржуазии, к писателям, журналистам, художникам, адвокатам, врачам, священникам и пр. прибавилось еще множество буржуа, приобретших национальные имущества. „В то время, по словам Мишле, когда одна часть буржуазии была развращена эгоизмом и страхом, другая была ожесточена ненавистью, и, как искаженная в своей природе, утратила всякое человеческое чувство. Народ, без сомнения, склонный к раздражению и к насилию, но не питавший в себе систематической ненависти, гораздо менее утрачивал свою природу“. Обеим частям буржуазии, думает Мишле, нужно было быть иными: одной не столь робкою, другой не столь озлобленной (II, 189), и какою бы тогда прочной была революция, и как Франция тогда избежала бы падения 1800 года (II, 190)! Это были внутренние причины неуспеха, но были и внешние: их Мишле усматривает в „упорной ненависти, какою революцию преследовали на всей земле священник и англичанин“ (II, 205). То были представители двух лицемерий: „лицемерия авторитета и лицемерия свободы, одним словом, две формы Тартюфа. Священник действовал преимущественно на женщин и на крестьянина, англичанин—на буржуазные классы“ (II, 194). От обоих врагов шло сплетение лжи и клеветы, распространявшихся за границей со слов эмигрантов, даже таких лиц, как Мунье. Книгу Бёрка Мишле называет „свирепой и грозной“, столь же проповедовавшей насилие, как и писания Марата (II, 200), „жалкой декла-

рацией (201), действие которой на англичан было, однако, громадным... Простой и легковерной толпе, женщине и крестьянину, священник передавал мысли средних веков, полные смятения и дурных снов. Буржуазия пила английский опиум со всеми ее ингредиентами эгоизма, благосостояния, комфорта, свободы без жертв" (205—206).

Опасности грозили революции отовсюду. К их числу Мишле относит сближение конституционалистов с роялистами, чтобы покончить с революцией, начавшей надоедать, раздражать. Лафайет, принимавший в этом участие, не отделался совсем от „идей, предрассудков, привычек своей касты“ (207), а у торговцев были свои причины быть недовольными революцией (206—208). Мирабо тоже рисуется не вполне обращенным. В это самое время Европа замышляет контр-революцию. Для спасения революции нужна была „обширная и сильная ассоциация надзора (surveillance) над королем, над его агентами, над священниками, над дворянами. Якобинцы, говорит Мишле, не сама революция, а око для наблюдения, голос для обвинения, рука для нанесения ударов“. Он находит несправедливым, по отношению к этой крупной ассоциации, „полагать ее происхождение“, сосредоточивать всю ее историю в парижском обществе якобинцев. Оно, смешанное более, чем какое-либо другое, с нечистыми элементами, более даже дерзновенное, мало разборчивое в выборе средств, часто толкало своих сестер, провинциальные общества, покорно за ним следовавшие на маккиавелические пути“ (231—232). Не одни обстоятельства, замечает Мишле, создали эти общества: „их происхождение зависит также от разновидности характера. Якобинец, это — особый и оригинальный вид. Многие люди рождаются якобинцами“ (232). Мишле указывает на пестрый состав этих обществ, на то, что в них в это время (т. е. в 1790 г.) было мало людей из народа, совсем не было бедноты. Здесь преобладали люди среднего ранга: адвокаты, обижавшиеся на судей, мелкие ходатаи по делам, фельдшера, хотевшие стать адвокатами или докторами, священники, завидовавшие епископам (235). Все это объединяло, спланивало, но у „этих маленьких червей“ не было определенного символа веры, ибо в их „Credo“ соединялись, без их ведома, самые противоречивые принципы (236). Мишле дает здесь общую характеристику якобинцев,

подчеркивая их разрыв с духом старой Франции, с его доверчивою и почтительною вежливостью и с его чувствами чести, хотя бы и соединенным с разными предрассудками (237). В борьбе со священниками, пользовавшимися исповедью и доносами, они „смело объявили себя друзьями доносительства, как первой обязанности гражданина“, стали наблюдать друг за другом, делать тайные и явные доносы, „создали для блага Франции легион, целый народ публичных обвинителей“. Отсюда развилась „чрезмерная, болезненная недоверчивость, тем бо́льшая еще подозрительность, чем менее было возможности узнать подноготную (238). Все тревожило, все казалось подозрительным“. При тогдашнем положении Франции Мишле считает все эти страхи естественными и находит в этом оправдание для якобинцев. Против одной инквизиции они выдвинули другую. Начинается борьба между конституционалистами, тяготеющими к роялистам, и якобинцами, — борьба, в которой „обе стороны пускают в ход силу, насилие, террор. Лафайет наносит свои удары солдатами Буйлье, якобинцы — бунтами. Сколько веков, восклицает Мишле отделяют нас от июльского праздника Федерации! Кто этому поверил бы, что только два месяца... Мы входим, продолжает он, в мрачное время заговоров, пасилий. Все становится темным. Горячая, беспокойная печать, это чувствуется, идет ощупью. Она прищуривается, ищет, ничего не видит, угадывает. Инквизиция якобинцев, начинающая действовать, дает слабое и неверное освещение, которое в одно и то же время как будто и светит, и затемняет“ (245).

Для Мишле в эти годы во Франции было только две действительные силы: одна — революционная, якобинцы, другая, которая имела от революции свою выгоду, и, казалось, могла бы легко с революцией примириться, — низший клер, масса в восемьдесят тысяч священников. Рассказывая о борьбе принципов в Собрании и в якобинском клубе еще в 1790 г., историк уже теперь выдвигает вперед Робеспьера, который, как политик, стремился опираться на обе эти силы, „уверенный, что тот, на чьей стороне будут якобинцы и священники, будет близок к тому, чтобы иметь все“ (272). Сами якобинцы представляются у Мишле чем-то священническим (*quelque chose du prêtre*) „по своему корпоративному духу, по своей горячей и сухой вере, по своему жесткому инквизиторскому

любопытству. Якобинцы, говорит Мишле, образуют в своем роде революционный клир, а Робеспьер мало по малу делался его главою. В этой роли он оказал замечательную осторожность, проявляя мало инициативы, выражал собою якобинцев, был их органом, никогда их не опережал" (174).

Якобинцы кажутся Мишле „обществом уравновешенности“ сравнительно с другим клубом, с кордельерами, этой „сивиллиной пещерой революции, где она бредила (eut son délire), имела свой треножник, своего оракула“ (177). Устроившись в здании монашеского ордена кордельеров, эти революционеры, „как и средневековые, имели абсолютную веру в инстинкт простых людей и только, вместо божественного озарения, называли его народным разумом“. Их гений, совершенно инстинктивный и самобытный, то вдохновенный, то одержимый, глубоко отличает их от энтузиазма с расчетом (calculé), от мрачного и холодного энтузиазма, характеризующего якобинцев“ (278). Это был, как известно, клуб более простонародный, но вместе с тем и какой-то клан (tribu) очень сильных индивидуальностей в лице ряда журналистов Марата, Демулена, Эбера и не хотевшего писать, а много говорившего Дантона. Мишле с симпатией говорит о народном духе кордельеров. Они всегда смешивались с народом, были в общении с толпою, „верили в народ, верили в их власть над народом. „Они обладали тремя революционными силами и как-бы тремя признаками громового удара: сотрясающим и гремящим голосом, заостренным пером и неугасимую яростью,— Дантона, Демулена, Марата“. Но у них Мишле отмечает неспособность к организации. „Народ представлялся им весь в каждом человеке. Они помещали абсолютное право суверена в одном городе, в одной секции, в простом клубе, в отдельном гражданине“ (280). Мишле набрасывает здесь характеристики выдающихся деятелей клуба, характеристики, которые много потеряли бы в пересказе. При том же их роль была еще впереди.

В 1791 году Мишле уже видит начало отречения революции от своего принципа: свобода топчет ногами права свободы, и раздается призыв к силе. Но откуда он идет? Это, отвечает Мишле, наиболее образованные люди, юристы, врачи, литераторы, писатели, это люди, которые, подстрекая слепую толпу, хотят решать вопросы духа материальным дей-

ствием" (310). „ Несмотря на все излишества и преступное легкомыслие Марата, видимая искренность его негодования против всякого зла " очень заинтересовала Мишле, признаётся он сам, и заставила его заняться этим „странным человеком" на основании его собственных писаний (311). Из ряда страниц, на которых идет речь о Марате, выхватим только небольшое количество строк, говорящих сами за себя. „Проблески здравого смысла у него были редки. Гораздо чаще среди его яростных криков замечаются приступы шарлатанства, бредового хвастовства, на которые может только отважиться сумасшедший (fou)... Самые френетические его упоения были священными, его кровожадная болтовня, слишком часто смешанная с вероломными донесениями, которые он списывал без разбора (jugement), принимались за изречения оракула. Впредь он может полным ходом идти к абсурду. Чем более он сумасшествует (plus il est fou), тем более ему верят. Это титулованный шут (fou) народа: толпа ему смеется, слушает его, любит его и верит только своему шуту. Он ходит с закинутой назад головой, гордый, счастливый, улыбающийся во время самой большой ярости. То, чего он добивался в течение всей своей жизни, у него теперь есть; все на него смотрят, говорят о нем, его боятся... Вчера великий гражданин, сегодня провидец (voyant), пророк; лишь бы сделаться ему еще более сумасшедшим, этот провидец сойдет и за бога" (322, 333, 334). Но за Маратом шли и другие журналисты. Между прочим, Мишле говорит, что „причины личного свойства, часто очень мелкие, жалко человеческие, содействовали превращению их всех в насильственников. Не будем краснеть, прибавляет Мишле, говорить это" (335).

„Чтобы понять, читаем мы далее, каким образом самый цивилизованный народ на другой день после праздника Федерации, когда сердца казались исполненными братских чувств, мог так быстро пойти по пути насилий, нужно было бы быть в состоянии исследовать глубину неведомого океана, океана народных страданий" (339). Первым результатом насилий был отъезд уже не дворян, а просто богатых или зажиточных людей, отнюдь не врагов революции, но просто ею напуганных. „То, что оставалось, не смело ни пошевелиться, ни что либо предпринять, ни продавать, ни покупать, ни фабриковать, ни расходовать". Деньги спрятались, работа

остановилась, и революция, открывавшая дорогу перед крестьянином, закрывала ее для рабочего, который шел на трибуны Собраний, в клубы и принимал участие в смутах, оплачивавшихся или не оплачивавшихся. При таких обстоятельствах Мишле признаёт громадность ответственности якобинцев, которые должны были сдерживать страсти, избегать террористических грубостей, создавших революции бесчисленных врагов (340), но они неловко поступали, как-раз наоборот. „Якобинцы, прибавляет он, словно выступили как наследники священников, как подражатели их раздражающей нетерпимости, благодаря которой духовенство вызвало столько ересей. Они смело пошли за старым догматом: „вне нас нет спасения“, и кроме кордельеров, которых оставили в покое, принялись преследовать другие клубы (341). Грубая война якобинцев, еще не бывших республиканцами, против монархистов, презрение к порядку и к законности, „это предвкушение террора, чего нельзя было бы извинить и у фанатиков“, практиковались политическими деятелями, устроившими „инквизицию без религии“ и бывшими тем более беспокойными, что сами были в подозрении (348). „Революция вчера была религией, сегодня она делается полицией“, замечает Мишле, — полицией, которая становится „машиной для умножения друзей контр-революции“ и во Франции, и в Европе, где имя Франции сделалось ненавистным. Настоящий принцип справедливости, сделавший революцию, заменился другим — общественным спасением, погубившим Францию и приведшим ее к военной тирании (351). Учителя спасения народа „должны были бы его, по крайней мере, спросить, желает ли он быть спасаемым... Что сказали бы они, эти спасители, если бы народ ответил: я хочу погибнуть, но остаться справедливым. Мирабо, сказавший так, был здесь органом самого народа, голосом самой революции. В этом слове, среди всех его недостатков, его не погибающая слава“ (352).

„Дух Мирабо, читаем мы в другом месте, был совершенно противоположен духу якобинцев. Он не мог подчиниться игу этой посредственности (*esprit moyen*), которая, не имея ни нужды в таланте избранной натуры, ни увлечения народа, его наивного, глубокого инстинкта, „требует от всех какого-то среднего уровня“. Средний класс, буржуазия, продолжает Мишле, самая беспокойная часть которого волнова-

лась в клубе якобинцев, выступал на сцену (avait son avènement). В сравнение с идолом уже уходящим, с Лафайетом, и идолами, только еще имевшими придти, т. е. с жирондистами и монтаньярами, Мирабо рисуется нашему историку могучим атлетом, стоящим на берегу в позе борца с океаном во время его прилива, с океаном посредственности (365). Он сам не мог бы точно определить, с чем он боролся, но во всяком случае не с народом, не с народным правлением, а в республике он только выиграл бы, сделавшись первым гражданином (386). Отметим, что отзыв Мишле о Мирабо вообще самый восторженный.

Итак, по представлению Мишле, во Франции столкнулись две нетерпимости—церковная и якобинская, борьба между которыми только возрастала, а во время этой борьбы король и королева только и делали, что обманывали всех. В III томе, где рассказаны события, главным образом, от попытки короля бежать до бойни на Марсовом поле, события столь драматического характера, Мишле не забывает отмечать, как реагировал народ на все эти события, и не раз говорит о поведении женской половины населения Парижа. Он посвящает две главы (4 и 5 книги пятой) знаменитым дамским салонам. В 1791 году, когда партии, как выражается Мишле, сделались религиями, одна „набожной и роялистской идолатрией, другая республиканским идеализмом“, женщины, говорит он, менее нас испорченные софистическими и схоластическими привычками, шли много впереди мужчин в обеих религиях. Трогательно видеть, как среди них не только чистые, безупречные, но даже наименее достойные, подчинялись самому благородному порыву к бескорыстной красоте, делали родину подругой сердца, вечное право—своим любимым“ (II, 125). В 1791 году женщины царствуют, благодаря чувству, страстности, а также нужно сказать, своей инициативе (II, 127). Мужчины же чувствовали себя утомленными, когда г-жа Ролан вдохнула в них свежесть чувств и действительное мужество (II, 152, 153).

В этой части своего труда Мишле следит за тем, как возрастало республиканское направление и как в него вовлекался народ. На деле, однако, была выработана монархическая конституция, которую Мишле не анализирует, а только коротко характеризует. Королевская власть была в ней лишь

„величественною бесполезностью“, хотя и с „раздражавшим и вызывавшим“ суспенсивным вето, была какою-то великолепной, но устарелой мебелью, неизвестно для чего оставленной. Отняв у короля способность действовать, конституция не дала ее народу: в этой „обширной машине агитация была везде, действия не было нигде“ (II, 242). Эта конституция не была ни буржуазной, ни вполне народной, потому что при тогдашнем цензе могло быть три-четыре миллиона избирателей, т. е. ценз был „совершенно иллюзорным, если хотели основать буржуазное правление“ (III, 243). А рядом во всей Франции распространялась и укреплялась якобинская ассоциация: Мишле уже „замечает на вершине этого громаднейшего здания из тысячи ассоциаций бледную голову Робеспьера“ (III, 245). Он часто, даже очень часто критикует „ошибки Учредительного Собрания, его извилистые и достойные обвинения пути, на которые увлекали его вожаки“, но это не мешает ему признать, что „это великое Собрание оказало услугу человеческому роду“. Мишле даже считает себя неправым перед Собранием, что, говоря о его интригах, не сказал ничего о его работах, а говоря о главах партий, о вожаках, промолчал об остальных деятелях, просвещенных, скромных, беспристрастных, работавших в комитетах, голосовавших в заседаниях (III, 251). Действительно, все это отсутствует в труде Мишле. Он рассказывает, описывает, размышляет, но не излагает и не анализирует ни законов, ни учреждений, ни создававшихся ими реальных отношений. По отношению к неприсяжному клиру Мишле находит Собрание слишком мягким, а как-раз главная сила роялизма была в действии этой части духовенства на народ (259). „Ничто, по словам Мишле, не может дать понятия о глухом и сильном (violente) преследовании, жертвой которого была революция, казавшаяся госпожею положения (261), со стороны духовенства, отстаивавшего папскую и королевскую непогрешимость, т. е. „понтификальную и монархическую инкарнацию“ абсолютной власти (260). И католический фанатизм, и революционный энтузиазм поддерживались известными материальными интересами (286 и сл.). Распродажа национальных имуществ, которую Мишле рассматривает только с этой точки зрения, а не со стороны экономической истории, вообще у писателей того времени, стоявшей на заднем

плане, — создавала новый класс приверженцев революции. „Якобинцы делаются покупателями, покупщики — якобинцами“, и в их обществах царит новый дух: „они отвергают умеренных, полу-революционеров, людей уже утомленных революцией, и заменяют их двумя категориями очень горячих людей“ (73), а именно дельцов (*hommes d'affaires et d'intérêt*) и идейных патриотов, которые к прежней инквизиции, как средство спасения, присоединяют акквизицию церковных имений“. Были именно, такие, которые покупали, как-бы только исполняя долг перед революцией (274).

История Учредительного Собрания рассказана в первых пяти „книгах“, составляющих три тома, к концу последнего из которых Мишле присоединяет статью „о методе и духе“ своего труда. Он объясняет разницу между третьей и четвертой книгами тем, что здесь совершился кризис, прошла грань между светлой и мрачной полосами (281). Свой труд он сравнивает с двумя маяками, с которых наиболее темные и узкие улицы Парижа освещались бы электрическим светом: один маяк, это — федерации, другой — клубы (282). Здесь много новых повторений сказанного, столь вообще частых во всем труде, есть и полемика с другими историками революции, с Бюшезом, с Ламартином, с Луи Бланом, встречающаяся и в других местах. История Законодательного Собрания изложена в двух „книгах“ (VI и VII), составляющих томы четвертый и половину пятого. Здесь к внутренней политике присоединяется внешняя, которая оказывала такое влияние на внутреннюю.

Главное содержание шестой „книги“ — национальный порыв (*élan*) против внешнего и внутреннего врага, при чем обнаружилось, что центральной фигурой, около которой сосредоточивались все вообще враги, был король; его низвержение нужно было для спасения Франции. Так сам Мишле намечает тему „книги“ (IV, 11—12). Здесь опять в самом же начале, противоположение одной Франции, читающей и разговаривающей, другой Франции, ничего не читающей и мало говорящей, но работающей: первая думала, что войны не будет, а вторая, трудящаяся и молчаливая, даже готовилась к войне. Война зрела в народной массе, в 1791 году выбиравшей депутатов, и ни пресса, ни клубы, думает Мишле, не имели большого влияния на народное движение, „вполне

наивное и спонтанное" (IV, 17). Движение началось с варенского бегства, т. е. с конца июня 1791 года. „Франция этого года, говорит Мишле, являлась юной и чистой, как дева свободы. Мир был в нее влюблен. С берегов Рейна, из Нидерландов, с Альп ее звали, умоляя придти. Ей оставалось только переступить границу, и ее встретили бы, стоя на коленях. Она не приходила, как нация, она приходила, как справедливость, как вечный Разум, ничего не требуя от людей, кроме осуществления их лучших мыслей, доставления торжества их праву. Священный день нашей невинности, кто тебя не пожалеет! восклицает Мишле. Франция еще не вступила на путь насилия, ни Европа — на путь ненависти и зависти. Все это изменится с конца 1792 года, и народы тогда обратятся против нас со своими королями" (IV, 20—21). Так опять восторженно начинает Мишле, чтобы потом снова спасти с тона. Король обратился к иностранным государям, но мало любил эмигрантов, душой и сердцем принадлежа духовенству. „Реальный пункт, из-за которого он был в глупом, непримиримом разладе с революцией, это был вопрос о священниках" (IV, 34—35). Неприсяжное духовенство было „сердцем и силою, всенародною силою контр-революции. Страшное в провинциях, оно было слабо в Париже", который „объяснял тягостное продолжение революции сопротивлением священников и начал смотреть на них, как на внутренних врагов" (IV, 36). Клерикальная партия царила в хижинах и в королевском дворце. „Она пользовалась королем сразу двояким образом, как кающимся на исповеди перед духовником, и как мучеником, как предметом легенды в проповедях народу... И именно из тесного единения короля и священника Франция, наконец, поняла, что король, это был враг" (IV, 38). Не то, значит, по Мишле, что король был в сношениях с иностранцами, как принято было вообще думать, было причиною вражды к королю, а то, что он был в союзе с клиром,—точка зрения, понятная при общем взгляде Мишле на революцию. С этой точки зрения он очень подробно рассказывает историю революции в папском Авиньоне с ее ужасными убийствами. „Их следствия были неисчислимы, говорит он. Они создали против невинной Франции жестокие обвинения. Революция шла в мир с распростертыми объятиями, напвая, любящая и благотворительная,

бескорыстная, по истине братская“, а авиньонские ужасы заставили всех от нее отшатнуться (IV, 100).

О том, как вспыхнула война, бывшая делом жирондистов, Мишле рассказывает подробно, в нескольких местах, характеризуя самую эту партию. „Любезная и великодушная молодежь, которая должна была жить так мало! восклицает здесь он. Большинство их было рождено для сладостных и блестящих Муз. Но само время было войной... Их положение сообщало им, я не знаю, что-то беспоконное, тревожное, какую-то политическую слепоту, которые бросали их в массу ошибок и очень принизили бы их в истории, если бы они не поднялись в обаянии великих теней смерти“ (IV, 41). „Жирондисты, читаем мы еще, хотели внешней войны, якобинцы—войны с изменниками, с внутренними врагами. Жирондисты хотели пропаганды и крестового похода, якобинцы внутренней чистки, наказания дурных граждан, подавления сопротивлений путем террора и инквизиции“ (IV, 124). „Жиронда была дочь—войны; это война ее создала... У Жиронды был порыв, громадный импульс шестисот тысяч добровольцев, готовых идти в поход; она имела свои народные машины, которыми она побивала фейльянов и якобинцев“. Под этим Мишле понимает „фабрикацию пик и красный колпак“. Мечем, раз он вынут из ножен, Жиронда думала воспользоваться двояко: против королей, одним ударом сокрушив трон, а острие приставить к горлу внешнего врага, который позади себя увидел бы восставшие народы (133). В отношении к королю он обвиняет Жиронду в двоедушии (*duplicité*), составлявшей ее слабую сторону, в лицемерии, делавшем ее неправую (138). Борьба жирондистов и якобинцев по поводу войны дает историку повод коснуться нападения Робеспьера на „философию“ и защиты ее красноречием Бриссо, именно обвинения первым жирондистов в том, что они ставили себя выше народа (171), хотя сами же якобинцы, не доросшие до философии, стояли тоже над народным инстинктом (173).

А народный инстинкт продолжал действовать. „Восстание 20 июня предупредило несправимого короля старого порядка, друга священников, 10 же августа низвергло друга заграницы, друга врагов... Когда пришел час, здравый смысл народа, инстинкт спасения, необходимостью, вытекавшая из положения, сразу решила событие“, прибавляет Мишле о

20 июня (226). Он подчеркивает мирный, безобидный, сначала, характер этого движения (237): народ „был шумен, но радостен, хорошо настроен скорее, нежели угрожающе“ (239) и т. д. Даже по поводу события 10 августа Мишле считает возможным говорить, что низкие, неблагородные страсти в этот момент героической экзальтации ни у кого не обнаружались, и что, наоборот, было много актов великодушия (346). Он не отрицает, что в эти дни и недели, всегда существовавшие в каждой большой столице „подонки общества, кровожадная грязь, подлый и тупой элемент“ (V, 10) выступали на сцену, но в то же время говорит, что у настоящего народа даже не мстительность играла роль, а „глубокое чувство нарушенной справедливости, законное негодование вечного права“ (V, 11). При изображении сентябрьских убийств, частью по рассказам, слышанным из уст свидетелей (V, 60 91, 114, 127), Мишле более всего хлопочет об исторической правде. Он даже ставит себе в заслугу, что первый вошел в эту мрачную область, „как Эней в преисподнюю, с мечом в руке, устраняющим пустые тени, и защищаясь от лживых легионов, которые его обружают“. Старым историкам и устной традиции он противопоставляет архивные документы и свою критику (V, 45—46). Главы IV—VII седьмой книги, посвященные этому предмету, представляют собой результат особых изысканий. Мишле здесь строгий судья злодеяний. Кроме того, он выступает противником „мнения, легкомысленно принятого историками, будто сентябрьская бойня была исходным пунктом победы, будто народ после такого преступления, вырванного позади него такую бездну, почувствовал, что нужно было победить или умереть, будто сентябрьские убийцы увлекли армию, были авангардом Вальми и Жеммапа“ (V, 113). Этих ужасов хотели некоторые секции, хотела Коммуна, хотел Марат; убивали стариков, женщин, детей; за кровавую работу требовали и получали плату, все это Мишле отмечает. Но когда речь заходит о внешней защите, опять он говорит в приподнятом тоне.

Не будем останавливаться на главах о военных успехах Франции и о „завоеваниях поневоле“, о вандейском восстании, где главную роль сыграли „священник и женщина“. Все это рассказано подробно и живо, и лишь мимоходом упоминается без особых деталей об окончательном падении

во Франции феодализма (V, 183 и 220—224), причем о средних веках говорится гораздо больше, чем о законодательстве революции на счет феодальных прав,—черта, характерная для Мишле, вообще мало занимавшегося такими вопросами.

В рассказе о начале Конвента Мишле огорчен гибельным для Франции „расколом между республиканцами и республиканцами“ (V, 226), которые „поражали друг друга, как-бы будучи совсем одни с другими незнакомыми“. Он указывает на то, как часто их взаимные обвинения были несправедливы. „Нет, говорит он, эти обвинения не были заслужены. Все были, клянемся в этом, превосходными гражданами, горячими друзьями отечества. Вообще это была ревнивая, страшная любовь к республике, которая их бросила на путь несправедливых обвинений и истребления (V, 227). Они ненавидели, потому что слишком любили... Повторим это, оба обвинения были одинаково ложны. Жирондисты не были роялистами (V, 228). Монтаньяры не были виновниками сентября, кроме Марата и двух-трех других“ (229). Неверно, что Париж хотел быть сам королем Франции, как неверно, что жирондисты покушались на „прекрасную централизацию, одну устанавливающуюся во Франции“ (229). Первые битвы были в области умозрений по вопросам о суверенной власти, о собственности. Дантон провозгласил необходимость объявления собственности, сохраненной на вечные времена. По Мишле, это было необходимо. За свою собственность боялись старые владельцы и начинали бояться новые: их нужно было успокоить (238). Сама свобода нуждается в собственности, между ними нет противоречия (239). Ссоры по практическим вопросам рассказаны подробно, но во взаимных обвинениях было много мнительности, подозрительности, легионерия с обеих сторон (259). Жирондисты были против власти толпы, против якобинских обществ, начавших принимать у себя простолюдинов. „До тех пор, говорит Мишле, жирондисты питали к низшим классам, ко всей совокупности народа удовлетворительное доверие. Большею частью буржуа, но прежде всего философы, пропитанные великодушной философией XVIII века, они первоначально применили абсолютным образом, без оговорок, мысль о равенстве, которую носили в сердце... Всемогущая зимой 1791 года и весной 1792 г., Жиронда

оставалась верной своему учению" (263). Но с сентября 1792 г. она стала „удаляться понемногу с того поста, который до того времени занимала в революции, как авангард равенства" (264), когда подумала, что собственность находится в опасности, и, чтобы устранить революционную диктатуру с перспективой аграрного закона, стала опираться на класс, который по неизбежной покатости шел к реставрации королевской власти (265). Вот, как Мишле определил социальный характер жирондизма. Бывши весной 1792 г. „настоящею национальною партией, партией равенства, Жиронда оставила эту роль и допустила, чтобы ее взяли на себя ее враги, Гора, якобинцы" (266). Притом они не умели действительно взять власть (267) и не захотели идти вместе с Дантоном, этой „политической головой, готовой принять все разумное" и уже отвергнувшей Марата (268). У них был известный, очень почтенный пуританизм, но и тут они не были достаточно последовательны (270). И между тем Мишле очень высоко ставит Дантона, как единственного человека, который был нужен, он, этот „великий и страшный служитель революции" (277 и сл.), „трогательно стремившийся к примирению партий" (291).

Зато выигрывали якобинцы. „Национальный гнев, говорит Мишле, страшный в июне 1791 г., страшный в августе 1792 г., утих. На смену пришло презрение. Нацвья никоим образом не требовала головы Людовика XVI... Нужно было много ловкости и понимания, чтобы разбудить страсти. Якобинские общества здесь оказались удовлетворительными: они действовали с послушанием, с настойчивостью, которая могла бы возбудить зависть в церковных и политических корпорациях средних веков" (358). Ни в этом вопросе, ни в деле Коммуны, покусившейся на Конвент, жирондисты не проявили ни единства, ни энергии. Выиграл Робеспьер: „моральный вождь якобинцев сделался политическим вождем Горы, равно как Коммуны, и после этого революция, холодная и страшная, пошла позади резонера, который ни малейшим образом не был представителем ее великодушных инстинктов" (365).

Вся девятая книга „Истории французской революции" Мишле, занимающая центральную часть шестого тома, почти целиком посвящена вопросу о вине Людовика XVI и о его

процессе (о последнем около ста восьмидесяти страниц). „Людовик XVI был виновен“,—так называется первая глава „книги“,—виновен в том-то и том-то, но с смягчающими обстоятельствами, главная же вина короля состояла в том, что он совершил величайшее преступление, непростительное, не подлежащее давности, преступление против живой коллективной личности, против нации: убить нацию—преступление, а еще большее „это—ее унижить, предать ее на поругание иностранцам, позволить ее изнасиловать, лишить ее чести“ (VI, 31). „Людовик XVI был виновен, но не имелось никаких доказательств его виновности“ (34). Мишле находит, что „процесс был невозможен в 1793 году“, но теперь, говорит он, „процесс возможен (faisable), ибо уже есть неопровержимые доказательства, которых тогда не было“ (21—24). Объяснение того, что „политики так хотели погубить бывшего короля“, Мишле ищет в яростной борьбе партий в Конвенте, в „мрачной ярости игроков, ставивших друга против друга свои головы на голову Людовика XVI“, но „вносивших в эту борьбу и искренний патриотизм“, убеждение, что это было нужно, дабы жила новая Франция (35). Но, по словам Мишле, „революция, судя Людовика XVI, тем самым (implicite) должна была судить самой себя, сказать, из какой моральной идеи она брала свою жизнь и свое право“, а жизненной идеей революции была идея справедливости,— „справедливости“ широкой, благородной, человеческой, любящей до нежности“, бывшей вместе с тем „милостью без произвола и каприза“, совершенно божеской (VI, 106). Деятели революции в 1791 и 92 г.г. проповедовали эту идею и святость человеческой жизни, но пришли опасности, и люди заговорили: мы погибнем, если останемся справедливыми; сегодня будем спасать Францию, а завтра будем справедливы. „Живодисты первыми подверглись искушению... Двухличие двора их самих научило двухличию“ (VI, 109). Никогда обстоятельства не ввергали народ в такую ужасную дилемму: погибнуть или остаться справедливым, сохранить „справедливость слепую ко всему, что называется интересом, глухую к политике, не знающую, божественно не знающую соображений (raisons) государственного человека“ (110). „Отнять свою руку и смотреть, спасется ли сама собою революция, освобожденная от политики! У наших отцов, говорит Мишле,

такой веры не было, да и кто бы мог ее иметь" (111)? И вот он подробно следит за ходом дела в Конвенте, постоянно указывая на то, как левая терроризировала остальных членов, постоянно отмечая разногласия жирондистов и монтаньяров по разным пунктам процесса. В одном он видит их полное согласие: обе партии подчиняли правосудие соображениям общественного блага, защищая справедливость только на втором месте, да и та лишь наполовину. Обе партии спорили только, кому судить. „Монтаньяры хотели видеть судьбу в лице Конвента, жирондисты во всей нации. Так, прибавляет Мишле, перевернулись роли. Жиронда, считавшаяся аристократической, доверялась самому народу. Гора, партия существенно народная, казалось, не доверяла народу“. Это ставило монтаньяров в ложное положение, что усиливало их бешенство и заставляло их предъявлять против жирондистов клеветнические и убийственные обвинения (213). Поведение обеих партий Мишле называет одинаково мужественным: каждая, защищая свою позицию, видела, что обрекает себя на смерть. Но в то же время обе они ошибались в своих расчетах (219, 226 и сл.). Как и в отношении сентябрьских убийств, Мишле переосматривает весь ход дела, „жестокую, как он выражается, искаженную историей“ (244), между прочим, имея и здесь случай пользоваться архивными документами против мемуаров (233). Не обвиняя ни в варварстве подававших голос за казнь короля, ни в слабости голосовавших за другие наказания (245—247), он восхваляет жирондистов за то, что, требуя апелляции к народу, они отстаивали принцип народного верховенства, тот самый принцип, во имя которого они низвергли монархию, тогда как монтаньяры поддерживали открыто права меньшинства и хотели спасти народ без уважения к его верховенству, что ставило эту „искрепную, героически патриотическую партию на опасный путь“ (248). В заключение Мишле проносит свой приговор над приговором Конвента (*nous jugeons le jugement*, стр. 281). Роялисты сделали из Людовика XVI святого, мученика,—это республиканский историк называет ложью,—а те, которые его осудили, „знали, что, поражая короля, они наносили удар самим себе“, и тем они проявили свою самоотверженность. „Они были убеждены, что иным способом не могли бы утвердить верование, которым

живут нации: отечество священо, и кто его предает, от этого умирает. Уважение к Франции, говорят еще Мишле, целость ее территории, святость (la religion) ее границ, нашу, т. е. тех, которых тогда еще не было, безопасность, все это они думали обеспечить этим приговором. Заблуждались ли они? Это не мы, по крайней мере, которых они думали спасти, упрекаем их за это. Нет, героические люди, ваши благодарные сыны вам протягивают руку через пространство времени. Даже ваши враги, которые и враги Франции, обязаны в вас почитать победителей, основателей республики, победительницы врагов на все будущее“ (283—284). Последний аргумент о врагах, впрочем, отзывает простой риторикой¹⁾.

В рассказе обо всей этой „революционной драме“ Мишле считает невозможным остановиться: „от процесса короля до катастрофы жирондистов, до террора не может быть никакой передышки“, говорит он, хотя эта драма, конечно, еще не вся вообще революция (VI, 19). Три громадных факта занимают во время процесса короля и после него внимание Мишле: во-первых, „завоевание земли работником, самое большое изменение, какое когда-либо было в собственности со времени аграрных законов древности и варварского вторжения“; во вторых, рост „общественного индифферентизма“, особенно в городах, специально в Париже с конца 1792 г.; в третьих, среди „этой возрастающей апатии и для борьбы с нею“ обновление „страшной машины, ослабшей в 1792 г., машины общественного спасения и ее главной пружины, общества любителей“ (VI, 20). Обо всем этом Мишле и говорит в шестом же томе, параллельно с процессом короля, но гораздо короче, чем о нем. О покупке народом земли, — о чем позднее возникла целая литература, — он говорит очень поверхностно на нескольких страницах (36—42): результат тот, что крестьянин не подумает больше о возвращении к старому порядку. Об общественной апатии горожан сказано тоже немного (стр. 42—50) и в чертах, напоминающих описание Парижа, в эпоху термидорианской реакции. Новому парижскому общественному направлению подчинялись почти все жирондисты. „От них, читаем мы на стр. 51 шестого

¹⁾ В томе VIII, стр. 131, Мишле говорит о виновности Марии-Антуанеты, относительно которой тогда тоже не было доказательств.

тома, не требовали, чтобы они делались роялистами, а само общество охотно шло в эту партию (*on se faisait girondin*). Она мало по малу становилась убежищем роялизма, защитною маскою, под которою контр-революция могла удержаться в Париже, в присутствии самой революции. Денежные, банковые люди разделялись на жирондистов и якобинцев. Впрочем, переход от прежних мнений, бывших слишком известными, к республиканским казался им более легким на стороне жирондистов". Сама эта партия,—которую объединял порыв войны (с Европой, с королем), объединяло действие, если не идеи,—стала дробиться на фракции, группы, даже котерии, прямо, наконец, распыляться (53). Слишком партия была пестра, люди из разных провинций, люди разных мнений (54). Среди них преобладал дух журналистов, беллетристов, легистов, отчасти протестантский. Не было и объединяющих и авторитетных личностей, а отсюда отсутствие „инициативы, порядка, командования в решительные моменты“ (57). Из разложения жирондистской партии, из признаков всей общественной дезорганизации Мишле выводил „необходимость якобинцев“ (60). У них было, говорит он, „два качества редко примиримые: моральная и политическая цензура, сила отрицательная, и революционная инициатива, сила положительная“ (61). Первая требовала ясного критерия, и у них была своя вера, но „без любви и вдохновения“ (*ni aimante ni inspirée*). Они были горячими адвокатами и яростными прокурорами революции. Она сначала требовала апостолов и пророков. При всем этом, спрашивает Мишле, кто станет отрицать безмерные услуги, оказанные ими отечеству“ (63)? Толпа сначала медленно вступала на их дорогу, но „террор, страх перед якобинским отлучением, придавал силу этому обществу“ (70). В 1793 году в него вошло третье поколение: первым, по счету Мишле, было парламентарное и дворянское (Дюпор, Барнав, Ламет), второе очень смешанное из жирондистов, орлеанистов и пр., получивших разные места в управлении, а третьим был якобинизм Кутона, Сен-Жюста и др. вместе с Робеспьером, который преобладал уже во втором (84—85).

На первых порах после казни короля некоторое время в Конвенте царствовало согласие, которым Мишле прямо восхищается (VI, 284 и сл.). Причину последовавших раз-

доров он сводит к вопросу о единстве Франции. Специальная миссия Конвента состояла, по его мнению, в том, чтобы основать единство Франции (289). Вся характерная особенность 1792 года для него заключается в борьбе единства с федерализмом. Он бросает ретроспективный взгляд на историю с 1789 г., когда вся сила была в отдельных муниципалитетах и все были федералистами или роялистами. Иностранное нашествие поставило на очередь вопрос о республике единой и нераздельной. Жирондисты, говорит Мишле, ради единства готовы были сами идти на смерть, но „фатальность положения увлекла их в невольный федерализм (298). Директории департаментов, нотабли, богатые, все равнодушные (tièdes) в республиканской партии, скрытые роялисты, все называли себя жирондистами... И вот, продолжает историк, жирондисты, два десятка адвокатов, литераторов, основатели республики, инициаторы великой войны, творцы колпака свободы, изготовители пик, они, которые вызвали десятое августа, двинули Францию на врага,— вот они, несчастные, объявляются, так ли, сяк ли, вождями богатых, вождями равнодушных, лицемерными патриотами, вождями всех, поддерживающих старые местные влияния против единства отечества“. Единственным средством спасения для них, по мнению Мишле, было, „вырвать из рук Горы железо и направить его против своих ложных друзей“, но „они предпочли погибнуть“. Когда весною 1793 г. их оскорбляли, забрасывали грязью, плевали на них, у них „вырывались крики ярости, неосторожные призывы к мщению департаментов. И тогда думали, что их захватывают на месте преступления, более не сомневались, хотели их смерти, жаждали их крови“ (299). По этому поводу Мишле замечает, что в своей „слепой, столь близкой к бешенству и эпилепсии ярости Гора не видела, что она каждую минуту впадала в политическую ересь, в которой упрекала своих противников“, раз она сама хотела, чтобы „всей Францией управляло насилие одного города“, да и в этом городе иногда становилась на сторону одной секции против целого (300).

Этому вопросу о единстве отечества посвящена первая глава X книги, начинающейся в середине шестого тома. Дальше внутренняя история революции все более усложняется внешними событиями с той опасностью, какая в них

заклучалась. Все больше в этой части своего труда Мишле видит во всем происходящем своего рода фатум. Переиздавая в шестидесятых годах свою историю революции, он предпослал VII ее тому „предисловие о терроре“, помеченное 1 января 1869 г., где говорит, что новые документы, обнаруженные за данный промежуток времени, его только утвердили в его прежнем взгляде. „Это время было диктатурой“ (т. VII, стр. I). Здесь Мишле сопоставляет Робеспьера с Бонапартом, видя сходство между ними в том, что „в создавшей их среде они нашли вполне готовыми их орудия действия. Им ничего не было создавать. Обязательная фортуна дала им в руки машины (ужасные электрические машины), которыми они должны были орудовать. Робеспьер сразу же застал якобинскую ассоциацию из трехсот, шестисот, потом трех тысяч якобинских обществ, большую полицейскую армию, которая сорока тысячами комитетов управляла, защитила и раздавила Францию (стр. II)... Важный приговор Робеспьеру, читаем немного дальше: роялисты имели к нему некоторую слабость. Они ругали, оплевывали Жиронду, Гору, Дантона, Шометта. Перед Робеспьером они замолчали. Они видели, что он любил порядок, что он оказывал покровительство церкви, и предположили, что у него была душа короля“. Его историю Мишле находит более удивительной, чем историю Бонапарта. „В ней менее видны нити и колеса, бывшие уже готовыми силы. То, что видно, это — человек, маленький адвокат, прежде всего литератор (и он им был до самой смерти). Это человек честный и строгий, но с бесцветным талантом, который в одно утро видит себя вознесенным не знаю на какую высоту. В одно время он идет выше, чем на трон. Его ставят на алтарь“ (стр. III). „Его ум производил мало, у него было немного изобретательности. С большим количеством идей он бесконечно менее преуспел бы. Он был в одну меру с широкой публикой, ни выше, ни ниже“. История имеет здесь в виду общий якобинский тип. „Против старых каст, тогда еще сильных, нужна была каста суровая, беспокойная. Нужна была мужественная полиция, которая отмечала бы, указывала бы, обуздывала бы особенно дерзких и сильных врагов“ (III). В таком тоне написано все предисловие, в подзаголовке которого очень крупными буквами набрано „Тирани“.

В каком духе рассматривает Мишле эпоху террора, понятно само собой. Он с мельчайшими подробностями следит за борьбой партий в Конвенте, за тем, что делалось в Париже, в Коммуне, у якобинцев и у кордельеров, в секциях, в провинциях, на границах государства, прерывая полное драматизма повествование короткими размышлениями. Так, по поводу учреждения революционного суда он пишет: „армия была демобилизована, .. казна пуста. Одна сила оставалась во Франции: революционное правосудие. Вся цена его была в листе бумаги. Потом еще в сердце самой Франции. В смерти основателей республики, лучших друзей отечества, в головах Дантона, Верньо, в крови и голосовавших и за, и против, тех, которые представляли протест во имя закона, и тех, которые были необходимостью“ (VI, 382).

В одном месте VII тома (стр. 107) указав на то, что „стараясь отдать самую скрупулезную справедливость Жиронде и Горе, хваля и порицая, смотря по их различным поступкам, изо дня в день и из часа в час“ (что и было на самом деле), Мишле позволяет читателю спросить его, где он сам сидел бы в Конвенте. Вопрос действительно интересный. Мишле отвечает, что был бы монтаньяром, но никак не якобинцем, потому что были же монтаньяры, которые не состояли в якобинцах, и были такие, которые, как дантонисты, нося это имя, не имели якобинского духа, а именно, как он его определяет, „духа инквизиторского, корпоративного, священнического (esprit prêtre), или маккиавелизма, соединенного с насилием“. Якобинцы, конечно, помогли победить врагов, но еще больше они увеличили их число. Они „предприняли чистку всей Франции, арестовывая всех подозрительных, но через пятнадцать месяцев их царствования вся Франция оказалась подозрительною“. Почему же, можем спросить мы, Мишле не захотел бы быть вместе с жирондистами, которых он неоднократно восхваляет? Его ответ мы находим в указании на то, что он называет важным их недостаток. Это, к удивлению читателя, терпимость, — к удивлению, потому что сам Мишле воплощенный протест против террора. „Правда, говорит он, Жиронда вотировала суровые законы, но отказывала в средствах их исполнения. Она объявила всеобщую войну, революционный крестовый поход и освобождение всего света; в этом отношении она

была законной истолковательницей Франции и оказалась более великодушной, чем якобинцы, и более политической“ (VII, 107), но она поощряла своим красноречивым протестом „молчаливое сопротивление и рассчитанное бездействие департаментских властей, всему мешавших. Да, заключает Мишле, несмотря на мою симпатию к духу великодушного милосердия, который они хотели сохранить за революцией, я подал бы голос против них“ (VII, 109). Он обвиняет их еще в том, что они, „превосходные республиканцы, чистые и лойяльные“, не отмежевались достаточно от роялистов, сделавшись для них „щитом и маскою“. И вот, прибавляет он, хотя „Жиронда была изгнана из Конвента средствами недостойными, подлыми, мы ограничились бы протестом против этого изгнания, но не нарушили бы единства Горы“ (VII, 110). Всякий поступок в защиту жирондистов был бы нанесением удара республике, но все-таки их единственное преступление Мишле видит в том, что в жирондистам примыкали роялисты, отнюдь не в остальном, в чем их обвиняли якобинцы (111). Что это партия была невинна, Мишле повторяет неоднократно (напр., 181).

Бессильная, слепая политика жирондистов, также неоднократно повторяет Мишле,—погубила бы Францию, но как раз те самые якобинцы, среди которых он не хотел бы быть, были в его глазах единственною организованною силою. Мишле высокого мнения о Конвенте, даже после двух ударов, ему нанесенных 31 мая и 9 термидора. „До и после Конвент наделяет Францию множеством учреждений. Все последующие правления на него опираются, проклиная его, послушно ссылаются на его законы, пользуются тем, что он создал, вопреки самим себе признавая суверенное величество Собрания, которое, основывая, организуя, более, чем какая-либо человеческая сила, представляло неистощимое плодородие природы“ (VII, 185). Но дело в том, что, „издавая законы для всей Франции, Конвент не осмелился бы, однако, послать приказ генералу Анрио“, начальнику национальной гвардии (198). Настоящего правительства не было; за власть боролись Коммуна, центральный резеррекционный комитет и революционные комитеты секций, документы которых Мишле имел в руках в архивах. Конвент более всего был занят, после изгнания жирондистов, составлением новой конституции,

которую Мишле ставит очень высоко по некоторым ее принципам (209 и сл.), хотя подробно ее не анализирует, как это было сделано ими по отношению и к конституции 1791 г.

Нередко, рассказывая сложную, весьма запутанную, для него самого таинственную историю 1793 г., Мишле делает предположение, что было бы, если бы... , как это мы видели это и по отношению к жирондистам. Одно подобное соображение касается убийства Марата. Не убей его Шарлотта Кордэ, „на крови которой, как выражается автор, основалась религия кивжала“ (и даже со ссылкой на пушкинскую оду, VII, 341), не были бы казнены Дантон и Демулен, которых он защитил бы, а это, в свою очередь, спасло бы и Робеспьера, не было бы термидора с его внезапной и убийственной реакцией (VIII, 21). Марат в июле 1793 г. был уже другой человек, непримримо преследовавший других Маратов, вступающий в свой период снисходительности, хотя для самого Мишле еще вопрос, сохранил ли бы Марат свою популярность в новой роли (VII, 315 — 316). Смерть Марата, все-таки думает Мишле, ухудшила положение, потому что его сменил Эбер (III, 22), вождь анархистов и владык Коммуны. С этого момента название эбертистов, к которым Мишле относится с презрением, все чаще и чаще мелькает на страницах его труда.

Мы подходим к тому периоду революции, который не может не быть особенно интересным с основной точки зрения Мишле. Революция кончилась неудачей потому, говорит он, что ей для упрочения не хватало революции религиозной, социальной, где она нашла бы свою поддержку, свою силу, свое углубление (VIII, 159). Целой главе (первой в книге XIV) он дает название: „Революция была ничто без религиозной революции“. Жирондисты и якобинцы оказались одинаково бессильными что-либо сделать в этом отношении. Что-то такое шло от кордельяров, черным ангелом которых, злым духом был Эбер, белым ангелом, добрым духом Клоотц, а между ними Пометт (VIII, 184 — 185), но у Мишле здесь все как-то отрывочно, полно только намеков, мало вразумительно, лирично и риторично. Историка тут даже покидает ясность мысли, и не всегда понимаешь, что же он хотел сказать, когда по поводу республиканского календаря писал, что „земля в первый раз ответила небу, в оборотах

(révolutions) времени, и „человек увидел разумность на небе и разумность здесь“, или когда читаем следующие за этими рассуждения о Мудрости (Логосе или Слове) и т. п. (стр. 175). В рассказе Мишле о так теперь называемой „дехристианизации“ Франции остаются факты, бывшие известными раньше, но отчасти и впервые опубликованные историком на основании архивных документов. Из отдельных замечаний автора приведу его отзыв о празднике Разума 10 ноября 1793 г.: „скромная церемония, печальная, сухая, скучная“, да и как это могло быть „истинным культом революции“, когда сама она „была уже стара и утомлена, слишком стара, чтобы рожать“. Культ Разума, „этот холодный опыт 1793 года, вышел не из ее горячей груди, а из резонерских школ времен Энциклопедии“, не этого требовали „сердца и необходимость момента“ (VIII, 195). Не более благосклонен был Мишле и к робеспьеровскому Верховному Существо. „Идея бога плодотворна, говорит он, когда она вырывается из сердца, когда эта идея чувствуется в своей жизненной сущности, которая есть Справедливость. Слово бог само бесплодно: отвлеченность, звук, схоластическая и грамматическая форма; если это — все, оставьте всякую надежду. Как Верховное Существо, т. е. как политический нейтралитет между революцией и христианством, между справедливостью и благодатью, это — само бесплодие и пустота“ (IX, 89).

Но и католицизм, по мнению Мишле, не должен был оставаться: „жизнь католицизма, читаем мы на стр. 202 восьмого тома, это — смерть республики. Свобода католицизма в республиканском правлении, это единственно и просто — свобода заговорщичества. Система или какое либо существо, обязаны ли они во имя свободы оставить свободу тому, что должно необходимо их убить? Нет, природа не возлагает ни на кого обязанности самоубийства“.

Рядом с религиозной революцией, которая нужна была, по мнению Мишле, он ставил, как мы видим, и революцию социальную, но эта сторона дела еще менее ясна у нашего историка. Да и соответственного этому фактического исторического материала в труде Мишле не имеется. До Бабёфа в своей истории французской революции он не дошел, а если кое-где упоминает, напр., о Жаке Ру, то совсем на этой фигуре не останавливается.

Конечно, в историческое познание французской революции Мишле внес много нового: в его распоряжении был богатейший архивный материал, на который он время от времени ссылается. Между прочим, в его руках были документы парижских секций, игравших такую роль в народной революции с 1792 г., но он мало интересуется самими секциями, их организацией, их внутренним бытом. Все-таки на первом плане у Мишле события, а не быт, прагматика, а не культура. Особенно подробен он в истории Конвента вообще, и в частности для эпохи после изгнания жирондистов, с которого начинается период революционного самоистребления, когда, вместо широких волн, на поверхности политической жизни была только более мелкая рябь столкновений между даже не партиями, а котериями, между отдельными лицами. Эти мелочные дразги даже становятся „мало интересными“. Народ, как главный герой революции у Мишле, здесь ступенькается, и чаще появляется, вместо него, простая „толпа“. Рассказав, как был казнен Робеспьер (здесь уже названный „великим человеком“) и с ним еще двадцать человек, Мишле прибавляет: „Двадцать один казненный, этого было мало для толпы. Она ощущала жажду, ей нужно было крови. На другой день ее подчивали всею кровью Коммуны: семьдесят голов сразу! А в виде десерта на этом банкете двенадцать голов на третий день“ (IX, 350). В том, что происходило на улицах в день казни Робеспьера, Мишле готов как-будто видеть „первые сцены белого террора“ (348), но был ли то террор белый, или красный, толпа в нем принимала большое участие.

Позднее, уже после падения второй империи и под впечатлением событий Коммуны 1871 года, Мишле дорассказал, но уже во много раз короче, историю революции в своей „Истории XIX века“. Здесь историк, — „родившийся, как он говорит о себе в предисловии, во время террора Бабёфа и увидевший перед смертью террор Интернационала“, — прямо начинает свое изложение заголовками: „якобинство кончается, начинается социализм“. Мы, однако, здесь не последуем за Мишле. Он сам остановил историю революции на 1794 году, да и прошло два десятка лет между обоими трудами Мишле, более полным и ярким прежним и более слабым и бледным вторым.

Сравнивая Мишле с его предшественниками, не столько, впрочем, с Минье, очень коротким, сколько с Тьером, рассказывающим все подробно, видишь большую разницу. Насколько Мишле разностороннее, богаче содержанием, шире в захвате, глубже в проникновении в суть дела, тоньше в анализе, ярче в изображении, вместе с тем оригинальнее, индивидуальнее, но зато и субъективнее в своем переживании событий, нежели объективный, бесстрастный, холодный, спокойный Тьер. Чтение истории Мишле более захватывает и даже волнует, и чаще при этом приходится не просто воспринимать, а соглашаться вместе с тем или не соглашаться с суждениями автора о событиях, идеях и людях, соглашаться или не соглашаться и с его теорией, тогда как у Тьера, собственно говоря, подобной теории, своей, так сказать, философии истории не было. Мишле везде оценивает и поучает, прикидывает ко всему мерку своих принципов и высказывает при этом нравственные сентенции. Он был, конечно, много учнее Тьера и, как историк, пользовался более надежным материалом, относился к источникам с большей критикой, но был, пожалуй, дальше, чем Тьер от строгой научности, проходя равнодушно мимо многого, что теперь вызывает в историке любознательность, если только это ничего не говорит воображению. Можно сказать, что Тьер больше протоколист, Мишле — импрессионист, и что действительность, проходя через призму его субъективности, воспроизводится скорее художественно, нежели научно. У Мишле более образности и красочности во всем, даже в способе выражать свои впечатления и мысли. Поэтому его взгляды труднее передавать своими словами, да и как-то невольно хочется, передавая содержание его труда, приводить побольше собственных слов историка.

На труде Мишле отразилась, однако, не только его более принципиально настроенная нравственная физиономия, столь отличная от психики более оппортунистически настроенного Тьера, но и другая эпоха, смена буржуазного либерализма демократическим радикализмом, вдобавок, очень антиклерикальным. Наконец, и в том отношении Мишле ушел от Тьера, что, будучи его ровесником и имевши возможность в молодости сам пользоваться рассказами современников революции (на какие он иногда и ссылается), он понял, что не в их показаниях и особенно не в мемуарах нужно искать истори-

ческого материала, даже не в том, что печаталось во время самой революции, а в деловых архивных документах, порождавшихся самым течением жизни. О мемуарах при случае Мишле иногда высказывается с излишним пренебрежением, а „Монитор“, например, прямо он обвиняет в тенденциозном искажении фактов.

Считаем не лишним отметить взгляд Мишле на историю французской революции Карлейля. Когда один автор (Varegaux) в своей статье о французском переводе книги Карлейля указал на большое сходство между нею и трудом Мишле, последний написал этому автору в 1868 году письмо (бывшее потом опубликованным впервые только в 1907 г., в „Appareteur d'autographes“ Шаравэ), где назвал книгу Карлейля „сочиненном фантастическим, жалким, без всякого изучения предмета (nulle étude), с совершенно фальшивым освещением“. Мишле даже был как-бы обижен могущим возникнуть подозрением, будто он вдохновлялся Карлейлем. Большой знаток биографии Мишле, Monod, говорит, что он и не читал Карлейля до появления французского перевода. Дело не в том, однако, а в совершенной несправедливости приговора Мишле над Карлейлем, которого, напр., Олар ставит очень для своего времени высоко, именно, как ученого, глубоко изучившего свой предмет и верно судившего.

Ламартин ¹⁾.

Одновременно с началом обнаружения труда Мишле, на самом кануне февральской революции, вышла в свет еще большая книга Ламартина „История жирондистов“. В том издании, которое у меня под руками, сделанном в Брюсселе в 1847 году, 928 страниц большого формата в два столба очень убористого шрифта. Автор начинает свое изложение со смерти Мирабо и доводит до падения Робеспьера: это промежуток времени в три года и четыре месяца, но подробно автор говорит лишь о двух годах. Изложение, значит, тоже отличается большою подробностью, даже с приведением больших отрывков из речей и т. п. Но, собственно говоря, автор „Истории жирондистов“ не был ни ученым историком, как

¹⁾ О нем D. Pomairols (1890), E. Deschanel (1893), Quentin Bauchard (Lamartine, homme politique, 1903). Barhou (1916). Рус. пер. „Ист. жиронд.“ 1871.

Мишье и Мишле, ни очень крупным политическим деятелем, как Тьер: он был поэт, лирик и романтик.

Ламартин был на несколько лет старше Мишье, Тьера и Мишле (род. в 1790 г.). Воспитанный отцом в преданности легитимной монархии, а матерью в строгом католицизме, обучавшийся даже в иезуитской школе, он, однако, не сделался реакционером и, хотя, попав после июльской революции в палату депутатов, определил себя, как независимого консерватора, тем не менее в своих полных блеска речах выступал с довольно либеральными идеями, в конце концов, даже официально заявив, что он прогрессист. Его „История жирондистов“, написанная с большим литературным талантом, произвела на публику весьма сильное впечатление, между прочим, обратив на себя внимание и своим республиканским настроением. Собственно говоря, у Ламартина не было никакой определенной политической теории, но у него сильно был развит темперамент морального проповедника. В революции 1848 года он сыграл роль примирителя между умеренными и крайними политическими деятелями, но именно это и привело к тому, что от него отошли и те, и другие. Провал его, как политического деятеля, был полный: его кандидатура в президенты республики не собрала полных восемнадцати тысяч голосов при семи с половиною миллионов голосовавших граждан. Позднее Ламартин писал еще истории февральской революции, Учредительного Собрания, реставрации, но эти книги не имели успеха. Только „Histoire des Girondins“ осталась от него во французской историографии своего рода памятником эпохи.

„Я предпринимаю, — так начал Ламартин этот свой труд, — я предпринимаю написать историю маленького числа людей, которые, будучи брошены Провидением в центр самой великой драмы новых времен, воплощают в себе идеи, страсти, ошибки, добродетели целой эпохи, и жизнь и политика которых, образуя, так сказать, узел французской революции, испытали на себе один и тот же удар, как и судьбы их родины. Эта история, продолжает он, полная крови и слез, полна также поучениями для народов... Простой рассказ об этих двух годах есть самый яркий комментарий ко всей великой революции, и кровь, пролитая тогда потоками, не только вопиет к ужасу и жалости, но и преподает людям урок и

пример. В этом то духе я и буду о них (этих годах) рассказывать“. Ламартин говорит далее, что „беспристрастие истории вовсе не есть беспристрастие зеркала, которое только отражает, а беспристрастие судьи, видящего, слышащего и произносящего свой приговор“. Летопись не история для того, чтобы она заслуживала этого имени, и ей нужна совесть, ибо она потом становится „совестью человеческого рода“. Таким образом, автор „Истории жирондистов“ прямо указывает на свое желание извлечь из прошлого наставление для настоящего, дать людям поучение, своего рода предметный урок на определенном примере. Ссылка на совесть — ссылка моралиста, который не просто рассказывает, что было, как оно было, но при этом еще судит, произносит приговор.

И общую свою идею Ламартин высказывает наперед: „никогда, говорит он, то таинственное соотношение, которое существует между поступками и их следствиями, не раскрывалось с большею быстротою. Никогда слабости не порождали так скоро ошибки, ошибки — преступления, преступления — наказания. Это воздающее правосудие, помещенное богом в самые наши поступки, как более святое сознание, чем судьба древних, никогда не обнаруживалось с большею очевидностью, никогда нравственный закон не давал самому себе столь разительного свидетельства и более безжалостным образом за себя не отмщал“. Вот, что хотел Ламартин показать в своей книге. Это был, значит, не историк, а моралист. Его представление об истории сложилось под влиянием древних. „Рассказ, — читаем мы здесь, все на первой же странице, — рассказ, оживленный воображением, соединенный с размышлениями и с судом мудрости, вот история, какою ее понимали древние и какой бы я хотел сам“. Оживление рассказа воображением — другая черта всего труда Ламартина о французской революции. Ламартин-моралист дополняется Ламартином-художником, литератором. В произведениях с политическим содержанием публицист стоит к историку ближе, чем моралист, и ближе к науке, чем художник слова, да еще с лирическим настроением. Вот почему никто не говорит о книге Ламартина, как о труде научном при всех литературных достоинствах этой книги. Сам он в предисловии заявляет, что его труд „не

претендует быть историей“, что это — „нечто среднее между историей и мемуарами“.

В предисловии Ламартина еще объясняет, почему он не предпослал своему рассказу ничего о предыдущем периоде революции: „уже тогда он задумал свою „Histoire des Constituants“. Здесь же, указывая, что не следует „рабской мелочности летописца“, он свидетельствует о самом „скрупулезном исследовании фактов и характеров“ на основании подлинных мемуаров, даже не изданных подлинных писем деятелей и на основании слышанного из уст последних свидетелей великой эпохи. К сожалению, Ламартин не хотел „загружать свое изложение (*embarrasser le récit*) примечаниями, цитатами, оправдательными документами“. Он обещает говорить только правду: „мы не ищем, говорит он, ничего кроме истины, и мы постыдились бы сделать из истории клевету на мертвых“. А именно его намерением было дать в своей книге „больше места людям и идеям“. Недаром он назвал свою книгу историей небольшого числа людей, а в предисловии „этюдом об одной группе людей и о нескольких месяцах революции“.

Характерен выбор Ламартина в герои своего повествования именно жирондистов в ту эпоху, когда во Франции возрождалась якобинская традиция—у Бюшеза, у Луи Блана. Личному характеру Ламартина, его любви к индивидуальной свободе, быть может, жирондисты соответствовали больше, чем их противники. Сам, сочувствуя республике, он ценил в жирондистах людей, бывших „предназначенными сообщить неуверенной революции движение, перед которым она еще колебалась, и быстро направить (*précipiter*) ее к республике“. Он даже высказывает ряд соображений, почему республиканцы явились из департамента Жиронды, из Бордо, не останавливаясь даже перед превращением бордосцев Монтепя и Монтескьё в „великих республиканцев“ (71). Было бы, однако, напрасно думать, что Ламартин—безусловный апологет жирондистов. Первый из них, с чьим портретом знакомит читателя Ламартин, это—один из главных вождей партии, Бриссо, „первый апостол и первый мученик республики“, как его называет Ламартин, и в его характеристике есть очень отрицательные черты. Ламартин ссылается даже на отзыв о нем его врага Робеспьера, „заранее ревнивого и, однако,

справедливого“ (68—70). Говоря о происхождении войны, он объясняет, почему война была желательна для некоторых умов, к числу которых принадлежали жирондисты, руководимые Бриссо, и вот что сказано у Ламартина о них: „польщенные именем государственных людей, которое они уже принимали по тщеславию и которое им давали иронически, они хотели оправдать свои претензии дерзновенным поступком (courage d'audace). Они изучали Маккиавелли и смотрели на презрение к справедливости, как на доказательство гениальности. Им было мало дела до крови народа, лишь бы она послужила цементом для их честолюбия“ (98). Не ободряет, например, Ламартин и поведение жирондистов, совокупно с якобинцами, против фейльянов (120). В распри обеих республиканских партий по отдельным вопросам он не становится непременно на сторону жирондистов, а местами одинаково обвиняет обе партии в том, что из-за борьбы за власть они раздирали родину (206). Самое главное, чего должно требовать от историка, это не оценка, но понимание, но как раз Ламартин, собравший большой фактический материал и, последовательно его излагая, ничего в нем не анализирует, ничего на его основании не обобщает.

Важный вопрос о составе партии, в чем заключалась ее политическая идеология, на какие общественные элементы она опиралась, чем она отличалась от якобинцев и т. п., целый ряд частных вопросов, вытекающих из вопроса, что же такое были жирондисты, как бы не существует для автора их истории. Он очень занимательно рассказывает отдельные факты, говорит об отдельных лицах, приводит выдержки из целого ряда речей, но не перерабатывает этого материала в обобщающие формулы. В этом отношении он очень близок к Тьеру и очень далек от Мишле. Изложение плавно идет вперед, как в реке, течение которой не задерживается ни порогами, ни плотинами. Нигде никаких проспектов, ни резюме: автор только повествует, оживляя рассказ воображением, и в этом смысле действительно подражает древним, при том даже по внешности, разделив свой труд на шестьдесят одну книгу с подразделением каждой на маленькие главки. Лишь изредка, как островки, как оазисы, попадаются задержки в роде той, какую представляют собой главы VIII и IX двадцать девятой книги, где речь идет о жирондистах

и якобинцах во время выборов в Конвент. Тут, по крайней мере, есть некоторая общая характеристика, объясняющая положение дел.

Для характеристики взглядов и манеры Ламартина приведу наиболее существенные места на странице 387, где как раз говорится об этом.

„Жирондисты, читаем мы здесь, потеряли все, что эти власти и эти люди (Коммуна, Дантон, Марат, Робеспьер) приобрели. Они шли, часто с неудовольствием, за движением, их увлекавшим. Они ничего не предупредили, ничего не направляли во время этой бури; они по видимости господствовали над движениями, но как обломки находятся наверху тех волн, которые их несут. Все усилия, какие только они делали, чтобы умерить анархическое увлечение столицы, служили только показателями их слабости. Нация, более в них не нуждавшаяся, отходила от них... В своем нетерпении народ требовал от обеих партий крайних решений. Нужно было соперничать в энергии и даже в ярости, чтобы приобрести популярность... Якобинские газеты и трибуны выставили против жирондистов подозрения в роялизме и в умеренности... Жирондисты не могли отвечать на такие обвинения иначе, как беря верх над своими врагами в смелости. Но здесь их останавливал новый страх. Они не могли сделать лишний шаг по дороге якобинцев и Коммуны, наступив на кровь 2 сентября. Эта кровь им внушала ужас, и они без рассуждений останавливались перед преступлением. Решившись подавать голос за республику, они хотели в то же время конституции, которая дала бы республике некоторое сосредоточение власти и правильность монархии. У этих римлян по воспитанию и характеру народ и сенат римский были единственным политическим идеалом (?), который смутно предстал перед ними, как предмет для подражания. Вступление всего народа в правление, эра этой христианской и братской демократии, апостолом которой в своих теориях и речах был Робеспьер, никогда не входили в их планы. Вся политика жирондистов была в перемене правления. Политикой демократов было изменить самое общество. Одни были только политиками, другие философами в действии. Одни думали о завтрашнем дне, другие о потомстве. Таким образом, прежде провозглашения республики жирондисты хотели ей придать

форму, которая предохранила бы ее от анархии или от диктатуры. Якобинцы хотели ее провозгласить, на всякий случай, от чего, быть может, пролилась бы кровь и произошли бы преходящие тирании, но откуда получились бы торжество и спасение народа и человечества“.

Таких, как я выразился, островков очень мало на протяжении всей книги, и это слишком маленькие островки, встречающиеся при том, так сказать, по частным поводам, дающимся самим рассказом. Ламартин как бы бросает такие общие замечания, не развивая их основных мыслей, не связывая их между собою в целую историческую теорию. Для большинства читателей, отделенные одни от других десятками страниц, затерянные в изложении фактов и в приведении речей, они, эти коротенькие обобщения, должны были пропадать. Почти через пятьдесят больших страниц опять небольших два абзаца, приводимых нами дальше без всяких жупур. „Не только честолюбие управлять республикой, говорит на стр. 435 Ламартин, создало эти две большие факции. Это разделение имело причину в различии революционных догматов, исповедовавшихся каждою из двух партий, и в разной политике, внушавшейся этим различием догматов их вождям. Жирондисты были только случайными демократами (*démocrates de circonstance*). Робеспьер и якобинцы были демократами принципиальными. Первые, как Учредительное Собрание и Мирабо, стремились только низвергнуть старые аристократии церкви, дворянства и двора, чтобы заменить их более новыми аристократами ума (*intelligence*), образованности (*des lettres*) и состояния. Социальный переворот (*bouleversement*), вызванный жирондистами, останавливался на первых слоях общества. Раз на вершинах государства уничтожены трон, церковь и знать, они хотели сохранить все остальное. Удовлетворив свой гений и свою гордость, они мечтали остановить революцию, поставить позади себя для демократии преграду и сохранить внизу все неравенства и все несправедливости, над которыми они одни возвысились бы произведенным ими движением. Они скрывали свое предпочтение к английской форме правления и к сенатским учреждениям, которые создавали бы, если не главенство одного человека, то, по крайней мере, главенство одного класса. Самые передовые из этих государственных людей обнаружи-

вали американские и федеративные стремления, которые, деля республику на обособленные и независимые группы, позволили бы провинциальным влияниям и семьям сделаться олигархиями в отдельных департаментах“.

Это место нужно было привести здесь не просто в виде образца, как коротко говорит Ламартин о таких важных вещах, как политическое мирозерцание жирондистов, но и потому, что и по существу дела такая характеристика основана не на анализе сочинений и речей жирондистов, а на впечатлении, какое они производили... на своих врагов. Ламартин в отдельных случаях верно судит о причинах слабости и неуспеха политики жирондистов (559, 583 и др.), но о многом другом в этой политике судит ошибочно, например, голословно утверждая, будто жирондистский проект конституции был „по духу своему менее народен“ (*moins populaire dans son esprit*), чем яacobинская конституция 1793 г. Говорящая об этом глава XVIII тридцать девятой книги содержит в себе всего пятнадцать строк с совершенно невразумительной мотивировкою, которую приводим целиком: жирондистский проект „ограничивался установлением народного верховенства в его самом неопределенном признании (*acceptation*) и в восстановлении за каждым гражданином самой широкой доли свободы, совместимой с коллективным действием государства. Единство общества, равным образом, было его основою, но в уме жирондистов это единство было единством национальным; у Робеспьера это было единство человеческое (*unité humaine*). Конституция, предложенная жирондистами, была конституция французская; конституция, задуманная монтаньярами, учреждением универсальным“ (587). В действительности, жирондистский проект, как известно, был демократичнее яacobинской конституции, потому что последовательнее проводил принцип непосредственного народовластия, все же аргументы, только что приведенные, даже мало вразумительны.

Общий свой приговор Ламартин высказывает в главах XIII и XIV сорок второй книги по поводу катастрофы жирондистов 31-го мая — 2 июня 1793 г. и в конце книги сорок седьмой по случаю казни 21 жирондиста. „Эта партия, как родилась, так и умерла в восстании (*sédition*), которое было легализовано победой... Она пала от слабости и нерешительности“.

тельности, как и король, которого она низвергла... История спрашивает себя, спасла ли бы республику победа Жиронды 31 мая, были ли у этих людей... элементы правительства, в одно и то же время диктаторского и народного, способного подавить внутренние конвульсии Франции и доставить победу нации вне ее и подготовить наступление правильной республики, предохранив ее от королей и от демагогов? История, не колеблясь, отвечает: нет. Жирондисты не представляли ни одного из этих условий. Мысли, единства, политики, решимости, ничего этого у них не было. Они совершили революцию, сами ее не желая, они ее направляли (*gouvernaient*), ее не понимая. Революция должна была взбунтоваться против них и от них ускользнуть. Две вещи нужны государственным людям, чтобы направлять крупные движения общественного мнения, в которых они участвуют: полное понимание этих движений и страсти, выражением которых в народе являются эти движения. У жирондистов совершенно не было ни того, ни другого". Если с этим и можно согласиться, то уже совершенно непонятен следующий приговор: „конституция, которую они предлагали, была больше похожа на сожаление, чем на надежду (?). Они у нее оспаривали один за другим все органы жизни и силы. Под другой формой аристократия обнаруживалась во всех буржуазных учреждениях. Чувствовалось, что народный принцип там был заранее задушен (!). Они не доверяли народу“ (632) и т. д. Такие слова можно было бы написать только при полном незнании текста жирондистского проекта,—незнании, которое трудно предположить у специалиста по истории жирондистов. В счет жирондистам Ламартин ставит и „самоубийственный федерализм их департаментов и прибавляет, что поуправляй они еще несколько месяцев, Франция перестала бы существовать и как республика, и как нация“. 31-ое мая Ламартином оправдывается, как повторение 10 августа ради спасения Франции (633).

Это в главе 42, а в 47 вот что: „таков был последний час этих людей. Они обладали в течение своей короткой жизни всеми иллюзиями надежды: они имели, умирая, самое великое счастье, которое бог предоставляет великим душам: мученичество, поднимающее до святости жертвы—человека, убиваемого за свое убеждение и ради отечества. Судить их

излишне. Они были осуждены своею жизнью и смертью. Их вина была тройкой. Первая—та, что они не имели смелости (*audace de leur opinion*), не колеблясь объявить республику до 10 августа, при самом открытии Законодательного Собрания. Вторая — в том, что они конспирировали против конституции 1791 года, которую сами создали (*faite*) и которой присягали, вынудив, таким образом, национальный суверенитет действовать подобно факции, что приложили свою руку к казни короля и тем самым вынудили революцию употреблять жестокие средства (*scu-els*). Третья вина—желание в Конвенте управлять, когда нужно было сражаться“. Все это очень странно, но Ламартин в жирондистах находит и „три добродетели, которыми искупаются, говорит он, многие ошибки в глазах потомства. Они обожали свободу. Они основали республику, эту раннюю (*précocse*) истину будущих правлений. Наконец, они умерли за то, что отказали народу в крови. Их время присудило их к смерти. Будущее их присудило к славе и к прощению. Они умерли за то, что не хотели позволить свободе запятнать себя, и на их памятнике будет начертана надпись, которую Верньо, их глашатай, начертал своею рукою на стене тюремной камеры: лучше смерть, чем преступление (*potius mori quam foedari*)... Юность, красота, иллюзии, гениальность, античное красноречие, все казалось исчезло вместе с ними из отечества“ (722).

Собственно здесь и кончается история жирондистов, если не считать еще бежавших жирондистов, о которых говорится в книге пятьдесят второй. Мы видели, что история революции доведена у Ламартина до 9 термидора, с которым, как он выражается, „кончается ее великий период и начинается второе поколение революционеров: республика из трагедии впадает в интригу, из спиритуализма в честолюбие, из фанатизма в жадность“ (927). Весь труд заканчивается своего рода риторическим гимном революции. Никогда во всемирной истории „не было на протяжении столь короткого времени такого извержения идей, людей, натур, характеров, гениев, талантов, катастроф, преступлений и добродетелей. Можно было бы сказать, что земля в своей работе рождения прогрессивного порядка обществ делает усилие плодородия, подобное энергическому делу возрождения, которое Провидение хочет совершить... Свет блистает на всех точках горизонта.

сразу. Потемки отсутствуют. Предрассудки исчезают. Совести освобождаются. Тирании трепещут. Народы поднимаются. Троны рушатся. Европа в испуге пытается нанести удар, но сама, пораженная ударом, отходит, чтобы издали созерцать великое зрелище. Это битва на смерть за дело человеческого разума в тысячу раз славнее, чем победы последующих армий. Она завоевывает миру неотчуждаемые истины“ и т. д. в таком же роде, а дальше: „голова этих людей падают, одни справедливо, другие несправедливо, но все они падают в деле (à l'oeuvre). Обвиняют или оправдывают, плачут или проклинают. Отдельные лица невинны или виновны, трогательны или ненавистны, жертвы или палачи. Действие величественно, и идея парит над своими орудиями, как всегда чистое дело (cause) над ужасами поля сражения... Нация, без сожаления, должна оплакивать своих мертвых и не находить утешения ни из-за одной головы, несправедливо или гнусно принесенной в жертву, но она не должна жалеть своей крови, когда она пролита ради расцвета вечных истин. Бог возложил эту цену на прорастание и расцвет своих планов в человеке. История революции славна и печальна. Как Идеи произрастают (végètent) человеческою кровью. Откровения сходят с эшафотов. Все религии обожествляются своими мучениками... на другой день после победы и накануне другого боя... Но если в этой истории много траура, в ней особенно много веры. Она похожа на античную драму, в которой, когда один ведет рассказ, хор народа воспевает славу, оплакивает жертвы и возносит гимн утешения и надежды к небу“ (928).

В таком тоне не писали в эпоху реставрации, когда на революцию смотрели более трезвым взглядом. И там были апологии революции, но не было такой ее приподнятой идеализации, какую мы видим здесь у Ламартина и видели у Мишле. У последнего ее даже больше, чем у первого. Но Ламартин не призывал следовать по стопам отцов. „Не будем, читаем мы еще в последних строках книги, оправдывать эшафот отечеством и проскрипции свободой; не будем ожесточать душу века софизмом революционной энергии; оставим человечеству его сердце, как самый верный и самый непогрешимый из его принципов“. Во время революции 1848 года, наоборот, именно готовы были подражать деятелям великой революции и не жирондистам, которых и Мишле, и

Ламартин одинаково не выставляли в качестве образцов для подражания, а якобинцам, нашедшим своих апологетов и даже панегиристов в лице Бюшеза и Луи Блана, внесших в понимание якобинизма социалистический оттенок своей эпохи.

ГЛАВА VI.

Истории революции Бюшеза и Луи Блана.

Переходим теперь к двум другим историкам революции, вышедшим из кругов демократической оппозиции против буржуазного режима июльской монархии. Один из них, Бюшез, был сверстником Минье, Тьера, Ламартина, родившихся в конце XVIII века, другой, Луи Блан, родился в конце империи (1811) и был на полтора десятка лет моложе тех. Такой же приблизительно промежуток времени отделяет выход первого тома его труда от появления в печати „Парламентской истории французской революции“, но история Луи Блана стоит гораздо ближе к этой последней, нежели к писавшейся в одно время с нею истории Мишле. Разница была в том, что Мишле был политическим демократом, Луи Блан, как и Бюшез, — демократами социальными.

Как было уже сказано выше, первоначально это были два разных течения общественной мысли, пока не образовалось третье из соединения политического радикализма с социализмом, как стало тогда же называться новое направление, ставившее себе задачей не государственное, а общественное переустройство. В то время, как и либералы и радикалы вели свое происхождение от французской революции, родоначальники социализма к ней совсем не примыкали, даже сторонились движений, бывших ее продолжением, и не разделяли ее лозунгов. В этом отношении особенно характерен сен-симонизм. Основателю этого учения, Сен-Симону, было под тридцать лет, когда началась революция, но она его совсем не увлекла. Его отношение к ней выразилось преимущественно в участии, какое он принял в покупке распродававшихся национальных имуществ, главным же интересом его в это время, как, впрочем, и потом, была наука. Позднее он мечтал о том, чтобы духовное руководство обществом принадлежало людям

науки, и, говорил, что когда власть была во Франции в руках людей из народа, они сумели только произвести в стране голод. К режиму Наполеона Сен-Симон относился сочувственно, пока сам „реорганизатор“ Франции был в силе, а если в эпоху реставрации Сен-Симон взял сторону „индустриалов“ против „феодалов“, то хартии 1814 года, из-за которой шла политическая борьба, не придавал большого значения, даже советуя „индустриалам“ не терпеть больше, чтобы их называли либералами. В самом конце своей жизни он писал о новой религии, которая должна была, по его мысли, направить общество к наиболее по возможности быстрому улучшению быта самого бедного класса, и быть прежде всего религией человеческого братства. Не советуя рабочим идти за другими партиями, а составить свою, Сен-Симон стоял, однако, очень далек от того, чтобы рекомендовать революционные средства, находя, что лишь одна любовь может создать благо наиболее многочисленной части народа.

Непосредственные ученики Сен-Симона в своих публикациях оставались совершенно равнодушными к происходившей борьбе между роялистами и либералами и даже относились к либерализму отрицательно, как к религиозному и политическому протестантизму, неспособному быть основой правильной общественной организации, равно как высказывались и против народовластия. Они отрицательно взглянули на самый принцип свободы, как на источник анархии, которую видели одинаково и в умах, и в области материального труда. Анархию должна была заменить организация с разделением общественной власти на духовную и светскую. Принцип индивидуальной свободы уступал место у сен-симонистов принципу социального авторитета. Их социализм был авторитарный, а насколько они были далеки от политики после июльской революции, видно из того, что удаление их в подобие своего рода монастырского общежития произошло одновременно с одной из революционных попыток против июльской монархии. Бюшез, как известно, одно время был членом этой школы, пока она не превратилась в секту, и из нее-то он усвоил свое общее антииндивидуалистическое направление. Стоявший в юности очень близко к Сен-Симону Огюст Конт, родоначальник позитивизма и основатель социологии, тоже был настроен антииндивидуалистически и, будучи сторонником всего научно-

положительного и „органического“, осуждал весь XVIII век, как эпоху господства политической метафизики, приведшей к критическому, т. е. к отрицательному, а не к созидательному, организующему движению.

Другое социалистическое направление эпохи, фурьеризм, в котором не было авторитарности сен-симонизма и даже высоко ставилась индивидуальная свобода, тоже стоял в стороне от политических партий того времени. Как и Сен-Симон, Фурье был уже взрослым во время разгара революции, но он ею не увлекся и даже стал относиться к ней враждебно. Характерно, например, что Фурье ставил Бабефа на одну доску с Маратом. Либерализм, который в глазах сен-симониста Анфантена был шарлатанством, Фурье считал переодетым и плохо загримированным эгоизмом.

С антииндивидуалистической проповедью в то время выступали и другие писатели, каковы были еще Леру, Кабе и др., да и последователи „икарийского коммунизма“ последнего думали осуществить свои идеи не путем революции, а посредством основания мирной общины в Новом Свете (что пытались, как известно, делать также и фурьеристы). Аполитичность и антииндивидуалистичность утопического социализма отклонила его от сближения и с радикализмом, и с либерализмом. Но когда тем не менее возникло социалистическое направление, сделавшееся и политическим, революционным, оно явилось, так сказать, синтезом социализма и республиканского демократизма, сохранив антииндивидуалистический дух авторитарного социализма. Критическое отношение к практике экономической свободы, утвержденной французской революцией, и к ее теории, формулированной школой Адама Смита в области народного хозяйства, было перенесено и в область государственной жизни. Политический либерализм был объявлен учением ложным и вредным, так что новая точка зрения на революцию уже не могла быть точкою зрения г-жи Сталь. Главный теоретик либерализма двадцатых годов. Бенжамен Констан, критиковал учение Руссо о верховной власти народа, но не потому, что Руссо помещал ее в народе, а потому, что придавал ей неограниченный характер, противный праву личности и наибольшей свободе во всем. Это-то самое право личности было теперь не только взято под сомнение, но и объявлено принципом антисоциальным. Конечно, демо-

краты тридцатых и сороковых годов относились к нему отрицательно не по тем мотивам, какие были у реакционных писателей предыдущей эпохи, но выводы были сходны. Недаром Бюшез был в одно и то же время и католиком, и учеником сен-симонистов.

Демократическое движение тридцатых и сороковых годов сопровождалось возвращением к якобинской традиции. Оно само было республиканским, „народовластным“ и, можно сказать, „руссоистским“.

Либералы шли от Вольтера и Монтескье, демократы — от Руссо. В последнем сочетались, как известно, культурный реакционер и революционер в политике, что повторилось и в Бюшезе. Во время самой революции велся двойной хронологический счет: „в таком то году свободы, в таком то году равенства“. Принципы 1793 года часто противопоставлялись принципам 1789 года, равенство — свободе. В тридцатых годах будущий историк французской революции Токвиль специально изучал вопрос о том, какая комбинация условий допускает реальное сочетание свободы и равенства, но историки, писавшие о революции в эту эпоху, решали вопрос в смысле как-бы вполне непримиримого антагонизма. На Бюшезе и Луи Блане отразилось миросозерцание целого исторического периода в жизни Франции. Только когда она еще раз, после неудачи с республиканским опытом 1848 года, очутилась под пятой деспотизма, Токвиль и Кинэ в своих трудах о революции напомнили, что революция в особенности была движением к свободе.

Бюшез¹⁾.

Ровно через десять лет после выхода книги Минье стала появляться отдельными томами большая коллекция исторического материала под заглавием „Парламентская история французской революции, или дневник национальных собраний с 1789 до 1815 года, содержащий рассказ о событиях, прениях в собраниях, дискуссии в главных народных обществах

¹⁾ О Бюшезе, Филиппе-Жозефе-Бенжамене (1796—1865), почти нет отдельных работ, кроме небольших очерков, в роде предисловия к IV (посмертному) тому его „Traité de politique et de science sociale“ или статья, и „Ein Schüler Saint-Simon's Users Zeit“ за 1868 год, не говоря, конечно о биографических словарях и общих трудах.

и особенно в обществе якобинцев, протоколы парижской коммуны, заседания революционного трибунала, отчеты о главных политических процессах, подробности о годовых бюджетах, картину морального движения, извлеченную из газет каждой эпохи и пр. и предшествуемый введением по истории Франции до созыва Генеральных Штатов¹⁾, причем авторами были названы П.-Ж.-Б. Бюез и П.-С. Ру¹⁾. В первом томе было 480 страниц, во втором 476, а в иных томах то несколько больше, то меньше: например в 39, предпоследнем—531, в последнем,—422, не считая введений с особой нумерацией римскими цифрами. Последние томы этой коллекции вышли в 1838 году, за десять лет до февральской революции, так что на осуществление всего этого литературного предприятия потребовалось пять лет. Это—самая значительная вещь, какая только была сделана для истории французской революции в тридцатых годах. „Парламентская История“, до начала издания в конце шестидесятих годов упоминавшегося выше „Парламентского Архива“, оставалась главным собранием документов, наиболее доступным для историков, в чем и заключается большая заслуга составителей коллекции. Но в ней есть и большие недостатки. Перепечатывая источники уже бывшие в свое время опубликованными, составители, к сожалению, не указывали, откуда они что берут, не отмечали, было ли при том это напечатано, или появляется впервые на основании архивных документов, которые иногда в этом издании впервые появлялись в печати, но опять таки без обозначения, где можно было бы найти подлинники.

Далее, подбор документов страдает односторонностью и даже прямой тенденциозностью, в якобинском направлении, с явным предпочтением всему, что относится к Робеспьеру. Кое-где составители превращаются в рассказчиков от себя, но без ссылок на источники сообщаемых ими сведений, а местами передают своими словами то, что интересно было бы прочесть в подлинном виде. В первых томах отсутствуют даже оглавления, и только начиная с V тома, в начале которого помещается материал, относящийся к марту 1790 года, мы

¹⁾ Histoire parlementaire de la révolution française ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815 contenant (следует—переведенное выше перечисление) par P.-J.-B. Buchez et P. C. Roux.

имеем „tables de matières“, занимающие около двух-трех, редко больше страниц, а индексов именных и реальных, которые облегчали бы справки, и совсем нет. Отыскивать что либо в отдельных томах трудно, если наперед не знаешь точно, к какому месяцу, к началу ли его, к середине или к концу относится то или другое в этом материале.

В I томе имеется на 138 страницах (6—144) очерк истории Франции, очень неравномерный, местами поверхностный¹⁾, за которым следует обзор „непосредственных причин революции“, занимающий еще приблизительно столько же (145—277) и уже заключающий в себе кое-какие документы. В отделе о созыве Генеральных Штатов (278—352) обращают на себя внимание некоторые подробности о выборах в Генеральные Штаты в Париже (312—320) и очень короткое изложение cahiers de doléances 1789 года, „знакомящих, как сказано тут, с состоянием общественного мнения, с успехами и потребностями эпохи“, „выражающих в пропорциях, точно соответственных действительности, разные притязания разных сословий“, и т. п., словом „составляющих необходимое введение (préambule) к французской революции, где находится объяснение сопротивлений, какие она должна была встретить, и оправдание всех проявлений ее гнева“ (322). Здесь, именно, даны резюме наказов духовенства, дворянства и третьего сословия, занимающее тринадцать страниц (322—335) без указаний, кем и как сделаны эти резюме, и извлечение из наказа третьего сословия города Парижа на шестнадцать страниц (335—351), заимствованное из „Монитёра“, как известно, в то время не издававшегося и, так сказать, присоединенного, конечно, из документальных данных только позднее²⁾. Во всяком случае, однако, важно, что в „Парламентской Истории“ впервые поставлены были на очередь вопросы о выборах в Генеральные Штаты и о наказах 1789 года, о которых Минье и Тьер едва-едва упоминают.

Большая часть томов этой коллекции относится к периоду 1789—1795 года. Вся история директории укладывается лишь на четырех сотнях страниц 37 тома (97—507) и на полуторе сотне 38 тома (1—158), эпоха консульства—на трех

¹⁾ Укажем, что в 1859 г. Бушез издал „Histoire de la formation de la nationalité française“.

²⁾ См. выше, стр.

с половиною сотнях страниц 38 тома, где помещается весь период империи и начинается отдел о реставрации, доведенный в 40 томе до вторичного возвращения Бурбонов в 1815 году.

Главным работником в составлении коллекции и во всяком случае ее руководителем был первый из двух авторов, значащихся на заглавных листах сорока томов, т.-е. Бюшез, и ему принадлежали основные взгляды на революцию во всем издании, а не Ру или Ру-Лаверню, как потом он обозначил свое имя на заглавном листе вследствие того, что его часто смешивали с Пьером Леру, известным мистическим социалистом тридцатых годов, имевшим во Франции многочисленных последователей. Как-раз в год выхода в свет последнего тома „Парламентской Истории“ Леру издал книгу о равенстве, написанную в духе религиозного демократизма, которым был проникнут и Бюшез.

Бюшез был, как уже сказано выше, сверстником своих предшественников в деле изучения истории революции, Минье и Тьера (род. в 1796 году). В ранней молодости он принимал участие в тайной политической агитации, происходившей в царствование Людовика XVIII, принадлежа к революционной фракции тогдашней политической оппозиции против Бурбонов. Во второй половине двадцатых годов Бюшез примкнул к сеп-симонистам, но когда эта школа стала превращаться в религиозную секту, он от нее отошел, находя, что никаких новых догматов веры не нужно. Этот политический радикал, сделавшийся социалистом, остался верным католицизму, в котором был воспитан и которому был глубоко предан. Но то был совершенно особый католицизм, не имевший ничего общего с клерикализмом. В начале тридцатых годов Бюшез в основанном им периодическом органе „L'Européen“ и в книге „Введение в науку истории“ развивал свои политико-социальные и революционно-философские идеи, среди которых важное место занимала идея прогресса в природе и в истории: цель прогресса он усматривал в том, что было возведено христианским откровением. В его мирозерцании сочетались пламенный католицизм, революционный радикализм и утопический социализм, с точки зрения которых он был противником всякого индивидуализма, поскольку индивидуализм противоречил требованиям религиозного единства, государственной цели и общественного блага. Подчинение

личности целому, будет ли им единоспасающая церковь, или демократическая республика, или социалистическая община, вот то общее, что связывало в его уме христианство в его католическом понимании, французскую революцию в ее понимании якобинском и то, что он воспринял в сен-симонизме с чисто авторитарным характером последнего. Индивидуализм для него, это—эгоизм, личный интерес, совокупность антисоциальных инстинктов. Индивид не в состоянии изменить хотя бы единую ноту в делах мира сего, ибо всякий прогресс совершается только массами, народом, человечеством, отнюдь не единичною личностью. Индивидуализм в религии—ересь, в политике—индивидуизм, в экономике—свободная конкуренция. Католицизм, якобинизм, сен-симонизм одинаково авторитарны, но если Бюшез сходил с сен-симонистами в заботе о более справедливом распределении благ мира между людьми, то в мотивах этого он с ними расходился. Он был противником сен-симонистской „реабилитации плоти“, столь противной духу христианства с его аскетическими требованиями. Бюшез прославлял добровольную бедность, от каждого требовал самоотречения, самопожертвования во имя великой и верховной цели, служить которой призваны как и отдельные лица, так и целые народы, и все человечество. Средневековой католический аскетизм сливался в его представлении с суровою республиканскою доблестью и с подчинением личного блага общему, которого требовал сен-симонизм. Такие, в общем, взгляды Бюшез выразил в книге, вышедшей уже по окончании „Парламентской Истории французской революции“: „Опыт полного трактата философии с точки зрения католицизма и прогресса“. Держась далеко от представителей официальной церкви, он искренне считал себя католиком, а его ближайший сотрудник Ру был и прямо самым правочерным сыном церкви. В социальной сфере Бюшез не довольствовался проповедью принципов нового общественного строя, но указывал и на средство, ведущее к цели, в виде производительной ассоциации. Завязавши отношения в рабочей среде, он даже добился осуществления в ней кое-каких товариществ. Конечно, такой человек, предприняв собрание материалов по французской революции, не мог не изложить и общих своих на нее взглядов, а в этих взглядах не мог ограничиться одною политическою стороною революции, не

поставив себе задачи выяснить ее отношение к социальному вопросу и к религии.

Изложения этих взглядов нужно искать, главным образом, в тех предисловиях, которые Бюшез предпосылал отдельным томам своего грандиозного издания. Обыкновенно эти предисловия стоят вне всякой связи с содержанием данного тома, а с другой стороны, и между собою связаны только единством общей мысли, вовсе не являясь продолжением одно другого, хотя конечно, упомянутый выше якобинский подбор многих документов был тесно связан с основной мыслью автора предисловий. Бюшез смотрит на революцию глазами правоверного якобинца, внося вместе с тем в свой якобинизм социалистический оттенок. Это уже не та точка зрения, на которой стояли Тьер и Минье, видевшие в якобинизме лишь известный момент революции, нужный в ее ходе в свое время, но не бывший для нее основным принципом. Цель революции для них была в свободе, а Бюшез как раз в стремлении к свободе видел уклонение от той цели, которую для него должна была осуществлять революция.

Общее историческое введение, предпосланное всему изданию, Бюшез начинает так:

„Французская революция есть последнее и наиболее ушедшее вперед (avançée) следствие новой цивилизации, а новая цивилизация вышла целиком из Евангелия. Это — неопровержимый факт, если справиться с историей и особенно с историей нашей страны, изучая в ней не только события, но также и движущие идеи этих событий. И это — неоспоримый факт, если рассмотреть и сравнить с учением Иисуса все принципы, которые революция начертала на своих знаменах и в своих кодексах, эти слова равенства и братства, которыми она возглавляет все свои акты и которыми она оправдывала свои дела“. Сославшись на то, что когда сам он, Бюшез, несколько раньше высказал эту мысль, она „произвела скандал“, он прибавляет, что „с тех пор ее приняли многие умы, и, может быть, недалек тот день, когда она сделается популярною“ (I, 1). „Как, спрашивает он, до сих пор представлялась наша революция? Одни, и это большинство, видят в ней происшествие (accident), которое породило немножко добра и много зла, — происшествие, происхождение которого ищут в нескольких мелких случайных событиях, в финансовом

затруднении, в неловких действиях власти, в нахальстве (insolence) дворян, в семейных скандалах и меньше еще, чем в этом, в недовольстве или честолюбии некоторых личностей... Это жалкое объяснение, продолжает Бюшез, предполагающее, что в общественных событиях нет ничего, кроме случайностей и страстей, это глубокое незнание цели человечества было, по нашему мнению, причиною всех бедствий, которые сопровождали революцию, как и теперь это — причина всех сопротивлений, встречаемых везде правильным прогрессом“ (стр. 2). Бюшез не соглашается и с теми, которые „представляли революцию, как результат проповеди XVII и XVIII веков“, потому что, спрашивает он, „какое поучение извлекла власть из тогдашних писаний“, как не то, что „надлежало подавлять мысль и закрывать для людей путь к источнику образования? Другие еще писатели, читаем мы дальше, ссылались на естественное право. Но прежде, нежели искать в нем элемента оправдания, нужно было бы оправдать его самого. Не в высшей ли степени достаточно (surabondamment) доказано, что это право неспособно основать общество?“ Естественное право противоположно общественному долгу, и как-раз „во имя естественного права все те, которые не были роялистами, между ними жирондисты, сопротивлялись революции“ (стр. 3). Нужен другой принцип, принцип „неоспоримый и для королей, и для наций. Нужно теперь разумное основание (raison), которое было бы стремлением для всех, для отдельных людей и для целых народов, каково бы ни было их положение, ибо в нашей революции есть нечто иное, кроме развалин, есть начало строительства... Нам нужна для начала обмена мнений (discussion) почва, на которую станет каждый, если только он родился европейцем, и вот с этою целью мы выбираем именно христианскую почву. События революции, как только их на нее поставить, оправдываются в глазах всех — и народов, и королей, и священников... Пусть не говорят, что народ предан революционному движению для завоевания каких-либо материальных благ... Нет, французы, бросаясь в революционный энтузиазм, видели в этом только низшую цель, да и то лишь победу, которою воспользуются разве только внуки, — в этом обретении лучших условий физического быта (se mieux être physique): они отдали себя во власть принципов (стр. 4); они по-

жертвовали собою, чтобы создать сосредоточие великих идей равенства и братства, обещанных в обладание будущим поколениям. Найдется ли человек, поставленный в мире достаточно высоко или низко, чтобы осмелиться на оскорбление всех этих мучеников, умерших за дело с такой высокой целью!" (5).

Вот наиболее характерные страницы в самом же начале первого тома. О выведении революции из христианства речь будет еще впереди, здесь же обратим внимание на то, что Бюшез, говоря о причинах революции, смешивает понятия причин производящих (*causae efficientes*) с причинами конечными (*causae finales*), раз хочет объяснить происхождение революции из ее цели. Эту цель он полагает в достижении равенства и братства: характерно, что из триединой формулы революции он пропускает тот ее член, который называется свободой. Наконец, Бюшез совершенно отрицает, чтобы источником революции могло быть какое-либо стремление к улучшению материального благосостояния. Это—высшая идеализация революции. Для Бюшеза как католика, постановка им революции в генетическую связь с „абсолютной истиной христианства“ является отправным пунктом в деле ее возвеличения и преклонения перед нею, как перед явлением идеальным, стремившимся к высшим целям, как перед движением бескорыстным, самоотверженным, строго принципиальным. Затем идет идеализация народа: только народ понимал истинный смысл великих принципов революции.

Но (и это другая именно основная мысль Бюшеза), — по „буржуазия стала стремиться превратить себя в правящий класс“, читаем мы в предисловии ко второму тому, или, как сказано несколькими строками дальше, „стала стремиться к тому, чтобы конфисковать революцию в свою пользу“ (стр. II). Если в нации, шествующей вперед и делающей усилия для достижения свободы, равенства и братства, провозглашенных Евангелием, „один класс хочет остановиться в дороге, этот класс необходимо делается нацией в нации, с частным интересом против общего, одним словом, с эгоизмом, и следовательно, в оппозиции по отношению ко всем тем, которые отдают себя счастью будущих поколений... Если этот класс начинает господствовать, то будет действовать с единственною целью, составляющею частный интерес,

интерес рождающийся и умирающий, т. е. интерес местности, корпорации, профессии и т. п. В самом деле, не подлежит сомнению, что буржуазный дух имеет существенно местный и профессиональный характер? Какая политическая доктрина соответствует подобным целям? Очевидно та, которая устанавливает, что местности (*les localités*) суверенны и независимы одни от других, что государственность не что иное, как добровольная федерация этих местностей, суверенных каждая у себя, и что, наконец, общественная цель есть не что иное, как федерация частных целей". Бюшез не одобряет такого понимания государства и думает, что настоящая республика не должна была быть подобной федерацией, а скорее напоминать монархию с „ее единством, с ее централизацией, с интересом, который господствует над всеми другими и все другие себе подчиняет“. „Идея республики в буржуазной доктрине, говорит он, была самым строгим последствием самого ее принципа“ (стр. III). Декларация прав человека и гражданина, по его словам, была лишь освящением частного интереса и эгоизма, служащего ему основанием. „Если бы замечает он в одном месте (стр. 14 в XVI томе), Учредительное Собрание провозгласило доктрину долга, возможны были бы только две партии — благонамеренных и злонамеренных. Эбер и ему подобные не могли бы в таком случае проповедовать. У Жиронды даже не могло бы возникнуть повода излагать свои доктрины, ибо где долг, там единство“. Бюшезу не нравится, что „почти все люди, волновавшиеся из-за общественных дел вне Собрания, равным образом стояли на точке зрения индивидуального права, или, другими, более ясными словами, они восставали во имя своих личных интересов против привилегий, их оскорблявших“ (т. III, стр. 111). Тремя аспектами блага он называет самоотречение, спиритуализм, общественную цель, тремя аспектами зла — эгоизм, материализм, индивидуальную цель (т. IX, стр. VII). Первые представляют собой наследие христианства и заветы революции. „Начало и конец революции, по нашему мнению, заявляет Бюшез, заключается в этих словах: свобода, равенство, братство или, другими словами, в этой цели, в социальной реализации христианской морали (т. III, стр. V). Самоотречение, общественная цель, братство, ведут к единству. Вообще идея единства — церковного, государственного, на-

ционального—занимает самое видное место в соображениях Бюшеза. Единоспасающая католическая церковь, вне которой нет истины, „единая и нераздельная республика“ якобинцев, братское единство французской нации, вот что Бюшез постоянно имеет в виду, думая о революции и думая о прошлом своего отечества. Это напоминает собою формулу Франциска I: „un roi, une foi, une loi“, или уваровскую: „самодержавие, православие, народность“ с заменой, в обоих случаях, монархической государственности республиканскою, но с сохранением требований единства веры и национальности. Бюшез в одно и то же время является самым убежденным католиком, самым строгим государственным и самым последовательным националистом.

С католической, политической и национальной точки зрения Бюшез осуждал, например, реформационное движение XVI века во Франции, в котором видел исключительно словесное дело дворянства. „Громадное большинство нации, говорит он, поднялось против аристократических замыслов, и они погибли в кровавой расправе Варфоломеевской ночи и в войнах Лиги. Французский народ остался католическим прямо из-за национального чувства или, вернее говоря, сохранился единым, благодаря своей католической вере“ (т. XIII, стр. XV). Бюшез даже останавливается в одном из своих предисловий (в томе XIV) на протестантизме, принципы которого называет „чудовищными догматами“: это — „философия, которая ставит отдельное я впереди всех вещей, которая все из него выводит, как мораль, так и науку“: она приводит к аристократии, т. е. к „превосходству индивида над всеми“ и т. д. (стр. IX). „Французская революция, замечает Бюшез, не представляет ничего подобного тому, что мы видели, описывая политические акты протестантизма. Она действовала способом, вполне противоположным реформации. Она начала с утверждения народного верховенства и догмата о всеобщем братстве. Ее сила вытекала не из воли государственной власти или из интереса высших классов, а из твердых верований масс... Никогда не существовало такого единства среди столь большого количества людей и со столь малым числом, со столь незначительным влиянием вождей. Можно сказать, что в руках революции лица были орудиями, которые она ломала тотчас же, как только они переставали ей

служить. Так, католик де-Местр, удивленный при виде этого действия, всегда как-бы разумного, всегда стройного, каков бы ни был его видимый вождь, говорил, что здесь еще один раз бог создал новое общество руками франков" (стр. XI). Провиденциализм сближает демократа и социалиста Бюшеза с монархистом и аристократом де-Местром. Протестантизм провозгласил верховенство индивидуального разума, тогда как революция превозгласила верховенство народа. „Принцип верховенства народов, говорит Бюшез, прежде всего есть принцип католический в том смысле, что он предписывает каждому повиноваться всем. Он предполагает, что существует доктрина, которой должны себя отдавать, как отдельные лица, так и целые поколения. В чем же заключается эта доктрина? На этот счет революция высказалась совершенно ясно. Она ответила, что это—догмат братства. Принцип народного верховенства есть принцип католический и потому еще, что он охватывает собою все прошлое, все настоящее и все будущее... Таким образом, верховенство народа есть, в сущности, верховенство цели общей деятельности, образующей нацию" (стр. XII). Бюшез смотрит и на догмат братства, как на католический, между прочим, по той причине, что он „вытекает из ученья церкви и отвергает эгоизм, к которому ведет протестантизм". У этого демократа-католика, кроме того, идея братства толкуется и в космополитическом смысле, вполне соответствующем католическому универсализму. Догмат братства — католический в том, что он „стремится сделать из всех человеческих обществ единую нацию, подчиненную равенству обязанностей" (стр. XIII).

Противопологая, таким образом, принципы братства и эгоизма, Бюшез и среди предшественников революции, и среди ее деятелей различает два направления, две „школы", различает людей, проникнутых духом религиозной веры и братства, и неверующих эгоистов (стр. XIV и XV). По его мнению, экономисты были представителями первой школы, пока их наука не сузилась, как только „к ней приложили руку протестанты". „Католик Тюрго", применивший идею прогресса к истории, „имел в виду большую часть улучшений, которые потом были произведены революцией". Руссо называется здесь „артистом и вульгаризатором этой школы". Родоначалником

другой Бюшез называет „англичанина Локка“, а завершителем Кондиньяка с его материализмом.

В томах XV и X помещены обширные предисловия, в которых дается целая историко-философская картина реформационного движения XVI века с ее antecedентами и следствиями в области философии, при чем выдвигается Гус, как человек, „в речах которого не было ничего подобного верховенству разума, провозглашенному Лютером“, и за Гусом признается нравственная правота, хотя бы в области мысли он заблуждался. Гус взывал не к индивидуальному разуму, а к „единству народа по закону Иисуса Христа“, говоря: „*unus populus in lege Christi*“ (т. XVI, стр. IX). Гуситское движение, равно как анабаптистское, в религиозных движениях прежних веков особенно напоминали Бюшезу французскую революцию, понимаемую им, как религиозное осуществление братства.

Предисловиями, в которых Бюшез излагал свои общие взгляды, снабжены далеко не все томы его „Парламентской Истории“, да и логической последовательности в темах этих предисловий нет. Повидимому, он в них отвечал на делавшиеся ему разными лицами вопросы. Только в XIX томе, уже близком к середине всей коллекции, Бюшез вступает, как он выражается, на почву революции. В этом томе начинается история Конвента, которой в тексте предпослан краткий обзор предыдущего времени, а в предисловии статья о сентябрьских убийствах 1792 года.

В тексте Бюшез проводит ту мысль, что „движение, начавшееся в 1789 году, было единым, если рассматривать его в его непрерывности (*continuité*) и в его цели“. Сначала цель была одна и та же: „это было отрицание прав рождения или, другими словами, наследственности функций“, шла ли речь о феодальных привилегиях или привилегиях королевской семьи; или „о перемене способа передачи орудий труда“, тенденция оставалась та же, и „каждый момент движения был связан с предыдущим, как его последствие“ (стр. 1), но каждый же заключал „более трудную, более глубокую, более насильственную операцию“. Их, этих моментов, было три. Это были периоды Учредительного и Законодательного Собрания и период Конвента. Первое, „отрицая привилегии рождения декларацией прав человека, разделило верховную власть между представителями наследственности, т. е. между бур-

жуазией и королем. Законодательное собрание, отрешая Людовика XVI от власти, передало верховную власть в руки представителей наследственности орудий труда. Но замечательная вещь. Как раз с Конвентом остановилось это движение, необходимым завершением которого, казалось, должна была быть передача верховной власти в руки самого труда. Борьба, конечно, была ужасна, но она обратилась в пользу буржуазии". Из исследования вопроса, почему существенно тождественная тенденция поглотила состав трех этих собраний, репутацию такого количества людей, Бюшез думает получить тот вывод, что „каждое собрание, каждый сильный человек, появившийся на политической сцене, приносил с собою и разумное основание (raison) своего падения, именно—незнание цели, непредусмотрительность, которая была его следствием, и определенную систему, содействовавшую неподвижности (immobilisateur)". Да и как, спрашивает Бюшез, было знать эту цель, если думали, что в революции нужно было порвать с всеми традициями (стр. 2)? Между тем дух, породивший цель революции и искавший ее осуществления, был традицией, христианской традицией. „Отрекаясь от своего происхождения, революционная мысль утратила свою религиозную санкцию; она сделала вопросом частных интересов и силы то, что только было вопросом долга. Она считала себя не связанною больше ни с какою обязанностью к какому бы то ни было моральному закону; она была груба и жестока, потому что не видела ничего выше своего собственного спасения, потому что, одним словом, она думала, что у нее нет никаких обязанностей, кроме той, какою у нее была по отношению к самой себе. Как было бы все не так, если бы она прежде всего признавала свое религиозное происхождение, а потом извлекала бы свое право и свои обязанности из христианской морали. Тогда ее энергия показалась бы тем, чем была на самом деле, т. е. послушанием; она наказывала бы, а не поражала, она устраняла бы от себя всех нечистых деятелей, которые ее запятнали; наконец, непреклонная, как мораль в своих предписаниях и, как и она, нетерпимая, она по крайней мере, проявляла бы чаще жалость к слабым и особенно имела бы отвращение к крови. При разрыве с традицией, продолжает Бюшез, делалось невозможным знать дух, который революционно приводил в движение массы" (стр. 3). Бюшез

говорит далее, что Учредительное Собрание открыло путь, не зная куда, он вел. Оно „построило правительственную машину, годную, самое большее, на то, чтобы сохранить *statu quo*, благоприятный для отдельных лиц, недвижимое установление, в котором ничто не предполагало ни какую-либо социальную цель, ни какой-либо общий дух. Законодательное Собрание начало работать этою машиною, но оно было унесено потоком и потому казалось призванным только для того, чтобы узаконить разрушение конституции. Что касается отдельных лиц, каждый хотел остановить революцию там, где останавливался сам, и, таким образом, каждый после временной популярности и действительной власти, видел себя обреченным на интригу, чтобы сопротивляться, потом покинутым, обвиненным и наконец побежденным“ (стр. 3 — 4). Конвент отличался от обоих этих собраний: он должен был завершить революцию, но он этого не сделал и, значит, ее остановил (стр. 4).

В статье о сентябрьских днях Бюшез говорит, что при чтении всех этих кровавых ужасов, „нельзя не чувствовать живую симпатию к жертвам и ненависть к палачам, и однако, — все-таки оговаривается он, — эти жертвы были вообще и очевидным образом виновными“. Одно из доказательств их виновности он видит в том, что „некоторые, оправданные судами, действовавшими в тюрьмах, впоследствии были приговорены к смертной казни правильным судом“ (стр. V). В вещах подобного рода вопрос чувства касается партий, а историк должен спросить: „были ли эти дни полезны для общественного блага? Повредили ли они судьбам революции“ (стр. VI)? Было бы слишком длинным проводить здесь теоретические рассуждения Бюшеза о пути добра и пути зла, которые открыты перед человеком, остающимся свободным на первом и подпадающим под власть фатальности на втором. Революция, по представлению Бюшеза, пошла таким образом, что партии шли „по пути, на котором необходимость становилась их единственным вождем и на котором власть, подвергавшаяся постоянным нападениям, должна была непрерывно защищаться“ (стр. X). Учредительное Собрание, вместо декларации общей цели и общественных обязанностей, составило декларацию индивидуальных прав, чем только разъединило людей, а потому „каждый от своего имени мог притязать не только

на торжество своих интересов, своих личных симпатий и антипатий, но и на торжество своих доктрин... При таком положении вещей не было места для прочности какой то ни было власти: как только последняя выпадала на долю тех или других людей, необходимым образом их врагами делались все, которые им помогали получать власть. С другой стороны, не существовало социального критерия, по которому можно было судить действия управляющих... У честного человека не было средства сохранить и заставить признать свою политическую честность, и равно не было средства для устранения бесчестных людей от обсуждения общественных дел и практического в них участия. Какое же зрелище представляет нам революция? Зрелище непрестанного столкновения, в котором все вещи судятся силою и ничто не может длиться иваче, как террором". Бюшез находит, впрочем, что „фатальный путь всегда приводит к чему-то подобному той цели, которую поставила бы сама мораль, к чему то, менее, без сомнения, совершенному, но к такому, что к этой цели приближается, приводя к ней медленно, путем бедствий и незаслуженных жертв". С этой странной для нас точки зрения Бюшез советует судить людей, партии и деяния революции, применяя эту же точку зрения и к сентябрьским дням.

„Это деяние, говорит он, как и Варфоломеевская ночь, была мера, приказанная a posteriori; это была мера общественного спасения, необходимое следствие (conclusion) ненавистей и опасностей, накопившихся в предыдущие годы; это был факт фатальный. И этим именно нужно объяснить то осуждение, которое тяготеет на этих печальных расправах (exécutions). В самом деле, мы не разделяем ненавистей тех времен; мы не живем под влиянием опасностей, которые их волновали, и наше осуждение чаще всего есть результат неразумения нами причин, повелевавших нашим предкам, результат нашего отвращения ко всем вещам чисто материального порядка (стр. XI). Так бы не было, если бы эти расправы были совершены во имя универсального принципа, ясно поставленного". Бюшез преклонился бы перед актом правосудия, который был бы санкционирован нравственным законом и из него выходил бы. Но в расправах Варфоломеевской ночи и сентябрьских дней моральное основание не призывалось. Автору кажется, что ни у кого не было бы жалости к по-

страдавшим и порицания для судей, если бы при имени каждой жертвы была такая приблизительно отметка: „приговорен за то, что дал себя увлечь такой-то страстью, таким-то интересом, не исполнил такого-то долга, совершил такое-то преступление“ (стр. XII). Но для этого, продолжает Бюшез, нужно было бы, чтобы сами члены Коммуны были людьми величайшей честности, и чтобы революцией была провозглашена общая цель деятельности и моральный принцип, во имя которого действовали. „Хорошие граждане тогда не были бы смешиваемы с дурными; они не были бы игрушками, жертвами крайностей и ярости со стороны тех“.

Осуждая так все, что привело к сентябрьским убийствам, Бюшез тем не менее прибавляет: „было бы, однако, неправильно (*on aurait tort*) смотреть на сентябрьский факт, как на не совершивший полезного дела (*fonction*) в фатальном порядке, которому Учредительное Собрание предало революцию. Французское единство, которое готово было разорваться из-за отсутствия общей идеи и по незнанию его цели, было поддержано террором этих экзекуций и тех страшных насилий, которые за ними последовали. Таким образом, национальное чувство, чувство масс, одно только тогда не ошибавшееся, хотя их и не одобрявшее, перенесло их, поскольку они были необходимы. „Это — все, заключает Бюшез, что можно сказать для оправдания этих дней“. Но у сентябрьских событий он находит и вредную сторону: „в высшей степени они повредили якобинской партии и людям, в них не принимавшим участия, Робеспьеру, например. Они сделали неисполнимую мысль о диктатуре, мысль, которая, может быть, заключала в себе спасение республики. Она склонила на сторону жирондистов большое количество симпатий и обеспечила за ними большую партию. В общем, значит, если, с одной стороны, они сделали некоторое благо, то с другой, причинили много зла“.

В XX томе место предисловия заступает такая же статья, озаглавленная „О терроре и страхе, как общественных методах“. Разбор этого теоретического трактата завлек бы нас слишком далеко. Укажу только, что бывший в ту эпоху террор рисуется Бюшезу, как преходящее состояние, как исключительное средство во время опасности, — средство, подлежащее отмене по миновании опасности, тогда как управление

при помощи устрашения есть постоянный, а не исключительный политический метод (стр. V). „Террор, в понимании Бюшеза, в порядке политическом соответствует уголовной репрессии в обыкновенном порядке индивидуальных отношений; он мешает эгоистическим страстям совершать действия, сообщая эгоизму самый большой интерес воздерживаться, а не действовать. Террор, значит, не есть ни средство, которое следовало бы абсолютным образом отвергать, ни такое, к какому можно было бы прибегать по всякому поводу и без расчета. Это только метод, и, как о всяком методе, о нем можно судить по его цели“ (стр. VI). Наоборот, посредством страха для Бюшеза всегда дается перевес дурным инстинктам перед хорошими, дурные же аппетиты всегда порождают эгоизм, т. е. элемент, наиболее разделяющий, самый антисоциальный (стр. X).

С точки зрения „верховенства цели“, бывшего принципом якобинцев, Бюшез оправдывает политику этой партии, противопоставляя им жирондистов, как носителей злого начала в революции. Делаясь судьей между обеими партиями, он говорит, что дело вовсе не в умственном превосходстве тех или других, ибо их знание было совершенно одно и то же, а в том, были ли или нет жирондисты и якобинцы недобросовестными революционерами, что одинаково оправдывало бы и 31 мая, и 9 термидора, в случае признания тех или других из них справедливо заслужившими свою судьбу (т. XXV, стр. X). „Кто, читаем мы в предисловии к двадцать пятому тому, прочтет беспристрастно (froidement) документы, из которых слагается история жирондистов, получит доказательство, что было человечески невозможно верить в добросовестность этой партии“ (стр. XI). Бюшез пишет целый обвинительный акт против жирондистов, в котором встречаются такие пункты, как слабость в наезывании (*la mollesse à punir*), их снисходительность к лицам, когда общественная опасность была неминуемой, даже сентябрьские убийства, как следствие того, что, будучи властью, они не разили, и т. п. „В том состоянии, в каком находилась жирондистская власть,—читаем мы еще,—и якобинская оппозиция в начале Конвента, смерть Людовика XVI была фатальна и неизбежна. Если бы жирондисты позаботились отделить его от революционной среды во время Законодательного Собра-

ния, во время произвести его низвержение и заперли в тюрьму, может быть, его жизнь была бы пощажена“ (*sa personne respectée*, стр. XII). В вину жирондистам Бюезом ставится и то, что „когда была открыта новая трибуна, они беспрестанно ее занимали в своем интересе, нападая на Париж, который их осудил, противопоставляя департаменты столице и, таким образом, стараясь ввести смертоносный феодализм для нации, лишь бы сохранить свое политическое положение“. Другое дело—якобинцы, „подвергавшие себя всем опасностям для поддержания единства“.—„Если, говорится несколько дальше, доказано, что жирондисты имели все видимые признаки контр-революционной партии, если доказано, что люди, которые искренне желали уничтожения всех привилегий рождения и наступления эры братства, никоим образом не хотели принять их за руководителей в стремлении к этой цели, дело не в том, чтобы определить меру их нравственности (стр. XIII). Они были безнравственною властью в строгом значении этого слова. Предраассудок, получивший веру у историков, которые изучали и рассказывали революционные акты с точки зрения не отдельных лиц, а общественного закона и нации, еще заставляет добрых людей думать, что революция была делом легким и что сопротивление крайностям, ее сопровождавшим, было делом тягостным и трудным. Несомненно, напротив, что у контр-революционеров какой бы то ни было степени была всякая легкость, и если революция торжествовала от 1789 до 1794 года, то лишь имея своим орудием единственную непобедимую в человеческих обществах силу, могущество преданности и жертв“ (стр. XIV). В предисловии к следующему тому (XXVI) Бюез разбирает политические идеи жирондистов, указывая на их основной индивидуализм, как на их основной принцип: „все в жирондистской системе исходит от индивида и приводит к индивиду. Разные способы личного существования человека указываются в ней, как существенные источники права, а общественные отношения, отсюда происходящие,—как совокупность средств (*instrumentalité*), при помощи которых право осуществляется... Отсюда следует, что человеческое общество может быть определено, как орудие индивидуальных стремлений“ (стр. VI). В глазах жирондистов общество было механизмом (стр. XI). Они гово-

рили о праве, свободе, равенстве, народном верховенстве, единстве, нераздельности нации, но все это понимали не надлежащим образом. Другое дело якобинцы. Сторонник жирондистов Лувэ сказал, что существование бога не нуждается в признании его Национальным Конвентом Франции, когда один депутат требовал заявления в конституции, что „естественные права были даны человеку Верховным Существом, источником всех добродетелей“ (стр. XII). Это дает повод Бюшезу противополжить жирондистской доктрине другую, сущность которой такова: „раз установлен догмат существования бога, как общественная основа, общество перестает быть орудием, находящимся между индивидуальными нуждами и удовлетворением этих нужд;... оно заключает в себе все условия единства и нераздельности“ и т. д. В этом отношении „якобинцы провозгласили истину, открывшую им все остальные“. Но, кроме существования бога и бессмертия души, они признавали, что „личное самоотречение есть условие общественных отношений и что абсолютная преданность—признак власти“ (стр. XIII). „К догматам о существовании бога и самоотречения они присоединили догмат всеобщего братства... Свободе, проистекавшей из естественного права и бывшей, в сущности, только свободой appetitов, Сен-Жюст противополгал, как единственно допустимую, свободу невинности и добродетели“ (стр. XIV).

Одно предисловие (в томе XXVII) Бюшез целиком посвящает ходу борьбы между двумя партиями, из которых он одну осуждает, другую прославляет. Тут многое предположительное играет роль аргументов для осуждения жирондистов. „Если бы по несчастью якобинцы были побеждены“, жирондисты их подвергли бы „жесточкому преследованию“. Эти люди „открыто проповедовали за два месяца до своего падения решительное искоренение всех анархистов“, под которыми „разумели своих врагов, т. е. большинство нации. Нельзя сомневаться, следя за их историей, в том, что они пролили бы больше крови, нежели ее было пролито после них. Последним аргументом их защиты было покушение в их лице на национальное представительство, но они сами подали пример такого нарушения, предав Марата революционному суду по уголовному обвинению“. Для Бюшеза, таким образом, предложение судить депутата было равносильно насильствен-

ному изгнанию целой группы представителей из Конвента. Ему кажется, что лучше всего этот последний факт оправдывается тем, что еще за полтора месяца говорил против них их главный обвинитель, Робеспьер (стр. XI). 31 мая целиком поэтому оправдывается Бюезом. Если, думает он, „благие намерения отцов (конечно, якобинцев) не переставали быть предметом опровержений и клеветы, то по той причине, что их история была написана их врагами“ (стр. XIII). Он спрашивает, как это „еще при их жизни и в самый час их торжества, их чувства, их акты, их проекты не были окружены таким светом, чтобы не было возможным не только выдавать их за преступления, но даже бросать тень на их нравственность“. По мнению Бюеза, вина в том, во первых, что якобинцы мало заботились о „publicité“ и что, во вторых, с ними действовали заодно всякие дурные люди. Вместо того, чтобы выпускать тысячи листов, брошюр и памфлетов, корреспондировать между клубами, лишь время от времени высказываться по принципиальным вопросам в периодических органах, им нужно было иметь „большую ежедневную газету, в которой они могли бы говорить всей Франции“. Но не сделали они этого потому, что, будучи „свидетелями и жертвами глубокой безнравственности профессиональных писателей, якобинцы из звания литератора сделали предмет презрения“. Другая причина неверного взгляда на якобинцев, по словам Бюеза, та, что к ним „примешалось большое количество людей справедливо ненавистных, справедливо осуждавшихся, отталкивавшихся от себя честных людей, как своим неблагородным языком, так и скандалами и порочностью своей частной жизни“ (стр. XIV). Якобинцы не имели принципа, которым резко отмежевывались бы от людей, тоже прикрывавшихся идеями свободы и равенства. „Эта формула получила преобладание, потому что отрицание власти было делом, подлежащим ранее всего исполнению, и к этому присоединилась вся накипь общества, потому что дурные граждане всегда находятся в оппозиции и исповедуют независимость от власти, какова бы она ни была. По этой причине эбертисты и дантонисты сражались под одним с якобинцами знаменем 31 мая, и они разделяли с последними общее название монтаньяров“. Для Бюеза партия Горы не была однородной, а состояла из „двух не-

примиримых элементов: из честных людей и из мошенников" (coquins).

„Политическая партия Горы, читаем мы далее, это было одним из самых гибельных слов“, порожденных спутанностью мыслей и языка. Это было „почти непоправимое зло, когда якобинцы заметили, что ни свобода, ни равенство не были общою достоверностью, во имя которой можно было бы действовать национально. Они провозгласили тогда, в качестве общественного критерия, самый принцип своей доктрины; на порядок дня они поставили честность, добродетель и, как их необходимые условия, догматы бессмертия души и бытия бога. Но эта формула единства, продолжает Бюшез, абсолютно отделяющая от всякой нечистой примеси, была побеждена общепринятой формулой. Когда якобинцы проявили действие власти в разделении хороших и дурных (séparation des bons et des méchants), дурные заговорили о свободе. Это было слово, которое наиболее слышалось во Франции от 1789 до 1794 года; это было популярное слово. В тот день, когда последнее отделение дурных от хороших должно было нанести удар первым, материалисты Конвента убили своих противников и покрыли это убийство таким криком о свободе против тиранов, что понимание Франции тут погибло, и что для нее уцелели одна только путаница (confusion) и одно противоречие на могиле термидора“ (стр. XV).

Вот как Бюшез конструирует историю борьбы партий в Конвенте, ставя якобинцев одесную в своем суде, жирондистов, эбертистов, дантонистов и вообще всех дурных (mauvais, méchants) ошую.

В своих предисловиях Бюшез нередко полемизирует с современными публицистами, в том или другом отношении высказывавшими неприемлемые для него взгляды. В числе таких взглядов были и исходившие из среды духовенства. Предисловие XXIX тома начинается следующими словами: „если французская революция все еще осуждается большим числом честных людей, то это в особенности нужно поставить в счет приговору, произнесенному духовенством против этого периода нашей истории. Так как во всех вещах решения морали одни обладают авторитетом для масс, так как нет морали без религии, ни истинной религии в наше время вне католицизма, то отсюда и выходит, что полити-

ческое мнение священников имеет гораздо больше влияния, чем некоторые люди хотели бы думать“. Бюшез прибавляет, что нужно не отрицать это влияние, а стараться „сделать его спасительным, изменяя настроение (l'esprit) тех, которые его оказывают или,—будь это невозможно,—исторгать его из их рук“ (стр. I).

Конечно, очень интересный вопрос представляют собою фактические отношения; существовавшие между революцией и католической церковью, и взгляд католического апологета революции на эти отношения. Эту тему Бюшез затронул еще в предисловии к IX тому, где спрашивает, какую же роль играло духовенство в революции. „Так как, говорит он, сопротивление гражданскому устройству духовенства было завязкой этой роли, мы покажем, откудашло такое сопротивление и почему произошла контр-революционная война, к которой оно было сигналом. Так как духовенство единственная корпорация в Европе, дающая моральное воспитание, и так как поэтому оно может оказывать неисчислимые услуги, то важно его убедить, что оно дурно обучает, что уже четыре века оно является деятелем, виновником, соучастником во всех антихристианских преступлениях“. Бюшез бросает здесь беглый взгляд на историю католической церкви, начиная с папы Григория VII, и в этом кратком очерке осуждает папскую политику и все поведение духовенства, находя, напр., что „оно повернуло спину к будущему и охраняло прошедшее“ (стр. XIII). Особенно он порицает высший клир во Франции. „Епископы, говорит он, большинство которых были невежественные или развращенные люди, сделали по отношению к французскому народу то же самое, что Констанцский собор по отношению к Иоанну Гусу, хотя сила на сей раз была на стороне справедливости. Они занимались софистикой (ils sophistiquèrent) по вопросам юрисдикции и власти папы и епископов, тогда как от них требовали морали и преданности долгу“. Реформа церкви была действительно необходима, и когда сама церковь ее не совершила, за эту реформу взялась „старшая дочь церкви, французская нация. Наши короли, поясняет Бюшез свою мысль, сначала занялись этим делом и долго шли по дороге, которая должна была его довершить, но однажды остановились, и вот, тщетно прождав окончания их сна, нация одна пустилась в путь: это и была револю-

ция". Значит, Бюшез оправдывает гражданское устройство духовенства, видя в нем как-бы ответ на вопрос, поставленный еще в XIV веке. Из этого видно, что его католицизм был весьма своеобразный. И напрасно поэтому, — находит он, — „писались мартирологи о тех, которые погибли в этом сопротивлении, об обманутых священниках, неразумная, антисоциальная вера которых защищала юрисдикцию до смерти. Без сомнения, есть революционный мартиролог, но в нем должны найти свое место и когда-нибудь действительно найдут только христианские имена, только имена тех, которые боролись за всеобщее братство. Где, спрашивает Бюшез, будет в этой книге место королей, дворян, священников“? Находя, что после революции духовенство исправилось, он, впрочем, спрашивает: „отлучает ли оно, однако, сильных, богатых и королей, эгоизм которых есть богохульство, уже сорок лет омрачающее небо“ (стр. XIV)?

Возвращаясь к предисловию XXIX тома, мы находим в нем еще такое место: „по мнению духовенства, французская революция была преследованием, направленным нечестивцами против католической религии и ее служителей. Оно признаёт настоящими мучениками тех его членов, которые претерпели тюрьму, изгнание или смерть. Однако, что значит преследовать христиан, как не гнать их и мучить по поводу их веры“ (стр. XI), как это делали языческие и арианские императоры или как это сделали по отношению к Иоанну Гусу и Иерониму Пражскому папа Иоанн XXIII и Констанцкий собор. Значит, для того, чтобы иметь право говорить „о преследованиях католического духовенства революционерами, нужно было, чтобы оно пострадало из-за христианской морали. Однако, за что на него нападали? Презирая откровение, оно учило и догматически поддерживало, что люди рождаются неравными, что есть короли и дворяне по праву рождения, т. е. что бог не есть наш общий отец, а мы не братья. Оно приказывало слабому служить сильному, а сильному ничего не предписывало. Обладая громадными богатствами, которые ему были даны, чтобы оно было провидением бедных, оно берегло эти богатства для себя“ и т. д. в том же роде говорит Бюшез о духовенстве (стр. XXII), спрашивая: „можно ли учить и поступать в большем формальном противоречии с христианскою моралью? А посмотрим

революционеров. Они провозгласили братство, равенство и свободу. Духовенство предало этот девиз проклятию. Они хотели последовательно отменить привилегии рождения. Духовенство оказало сопротивление". В годину национального бедствия, „революционеры объявили имущества духовенства национальной собственностью, обеспечив пенсиями существование пользователей. Духовенство протестовало". Мало того, оно вступило на путь заговоров и вызвало внешнюю войну. Таким образом, „священники подверглись преследованию, как ревнители абсолютной наследственной монархии, аристократии по праву рождения и аристократии по обладанию деньгами, как друзья королей, знати и богатых и как враги народа и бедноты... Революция была наем. занием, а не преследованием. Она особенно наказывала духовенство". Бюшез здесь повторяет мысль Сен-Мартена, заимствованную у последнего, по его мнению, де-Местром, и даже выписывает из брошюры Сен-Мартена две страницы (стр. XIV — XVI).

Настоящую, правую веру Бюшез признаёт только у народа, обличая образованное общество в поголовном материализме, проповедником которого были философы XVIII века (т. XXX, стр. VII). „Замечательно, говорит он, что везде, где преобладало мнение народа, культ и памятники культа пользовались уважением и, наоборот, там, где господствовала буржуазия, культ подвергался оскорблениям, а церкви — разрушениям... Это различие в поведении образованных классов, пропитанных ложною философией эпохи, и классов необразованных, не получивших другого воспитания, кроме катехизиса, есть факт, проходящий через всю революцию... Если революция вступала на неверный путь, то это можно приписать adeptам материализма, которые разделились на три партии, одинаково противообщественные и антинациональные: на жирондистов-федералистов, на дантонистов и эбертистов". Им Бюшез приписывает все зло. Хотя все они были низвергнуты, но их остатки потом „соединились и сами низвергли тех, кто им угрожал. Эти люди породили директорию, консульство, империю; они заняли места в сенате; они уладили свои дела с реставрацией; наконец, еще и теперь они занимают видное положение в аристократии наших дней". „В этой исторической справке Бюшез видит „сокращенную историю материализма" (стр. VIII).

По той мерке, которую Бюшез прикидывает к революции, все эти „материалисты“, т. е. жирондисты, дантонисты и эбертисты отклоняли революцию от ее истинного пути и искажали ее. „Насколько, говорит он в самом начале предисловия к тридцать первому тому, — насколько путь, по которому шел Робеспьер со своими друзьями, отличался от того, на который вступили, чтобы на нем и остаться, партии господствовавшие“ до него! Автор ссылается на февральские речи Робеспьера и Сен-Жюста, где говорилось, что цель революции поставить нравственность и добродетель на место эгоизма и пороков, что долг предшествует праву и есть единственный его источник. Эти люди, по его представлению, вдумывались в свои чувства и мысли; „возмущенные философскими сатурналиями и кровавыми оргиями эгоизма, они ищут какого-то пристанища“ (стр. V). Но в то же время Робеспьер и Сен-Жюст все-таки слишком принадлежали XVIII веку, чтобы уметь „достичь последней ступени установленного разграничения между добром и злом и признать, где источник морали, верховенство которой почувствовали и необходимость которой превозгласили“. Бюшез оговаривается, что читателям может показаться чудовищною странностью изображение почти как моралистами этого Робеспьера и этого Сен-Жюста, о которых они отовсюду слышали, как о виновниках преступлений, запятнавших Францию, но тот, кто этому удивился бы, не знает, что эти люди были, насколько могли, врагами „атеистического философизма“ с его гневным характером и крайностями и что „те, которые их убили, на них же взваливали свои собственные преступления“ (стр. VI).

К этой теме о Робеспьере Бюшез возвращается в предисловии к тому тридцать третьему. Здесь, как и везде вообще у нашего историка-моралиста, мы имеем перед собою некоторое рассуждение, что бедствия масс нас обыкновенно так не трогают, как несчастная судьба одного человека, и что отдельное лицо — прекрасный материал для литературных произведений, возбуждающих в нас чувство сострадания. Сам Бюшез не хочет подражать одному историку, который для возбуждения симпатии к своим героям изображал победителей несправыми и вызывал к ним ненависть, описывая печальную судьбу побежденных. Это может искажать историческую истину, хотя до известной степени и может быть оправдано.

„Человек, продолжает Бюшез, поставленный в среду важных обстоятельств, в виду существенной заслуги может отказаться от самого себя и даже от того, что дороже жизни, от своей будущей репутации и, наконец, согласиться возложить на свою голову и на свое имя всякого рода нареkania. Но когда этот человек представляет систему, догматину, политическое мнение, он не имеет на то права, ибо ужас, который будет внушать его имя, падет на принципы, им руководивший, и отдалит других от самого блага, какое он хотел сделать“. Это рассуждение он применяет к Робеспьеру и его друзьям, указывая на прериальский закон ¹⁾, инициатором которого был Робеспьер и который низвергал все условия действительного правосудия (стр. VI). Этот закон осуществлял и возводил в систему „все то, чего могли желать Эбер и его сообщники, что делал Дантон“. В то же время, однако, он был в „прямом и полном противоречии с предыдущим поведением Робеспьера“, и оно, это противоречие, было бы необъяснимо, если бы мы не знали мотивов Робеспьера. Он хотел иметь в руках орудие для „уничтожения всех тех, чье поведение пятнало настоящее и заключало в себе угрозу в будущем“, и таким образом „вступил в компромисс со злом, чтобы получить возможность делать некоторое добро“. Но Бюшезу вместе с тем представляется, будто сам же Робеспьер уклонился от пользования этим орудием, бывшим в духе самого Конвента и всех революционеров (стр. VII). Эта ошибка Робеспьера была очень опасна для самого же его и его друзей. „Они соединились с Дантоном, чтобы низвергнуть Эбера и Шометта, и с их хвостом, чтобы свалить Дантона... В момент, когда собирались напасть на самых страшных террористов, находили нужным отдать добровольную дань самому террору..., но средства, какими при этом пользовались, могли обернуться и против самих пользовавшихся ими, как это и случилось“. Источники всего этого Бюшез усматривает в том, что Робеспьер и его друзья не были католиками. Будь они христианами, рассуждает он, а не простыми деистами или новыми арианами, видевшими в Иисусе Христе только философа, который давал хорошие советы и показывал хорошие примеры, т. е. если бы они верили в Евангелие, как в абсо-

¹⁾ Закон 23 прернала, отменявший разные гарантии судопроизводства.

лютный кодекс нравственности, „им было бы нетрудно отличить порок от добродетели, чтобы их точно определить и указать на это другим, и они не были бы вынуждены прибегать ко лжи, чтобы подвергнуть порицанию то, что оскорбляло их симпатии и честные привычки, никогда не стали бы вступать в союз со всеми этими товарищами, врагами которых должны были сделаться впоследствии“ (стр. IX). Они могли бы поступить иначе, если бы только этого хотели, но „Робеспьер верил в Общественный договор Руссо, в суверенный народ, в Конвент, здесь было его Евангелие, и вот вся честность его привычек, вся преданность его воли идее при отсутствии абсолютно обязательного верования не спасли его от ужасной репутации“ (стр. X).

После тридцать третьего тома в „Histoire Parlementaire“ мы не встречаем более предисловий Бюшеза, и только сороковому он опять предпосылает документальному материалу несколько страниц. Заканчивая предисловие к XXXIII тому, он объясняет, как понимал задачу, большая часть которой была уже исполнена. Он хотел, как сам выражается, не только написать анналы трудной эпохи, искаженной ослеплением партий, одинаково несправедливых, спасти истину от крушения, которым ей угрожали современные страсти, одним словом, создать для революции труд, какого не достает двум не менее важным периодам французской истории, эпохам Лиги и XVII века, но и сделать так, чтобы отсюда вышло также поучение для настоящего времени. „Дабы достигнуть этого двойного результата, продолжает Бюшез, нужно было, чтобы работа историка была независима от работы публициста; нужно было, чтобы обе эти работы были совершенно разведены, а потому мы думали вторую из них включить в наши предисловия“ (стр. XI).

В этом же предпоследнем предисловии Бюшез бросает общий взгляд на весь период, предшествовавший началу реакции. „Без сомнения, говорит он, не найдется никого, кто, дошедши до эпохи, занимающей нас сейчас в истории революции (1794 г.), и бросив на нее взгляд, не был бы испуган разницею, существовавшей между надеждами первых дней и результатами, которые теперь перед нашими глазами. Нет никого, кто не поддался бы горькой печали при виде смеси благодеяний и зол, порождавшихся, так сказать, каждою не-

делю. С одной стороны, превозглашение принципов свободы и братства, коим учит Евангелие, спасение национальной независимости, величайшие усилия, удивительная преданность, великолепные по замыслам и богатые обещаниями планы, учреждения благотворные и с великим будущим, а с другой стороны, бесстыдная проповедь, торжествующий атеизм, бесконечные интриги, казни, бойни, порок, одним словом, зло, оскверняющее добро и поддерживающее себя с бесстыдством и треском, как бы для того, чтобы навсегда запрятать все, что только есть чистого, справедливого и доброго в стремлениях тех, которые были призваны совершить этот насильственный переход от прошлого состояния к состоянию будущему в жизни великой нации! Сумма добра, правды значительно превышает сумму зла. Добро было следствием усилия огромного большинства, а плоды этого достались всем нам и притом навсегда. Зло было делом нескольких и произвело только переходящие и индивидуальные страдания. Как-раз эти то страдания и вызывают в каждом самую живую симпатию. Теперешним благом пользуются, не думая о том, что у него было начало, не думая, что его нужно было купить, как пользуются наследством, не давая себе отчета, какого труда оно стоило" (стр. V). Но, говорит Бюшез в предисловии к сороковому тому, революция еще не кончилась, она исполнила только меньшую часть поданных ею надежд, она оставила еще общественную почву, покрытую развалинами или недостроенными зданиями (стр. V—VI). Окончился только разрушительный период революции, и должен начаться период социальной реорганизации, для которой Бюшез считает недостаточною доктрину прав человека, провозглашая доктрину долга (стр. XI), находящую истинное свое выражение только в католицизме (стр. XII), в изначальном исповедании французской нации, этой старшей дочери церкви. Даже в революции эта нация „действовала католическим образом“, ибо революционная „доктрина верховной власти народа есть перевод доктрины о верховной власти церкви. ... Преступления, осквернявшие революцию, были следствием материализма XVIII века и философизма, которому покровительствовало и который распространяло дворянство. Революционеры впали в вольную, без сомнения, вину, что не признали громко христианского происхождения провозглашенных ими принципов

(стр. XIII)... Чтобы переоздать французское общество, нужно стать на католическую почву" (стр. XIV).

В предисловиях Бюшеза нет ничего, что ясно соответствовало бы его социалистическим стремлениям, кроме таких выражений, как необходимость отмены наследственного обладания орудиями труда. Пробным камнем здесь могло бы служить его отношение к делу Бабёфа, но в предисловиях, он о нем молчит, а в тексте просто рассказывает (т. XXXVII, стр. 138—139, 152—188, 275, 276), приводя и документы, причем источником его была книга Буонарроти. Бюшез очень кратко и без всяких комментариев передает, в чем заключалась основная идея Бабёфа (стр. 154), только дальше отмечая, что одна из прокламаций была составлена в духе эберовского „Отца Дюшена“, что другой документ бы „способен привести в движение всех бандитов, какие находились в Париже“, что в схваченных бумагах заговорщиков заключалась „система, доктрина, которую под именем эбертизма даже отвергли инициаторы режима террора, т. е. нечто, напугавшее самих людей, которые уже полтора года считались за злодеев и за виновников стольких бед Франции“. Все приятые заговорщиками распоряжения напоминают Бюшезу, о „стольких движениях, столь часто удававшихся в Париже“ (стр. 155, 156, 158). Неодобрение их планам было почти всеобщим, прибавляет Бюшез. По поводу процесса Бабёфа и его товарищей он замечает, что если дали тогда много времени и большую свободу обвиняемым при их защите, то несомненно, чтобы предоставить и „возможность развить их учение, бывшее ненавистным громадному большинству нации, и тем самым отнять у якобинцев небольшой остаток популярности, еще связанный с их именем“. (стр. 276).

Таким образом, в одном из первых социалистических трудов по истории французской революции, Бабёф еще вовсе не рассматривается, как зачинатель нового движения, с огромным историческим будущим. Бюшез проходит мимо „заговора равных“, как-бы не сознавая своего родства с главным вдохновителем этого заговора, Бабёфом, хотя у него был необходимый материал для распознания основной тенденции заговора в смысле как-раз отмены наследственной передачи орудий труда. Мало того, бабувизм наводит его на сопоставление с эбертизмом, им самим осужденным очень строго.

Луи Блан ¹⁾.

С очень похожей точки зрения взглянул на французскую революцию и Луи Блан. Выше о нем уже было сказано, как об историке первого десятилетия царствования Людовика-Филиппа, которому он не мало повредил своею о нем книгой. Она появилась в 1840 году, а в предыдущем году Луи Блан напечатал другую работу под заглавием „Организация труда“, в которой выступил с целым планом социальной реформы, сделавшим его имя очень популярным в рабочей среде Парижа. Сущность его взгляда заключалась в том, чтобы государство, путем национального займа, образовало денежный фонд для основания в главных отраслях промышленности „социальных мастерских“, которыми потом стали бы распоряжаться сами рабочие, в них занятые, и которые своею конкуренцие убили бы частную промышленность, чем, в конце концов, привели бы к социальной организации труда. Государство призывалось не только создать новый порядок, но и сделаться высшим регулятором производства в целях, между прочим, постановки всех граждан в одинаковые условия умственного, нравственного и физического развития. Каждый человек имеет право на труд, но чтобы это право надлежащим образом осуществлялось, нужно, чтобы общественная власть организовала труд именно в этом направлении. Конечно, за такую задачу могло бы взяться только демократическое государство, где власть находится в руках самого народа, пользующегося ею через уполномоченных. Где власть на одной стороне, а народ на другой, государство необходимо делается тираническим, но народное государство не может сделаться господином, а непременно будет только слугою народа и защитником всех слабых. Такому государству можно без опасения придать большую силу, восстановить в его пользу принцип авторитета. В „Истории десяти лет“ Луи Блан не только противопоставляет интересы буржуазии и народа, о чем уже

¹⁾ О нем Верморель. Деятели 1848 года.—L. Fiaux (1883)—Warschauer, Geschichte des Sozialismus (1896; весь III том).—J. Tchernoff (есть рус. пер. 1906 г.).—Н. Михайлаовский. Философия истории Луи Блана (в III т. „Сочинений“ по изд. 1897). Отметим еще написанное Е. Колбасиным предисловие к рус. пер. „Истории революции 1848 года“ („О Луи-Блановском социализме“).

было сказано, но и нападает на либералов за то, что они ослабили власть, и, наоборот, он хвалит сен-симонистов за их проповедь о необходимости усиления социального авторитета. Капитал в экономической жизни представляет великую силу, но нужно, чтобы им распоряжались не отдельные лица, даже не отдельные ассоциации, в руках которых были бы социальные мастерские, а единая всеобщая ассоциация, действующая по строгим указаниям науки, предусмотрительная и благотворительная.

Вот мотивы, которые заставляли Луи Блана быть большим государственным, проповедником сильной и широкой власти. Либерализм буржуазии, ставивший государству более узкие границы, им безусловно осуждался, как принцип чисто классовой. Либерализм еще имел значение, когда нужно было разрушать государственность старого порядка, но по существу либерализм, эго—индивидуализм, эгоизм, направление антисоциальное и антиморальное. Он тесно связан с индустриализмом, чисто материальным взглядом на жизнь, портящим народную душу. Свобода должна заключаться в возможности для каждого развиваться по законам своей природы, но обеспечить за гражданами эту возможность может только государство, где отвлеченное понятие свободы заменяется реальным явлением власти. Такой взгляд на государство, уже высказывающийся в „Истории десяти лет“, проводится Луи Бланом и в „Истории французской революции“, первый том которой вышел в 1846 году.

Когда вспыхнула февральская революция, имя Луи Блана было уже так знаменито, что временное правительство не могло образоваться без включения этого имени в список составивших его лиц. Осуществление „права на труд“ сделалось лозунгом рабочего класса. Оживление Луи Бланом якобинской традиции и постановка им социальному движению определенной цели, придали самой революции 1848 года известное общее направление. Был в истории этой революции момент, когда, можно сказать, Луи Блану диктатура сама давалась в руки—надолго ли, это, конечно, другой вопрос,—но так велика была его популярность в рабочем классе, требовавшем социальной революции. Теоретик переустройства общества на новых началах и литературный поклонник якобинизма отступил на практике от захвата власти. Известно,

что вообще из политической деятельности Луи Блана, хотя и не по одной собственной его вине, ничего не вышло, а после подавления июньского движения парижского пролетариата ему, во избежание ареста, пришлось бежать в Лондон, где он в Британском Музее и нашел обильный материал для продолжения своей „Истории французской революции“.

С момента начала работы над этим обширным трудом, доведенным до конца Конвента в пятнадцати томах ¹⁾, до его окончания прошло восемнадцать лет, в течение которых, как говорит Луи Блан на предпоследней странице труда (XV, 325), эта книга была „работой, утешением и мучением его жизни“. „Я, говорит он еще здесь, был воспитан родителями—роялистами. Ужас перед революцией был чувством, которое меня волновало. Чтобы носить траур по жертвам и их почитать, я не имел надобности выйти из круга моей семьи, потому что мой дед погиб на гильотине во время революции, а мой отец был бы тоже, как и дед, гильотинирован, если бы ему не удалось ускользнуть из тюрьмы накануне того дня, когда его должны были казнить. Таким образом, не без некоторого усилия, я достиг того, что моя душа сделалась способною отдавать дань великим предметам революции и ее великим людям. Проклиная преступления, ее запятнавшие, конечно, не требовало с моей стороны никакого усилия“ (XV, 325—326).

Эта сторона революции стояла перед духовными очами Луи Блана и в начале труда, когда он писал предисловие к нему. „Какая ужасная, какая кровавая история!“ восклицает он, но тут же ищет успокоения в мысли, что деятели революции взяли на себя гибельную часть дела, предназначенного для блага современникам автора. „Мягкость правов—во имя которой мы допускали, чтобы на их статуи накинута был покров, мы, великодушные и неблагодарные сердца,—это они сделали для нас доступною ее, эту мягкость правов, встретив, вместо нас, все препятствия и преодолев их для нас, взяв на себя битвы, от которых они нас избавили, сами в них погибнув. Их насилия оставили нам в наследство спокойную судьбу. Они исчерпали страх, исчерпали смертные казни, и террор прямо вследствие своих крайностей сделался навсегда невозможным“ (I, 2). И дальше Луи Блан еще

¹⁾ Я цитирую далее по изданию 1878 года.

несколько распространяется на эту тему и заключает свое рассуждение такими словами: „в ту минуту, когда я вас вызываю, чтобы вас судили, дорогие или ненавистные тени, трагические привидения, герои несравненного времени, мне трудно, признаюсь, повелевать своему волнению, и я чувствую сердце свое исполненным уважения и ужаса“ (I, 5 — 6). И, опять возвращаясь к заключительным страницам, мы на них читаем ссылку на голос совести: „я мог бы с выгодой, расточая банальные восхищения или готовые выражения ненависти, угождать тому, что иные называют общественной совестью. Но то, что управляет моими мыслями и распоряжается моим словом, это не ваша и не их совесть, а моя. Какое дело тому, кто любит истину любовью, достойною ее, до несогласия хотя бы всей земли, если в том или другом вопросе вся земля ошибается или изрекает ложь“.

Приподнятый тон этих строк напоминает Мишле. Здесь Луи Блан выступает не спокойным ученым, решающим задачу для ума, а человеком, призванным произносить приговоры о событиях и о людях, испытывая к ним и уважение, и ужас, любви и ненависти, оправдывая и осуждая, прислушиваясь к голосу своей совести, как высшего судьи, ни перед кем не отвечая. Труд Луи Блана был задуман и стал выполняться в одну и ту же эпоху, при одном и том же повышенном настроении, как и книга Мишле. Роднит оба труда и то, что в них революция также ставится лицом к лицу с христианством, как это мы сейчас увидим.

Самой истории революции Луи Блан предпосылает обширное введение, большой том, посвященный „происхождению и причинам революции ¹⁾“. Это целая философия новой истории, начиная с XVI века. „История, говорит Луи Блан, не начинается и не кончается нигде... Как же обозначить отправный пункт этой революции, происшедшей из самых отдаленных подъемов духа и как бы содержащий всяческая (toute chose) в своих глубинах (I, 1)?... Нужно исследовать ее причины, восходя настолько возможно выше, насколько прослеживается их цепь. Значит не понимать революции, ее

¹⁾ В издании, указанном выше, это введение занимает весь первый том и более половины второго, в общей сложности более пятисот страниц. Первое издание было в двенадцати томах. В рус. переводе это также в одном первом томе.

высокого значения, если отождествлять ее начало с определенной датой. Ибо они не могли бы возникнуть из каких-либо простых случайностей, не знаю, из каких там недавних затруднений, они, эти события, память о которых еще трепещет. Они заключают в себе несколько веков страданий, бедствий, великодушных усилий и мужественных проявлений гнева. Все нации помогали им произойти; все в ней находят свое будущее. И именно в том состоит великая слава этого великого народа Франции, что ценою пролитых потоков крови он делал дело нужное человеческому роду“ (I, 6), — новое указание на то, с какой высоты Луи Блан хочет осветить значение французской революции, как всемирно-исторического события.

А вот теперь в чем заключается основная идея всего его историко-философского построения. „Три великие принципа разделяют между собой мир и историю: авторитет, индивидуализм и братство... Принцип авторитета обосновывает жизнь наций на неравенстве и, как средство управления, употребляет принуждение. Принцип индивидуализма, беря человека вне общества, делает из него единственного судью и того, что его окружает, и самого себя, сообщает ему преувеличенное чувство своих прав, не указывая ему на его обязанности, предоставляет его собственным его силам и все управление сводит к невмешательству (*laissez faire*). Принцип братства, рассматривая людей, как солидарных между собой членов великой семьи, стремится когда-нибудь организовать общество, дело человеческое по образцу человеческого тела, создания божьего, и основывает правительственную власть на убеждения, на добровольном согласии сердец“ (I, 8 — 9). С понятиями „индивидуализма“ и „братства“ в таком противопоставлении мы встретились уже у Бюшеза, который подвел под второе из них католицизм, но Луи Блан здесь изменяет схему своего предшественника и относит католицизм к принципу „авторитета“, вводимому им в качестве особого принципа в основную формулу. Совершенно так же, как у Бюшеза, индивидуализм и у Луи Блана порождается протестантизмом. „Освобожденный от религиозного элемента, говорит он далее, этот принцип восторжествовал во Франции у публицистов Учредительного Собрания, он управляет настоящим, он — душа вещей“. Провозвестниками братства Луи Блан объявляет „мыслителей

Горы“ и продолжает: „братство исчезло тогда в буре и в настоящее время является нам только вдали идеала, но все великие сердца его призывают, и он уже занимает и озаряет наивысшую сферу умственной жизни“. Из этих трех принципов, по определению Луи Блана, „первый порождает угнетение подавлением личности, второй ведет к угнетению через анархию, один третий посредством гармонии порождает свободу“. И далее: „свобода, сказал Лютер; свобода, говорили хором философы XVIII века, и то же слово написано в наши дни на знамени цивилизации. Но в этом есть недоразумение и ложь, и со времени Лютера это недоразумение, эта ложь наполнили историю; приходил индивидуализм, а не свобода“ (I, 8). Луи Блан соглашается, что по сравнению с предшествующим принципом индивидуализм совершил широкий прогресс и великое дело и что потому о нем нужно говорить с уважением, как о необходимой переходной ступени. „Но с этой оговоркой, читаем мы дальше, нам будет позволено поднять в более высокие области наши симпатии и надежды. Человечество поочередно нуждалось и в папе, и в Лютере, но принцип авторитета прошел свой путь, принцип индивидуализма пройдет свой, и будущее не принадлежит ни папе, ни Лютеру“. Прилагая это рассуждение к тому, что „имеют привычку называть французской революцией“, Луи Блан различает в ней „две совершенно отдельные революции, хотя и обе направленные против старого принципа авторитета. Одна совершилась в пользу индивидуализма и носит дату 89 года; другая была лишь бурной попыткой во имя братства и пала 9 термидора“. Только революция 1789 года „укоренилась в фактах“ и потому именно укоренилась, что она „не овладела обществом неожиданно“, что она служила интересу класса, сделавшегося господствующим, „буржуазии“ и что, наконец, эта революция „приходила с готовою доктриною под тройным видом философии, политики и индустрии“ (I, 9).

Соответственно с этими тремя подготовками революции Луи Блан разделяет на три части свой „предварительный труд“ (*ouvrage préliminaire*), т. е. общее введение. Ни один историк революции до него не начинал так издалека, не подходил к революции с таким обилием фактов и соображений, взятых при том отчасти и из истории не одной

только Франции. В первой части он показывает, каким рядом битв, порывов, жертв, насилий проник в мир индивидуализм, поражая, с одной стороны, авторитет в лице церкви, с другой братство в виде разных сект и в лице „всех мыслителей, вооружившихся во имя Евангелия“. Во второй части речь идет о победах, одерживавшихся во Франции „тем средним классом, могущество которого должно было основаться на индивидуализме“, а в третьей — о том, как в XVIII веке, „несмотря на усилия Жан-Жака Руссо, Мабли и самого Нейкера, индивидуализм сделался принципом буржуазии и восторжествовал: в философии — в школе Вольтера, в политике — в школе Монтескье, в индустрии в школе Тюрго“. Отсюда и заголовки трех „книг“ введения: „Протестантизм“, „Буржуазия“, „XVIII век“.

В первой части мы имеем отдельные главы о Яне Гусе, Лютере, Кальвине, при чем к этим главам автор присоединяет еще экскурс о крестьянской войне XVI века в Германии, как о „прологе французской революции“ и прологе именно со стороны братства. „Доктрина братства, превозглашенная в шуме лагерей и площадей, святая убежденность и при том свирепая, безграничная самоотверженность, сцены террора, казни, отвергнутые (шесонпус) великие люди, принципы небесного происхождения, напрасно потонувшие в крови своих защитников, — вот какими чертами французская революция возвещается в крестьянской войне, вот по какому пламенному следу мы должны отыскивать в истории дух наших отцов“ (I, 301). Прямое уже отношение к истории Франции имеют главы о Кальвине, где говорится и о „контр-революционном разделении всех людей на избранных и отверженных“, что напоминает известное место у Мишле³⁾, и об аристократическом характере французского протестантизма, как у Бушеза, и о том, наконец, как постепенно этот протестантизм, индивидуализм, видоизменяется и переходит с полей битв в книги, из богословия в политику, из лагеря воинственной знати в жизнь мирной и промышленной буржуазии (стр. 52 — 91). В сочинениях французских протестантских публицистов Луи Блан ищет тот же дух, из которого родилась „буржуазная революция 1789 года“ (72 — 82),

³⁾ См. выше, стр. 150—151.

отмечая, впрочем, призыв к братству у Ла-Боэси, в особенности же выдвигая Монтеня, как проповедника жизни только для себя (83 — 93). Все это по части религии и философии, а по части политики в особой главе (94 — 105) Луи Блан рассматривает борьбу Лиги XVI века, защищавшей принцип авторитета против партии политиков, в которой на сцену выступает буржуазия с принципами индивидуализма и веротерпимости. Но Лига, исходя из идеи папского верховенства, пришла сама к верховенству народа (95), оказавшись, поэтому, „более революционной, чем та революция, которую, она, Лига, хотела остановить. Она, говорит Луи Блан, находилась на дороге, которая ведет от папы Григория VII к комитету общественного спасения“. Лига не была аристократической: она была священнической и коммунальной, породив муниципальную диктатуру Парижа (96). Вся глава направлена к тому, чтобы показать, как индивидуализм воцарился тогда во Франции, освободившись от богословской оболочки. Но, замечает здесь Луи Блан, для того, чтобы индивидуализм овладеет обществом, нужно было „превращение буржуазии, которой он специально соответствует, в господствующий класс“.

Следующая книга, озаглавленная „Буржуазия“, представляет краткий обзор истории третьего сословия и верхнего его слоя от освобождения городских общин до начала XVIII века. Здесь, прежде всего, Луи Блан повторяет несколько измененные свои определения буржуазии и народа. Под буржуазией он понимает „совокупность граждан, которые, обладая орудиями труда или капиталом, работают средствами, составляющими их собственность, и зависят от других только в известной мере“. Их он называет более или менее свободными, тогда как другие, составляющие народ, свободны только по имени. Народ есть, именно, „совокупность граждан, которые, не обладая капиталом, зависят от других вполне и во всем касающемся первых потребностей жизни“. Автор отдает должное буржуазии в прошлом за „ее великие планы, за заслуги, оказанные перед делом человечества, за совершение важных дел“, но ставит ей в упрек, что она не захотела принять, как братьев, тех, которые ей помогали (107). В ряде глав он рассказывает, как создавалась и выросла сила буржуазии. Это — как-бы целый очерк прошлого Франции от

эпохи освобождения коммун, не без преувеличений относительно роли буржуазии и выгоды, главным образом, для нее от происходивших во Франции перемен, как будто бы все в ее истории работало, исключительно для того, чтобы создалась такая буржуазия. Странное впечатление производят здесь страницы, посвященные (237 и сл.) знаменитой системе Лоу, которую Луи Блан называет „великой, прекрасной, новой и смелой“, ибо она, будто бы, „вела к самому обширному, самому мощному демократическому установлению, какое когда-либо было“ (237): Луи Блан думает, что целью Лоу было „освобождение народа“ (238), что бумажные деньги соответствуют доверию, свойственному ассоциации, тогда как при режиме индивидуализма господствует недоверие, требующее звонкой монеты (242); что Лоу хотел „перенести от индивидуума на государство заботу о встрече капитала и труда“ (243) и т. п. Верно только, что глубок и непоправим был вред, причиненный системой Лоу старым отношениям, правам и обычаям: „этим, по крайней мере, замечает Луи Блан, она могущественно помогла приходу революции“ (285).

Третья часть исторического введения Луи Блана, посвященная XVIII веку, имеет такое построение. Сначала говорится о торжестве индивидуализма в философии, или рационализме: это — борьба против церкви, которую ведет Вольтер. Затем следует глава о войне против абсолютных королей под предводительством Монтескье, о торжестве индивидуализма в политике, или о конституционном режиме. Наконец, третья борьба, которая велась в XVIII веке, это была война против монополий, что соответствовало торжеству принципа индивидуализма в промышленности, или конкуренции, причем представителем этого принципа является Тюрго. Рационализм, конституционализм, экономический либерализм, вот что соответствовало настроению, стремлениям, интересам буржуазии, а вождями ее здесь признаются Вольтер, Монтескье и Тюрго.

В главе о Вольтере Луи Блан говорит и о других рационалистах, и всем им противопоставляет Руссо. „Другие восхваляли разум, который разделяет, он предлагал чувство, которое сближает и соединяет. Среди апостолов индивидуализма Руссо думал о Назаряине, проповедовавшем братство, и святость Евангелия говорила его сердцу (11, 46). Нет, читаем несколько дальше, ничто в философии энциклопедистов

не подходило к Руссо... Он напал на философию своего времени, но во имя будущего. И это было не маленьким предприятием". (11, 47). И Луи Блан с восторгом излагает идеи Жан-Жака Руссо. „Война была объявлена, и Жан-Жак ее выдержал, выставив против философии индивидуализма философию единства... Он был предтечей нового социализма: это были его несчастье и его слава“ (11, 48). Луи Блан благоговееет перед „Исповеданием веры савойского викария“. „Вот хороший священник, вот Жан-Жак. Его миссией в разлагавшемся обществе было противопоставить преувеличенному культу разума, разлагающего людские группы, культ чувства, который их образует и сохраняет. И из всех элементов, входящих в состав веры Руссо, нет ни одного, который не входил бы в величественное и поэтическое учение об единстве, о братстве“ (51).

Того же Жан-Жака противопоставляет Луи Блан в главе о Монтескье, как этому последнему, так и другим политическим писателям, среди которых почему то забывает здесь Мабли. Политическая система Монтескье для буржуазии была очень важна, но не для народа. „То, что было нужно народу, это не был только режим гарантий, а режим покровительства (99). Жан-Жак это понял хорошо, и каким мы видели его на арене философской, таким же проявил он себя и на политической“. И здесь Луи Блан восторженно говорит о „Discours sur la l'inegalité“ и о „Contrat Social“. „Подобно Ла-Боэси, по его словам, Жан-Жак шел к свободе только путем соединения, крича людям, что они должны жить братьями, чтобы жить счастливыми“ (101). Луи Блан не анализирует идей „Общественного договора“, а принимает их целиком, утверждая, что только истинная свобода имелась в виду в этом трактате.

В главе о Тюрго этот экономист и реформатор, которого Бюшез готов был зачислить в сторонники братства, наоборот, является наилучшим и самым полным выразителем экономического индивидуализма. Но рядом была и другая школа, девизом которой было братство. Сюда Луи Блан зачисляет Мабли, пропущенного им среди политических писателей, Морелли и... Неккера (1). Экономисты были защитниками индивидуального права, но и у „социального права“ были защитники, говорит Луи Блан (164). Что названы Морелли

и Мабли, совершенно понятно, но если Неккер попал в их компанию, то только благодаря нескольким тирадам против права собственности (185), о неравномерности распределения благ земных в населении (189) и т. п.

В этих трех главах излагаются не только идеи, кроме названных писателей, и других, как например, Дидро, Кондильяка, Гольбаха, Рейналя, Кенэ, Гурнэ, и т. п., но и реальные отношения французской жизни XVIII века. Эти главы попутно знакомят с историей борьбы между правительством и парламентами, с цеховым строем в городах, с положением дел в деревнях, с некоторыми реформами в тех или других областях, но очень отрывочно и неполно, поверхностно. Все-таки, однако, из общих историков революции никто так не заглядывал до Луи Блана в подробности старого порядка, хотя в общем очень мало: о цехах приблизительно восемь страниц (II, 117 — 125), о налоговом бремени несколько больше (134 — 148), о сенсьюальных правах ничего.

То, что Минье назвал preliminариями революции в царствование Людовика XVI, Луи Блан разработал так подробно, как никто этого до него не делал. Целый ряд глав посвящен картине придворной жизни (кн. I, гл. I) и знаменитому делу об ожерельи королевы (гл. 4), первому министерству Неккера (гл. 2), проявлению дефицита (гл. 5), и о том, как фатально создалась необходимость созыва Генеральных Штатов (гл. 6). Одна из этих preliminарных глав (3) носит заглавие „Мистические революционеры“. Здесь автор рисует картину, совершенно противоположную той, которая имеется в главе о рационализме. Речь идет о масонах, иллюминатах, мартинистах, о великих мистических устремлениях и суеверных бреднях, о делателях золота и изготовителях жизненных эликсиров, о Калиостро, о Месмере и т. п. Никто из серьезных историков французской революции не поддержал впоследствии Луи Блана в разработке этой темы ¹⁾. Массонство казалось ему „подкопом, который тогда

¹⁾ Связь революции с масонством выдумана иезуитами (Augustin Barruel. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme) и редко кем поддерживается (см. еще E. Nys. Droit international et franc-maçonnerie 1908), но большинство историков связь эту не признает, о чем см. А. Васютинский в I т. издания „Масонство в его прошлом и настоящем“ (1914). Специально Луи Блану возражал А. Шахов в книге о Вольтере.

рыли под тронами и алтарями революционеры, совсем иначе глубокие и деятельные, нежели энциклопедисты“ (II, 267). Массонство, „глухо волновавшее Францию“, везде основывалось на принципах, противных существовавшему строю (268). „Как, спрашивает Луи Блан, такое учреждение, при приближении кризиса, бывшего предметом желаний взволнованного уже общества, могло не доставить оружия разочтенной смелости септантов духу осторожной свободы“ (270)? И он не удивляется, что масоны внушали правительствам смутные опасения (273). Важнее этого соображения указания на людей революции, бывших в масонских ложах. Их Луи Блан называет в количестве двух десятков: между ними наиболее известными были Бриссо, Байльи, Демулен, Кондорсе, Дантон, Петлон, два Ламета, Лафайет (275). В частности, Луи Блан в революционном клубе „Cercle Social“ видел как бы продолжение масонской ложи (III, 301). Что касается до иллюминатства, то оно, по мнению историка, подготовило Анахарсиса Клоота и Бабёфа (282). Девиз резолюции: „свобода, равенство, братство“ ставится им в связь с мартинизмом (291). Свою мысль о связи всего этого с революцией Луи Блан резюмирует в следующих словах: это движение в области воображения, чувства, веры „своими мистическими конспирациями подрывало старые тирании; своею сокровенною философией оно заинтересовало в победе равенства два могучих двигателя человеческой природы: воображение и любовь к неизвестному; своими чудесными исцелениями, приписывавшимися притягательной силе универсального флюида, превращало физическую солидарность людей в доказательство и образ их моральной солидарности (?). Это были стремления Жан-Жака в странном применении, доведенные до крайности и затемненные“ (302). Собственно говоря, у Луи Блана все это высказано тоже темно, с натяжками и производит смутное впечатление. Сам он как-бы не сомневается в истинности одного предсказания о том, что супруги Кондорсе кончат жизнь на плахе и что такая же казнь ждет даже короля (303 — 304).

Глава VII первой книги в истории революции представляет собою первую попытку, еще очень недостаточную, правда, разобраться в выборной компании 1789 года. Здесь есть указания и на брошюрную пропаганду. Прежние истории

не ссылались даже на знаменитую брошюру аббата Сьейеса, о которой Луи Блан говорит, как о библиографической редкости в его время (III, 39). Он знакомит, далее, с королевским регламентом о выборах, правильно называя его запутанным и потому похожим на „зеркало, в котором отражался хаос старой Франции“, (III, 43). О том, как происходили выборы, он рассказывает, главным образом, по мемуарам и отчасти по брошюрам. Отдельно поставлено избрание Мирабо, о котором сообщаются и биографические сведения (49 — 55) и без подробностей о его личности (56). Отдельно описаны и выборы в Париже (60 — 62). Но что особенно поражает в этой главе, так это совершенное почти отсутствие сведений о содержании наказов. Автор только в нескольких строках (34) говорит о кое-каких пунктах дворянских наказов, заимствовав свои сведения из какой-то публикации 1825 года (Grille Tableau Comparatif), да еще отмечает, что наказ бальяжа Кресси, где выбрали герцога Орлеанского, особенно отличался новыми стремлениями (58). Здесь же рассказывается о погроме дома Ревейльона (приспешивии, где уже намечался социальный вопрос) (65 — 66). Луи Блан — талантливый рассказчик, дорожащий подробностями, хотя бы и мелочными. Тон часто повышенный, хотя, быть может, гораздо менее, чем у Мишле, но нередко Луи Блан прерывает свой рассказ рассуждениями, и даже краткие его замечания вообще всегда позволяют улавливать его отношение к тому или другому факту. Особенно важны его замечания, касающиеся буржуазии и народа.

Он с удовольствием сообщает факты, относящиеся к поведению третьего сословия весной 1789 года. Закончив рассказ о июньских событиях, он продолжает: „а теперь, увы, начнутся недоразумения. Теперь нам придется рассказывать, что между буржуазией и народом ...¹⁾ Но остановимся на минуту под впечатлением внушительного триумфа, и пусть горькие слова, слишком рано произнесенные, не нарушают этого священного праздника наших воспоминаний. Да, мы можем сказать это без оговорок и с чувством, с гордостью: до этого дня, по крайней мере, буржуазия была революцией, она была народом“ (III, 116). Так он

¹⁾ Так в тексте: фраза остается неоконченной.

оканчивает одну главу, а следующую начинает словами: „здесь начинается историческое развитие, характер которого нужно хорошо заметить и за фазами которого мы будем следить. Вожди, продолжает Луи Блан, видели только с испугом присутствие народа, как он приходил заседать в зале публичных прений, словно для того, чтобы и ему тоже иметь здесь свои Генеральные Штаты“. Он спрашивает при этом: „следовало ли бы допускать, чтобы этот суверенитет без крещения и без черного плаща лицом к лицу встречался с суверенитетом Собрания? Было ли бы допущено, чтобы при виде трибун, наполненных повелительной толпой, роялист сказал, как древний государь: я вижу двое Фив и два солнца? Ошибки или искусственные приемы речи не смогли бы изменить природу вещей. Сьейес напрасно смешал под общим именем третьего сословия буржуазию и народ; были богатые и бедные, были плебеи большого света и плебеи улицы (III, 17). Между людьми, которые вместе требовали свободы, одни обладали всем, что позволяет ею пользоваться: образованием, кредитом, богатством, а другие рисковали быть похожими на разбитого параличом, за которым, однако, было бы признано право ходить, и потому они должны были хотеть в одно время со свободой иметь то, что помешало бы ей быть для них призрачной победой, пустым звуком. Это и предчувствовало Собрание, достигши победы... Оно испугалось своего собственного торжества“. И был, прибавляет Луи Блан, человек, особенно, боявшийся народа: это был „Мирабо, вчера еще агитировавший в народе, а теперь после победы потребовавший, чтобы на знамени революции в полном ходу была написана формула обществ, находящихся в состоянии покоя: поддержание общественного порядка“ (118). Уже на первых порах Луи Блан подозревает, что буржуазия сделает Людовика XVI из короля дворян королем собственников. „Еще молчаливый наблюдатель подземных махинаций, Марат, с тех пор уже собирал материал для будущих обвинений, правда, обвинений часто клеветнических, но очень нередко также полных света. Если другие были мыслью революции, если еще другие были ее гневом, Марат был ее подозрением“ (123). Луи Блан находит, например, что Собрание в виду безработицы и голодовки не подняло вопроса о „праве на труд“, о недостатках, прису-

пих режиму заработной платы, об опасностях конкуренции, о средствах освобождения пролетариев, обо всем, что интересовало народ, но что, можно было бы прибавить, вполне выяснилось только в XIX веке. Вина была в индивидуализме, в безразличии государства по отношению к индустрии (124). „В то самое время, читаем мы дальше, как в великодушном самозабвении народ, в крайней нужде, без работы, голодный, делал из завоевания политических прав самую дорогую из своих забот, в Собрании просто переходили к порядку дня мимо общественных бедствий“. Но, может быть, обвинение несправедливо? спрашивает сам автор, ибо социальная наука была еще очень несовершенна. И все-таки он думает, что вопрос должен был быть поставлен, да он и был поставлен, но революции пришлось учиться в пылу битв, „по книге, открытой в крови“ (125). Этот, с самого же начала обличительный тон характеризует все отношения Луи Блана к Учредительному Собранию. Совсем в ином тоне говорит он о народе „героическом и бескорыстном“.

За красноречивую главою о взятии Бастилии народом следует глава под названием „Людовик XVI, король буржуазии“. Когда король 17 июля показался народу, из окна Ратуши, с национальной кокардой, толпа пришла в неистовый восторг, но, оговаривается Луи Блан, она „приветствовала не воплощение королевской власти, а цвета восстания“. 17 июля в Ратуше „произошло новое венчание на царство, которым уничтожилось прежнее в Реймсе. Феодальный государь исчез: во Франции оставался только один монарх, глава буржуазии“ (209).

Или когда Луи Блан приводит факты, указывающие на то, что буржуазия пыталась сдерживать крестьянские восстания, он делает такое замечание: „еще прежде, чем общие враги были повержены, буржуазия обращалась против своих помощников. Это было потому, что многие еще не видели в грозе ничего, кроме разрушительной силы: они забывали, что зародыши странствуют на крыльях бурь и что порывистые ветры получили власть распространять плодородие“ (263),—один из многих образчиков метафорического красноречия, когда Луи Блан не находил точного выражения или не хотел точно выражаться.

Впрочем, местами встречаешься с заявлениями, которых не ожидаешь встретить при недоверчивом отношении автора ко всему, что делало Учредительное Собрание. Таково, например, место о ночи 4 августа 1789 года. „Писали, говорит он, что в решении (покончить с феодализмом) не было ничего добровольного, что его внушил страх, что его навязала сама необходимость. Что касается нас, мы не относимся к человеческой природе со столь малым уважением, чтобы нам могло нравиться приписывание громким делам истории унижающее их происхождение. Нам стыдно было бы признать, что всегда неизбежно справедливость в силе своей уступает эгоизму или страху. Нет, нет, дело не так бывает, и в том именно слава революции, что она зажигала своим пламенем вражеские сердца и даже видела тех, кого поражала, на коленях перед собой с чувствами уважения и восхищения“ (264—265). Вместе с тем Луи Блан полагает, что „пока феодализм стоял еще на ногах, ученики Вольтера и ученики Жан-Жака соединили свои учения, но приходили минуты, когда недоразумения должны были сделаться явными. Индивидуализм дал свою формулу; уже братство позволяло отгадывать свою. Поэтому как ни блестяще, как ни плодотворна была буржуазная революция 89 года, вторая революция была неизбежна. Последняя подняла, мы это увидим, на невиданные высоты уровень человечества. А что она стоила, то... ¹⁾. Это был наш выкуп: теперь счет оплачен, и будущее нас зовет, оно нам более не угрожает. Но как! восклицает Луи Блан, но как! Разве высший закон, ужасный закон не соединил зла с добром, как условие абсолютное, неотменимое. Арена бесконечной борьбы. Что такое истина? Пламя, которое вечно растет и горит над могилами. В природе виды существуют только разрушением низших видов. Земля, на которой волнуются живые, сделана из праха мертвых. Но не торопитесь делать заключения. Горячий, непобедимый протест, исходящий из глубин человеческой совести, вот что показывает, что необходимость зла есть ложь. Достоинство человека в том, чтобы в это верить, его могуществом станет это доказать“ (272). Как-то это место больше дру-

¹⁾ Опять неоконченная фраза в тексте.

гих напоминает стиль Мишле, а вместе оба наши историка — напоминают Виктора Гюго.

Говоря в приведенном выше месте о подозрительности Марата, порождавшей часто клеветнические обвинения, Луи Блан прибавляет, что привычка „верить в зло“ выработала в Марате „удивительное ясновидение“ (III, 123). То же самое можно применить и к самому Луи Блану в отношении к Учредительному Собранию, позади которого он постоянно обнаруживает вдохновлявшую его буржуазию. Мы видели, как он поставил в вину этому Собранию, что оно не заговорило о „праве на труд“, которое сам Луи Блан открыл только через пятьдесят лет после того. Он как бы даже ставит в вину Учредительному Собранию, что оно удержало монархию во Франции, не принимая в расчет, что в 1789 году ни у кого даже в мыслях не было вводить во Франции республиканский образ правления. Монархически были настроены все классы общества, о чем, между прочим, свидетельствуют указы 1789 года. В одном месте Луи Блан говорит, что победоносный народ,—имея, впрочем, в виду парижское население, как это у него часто бывает,—что победоносный народ охотно забыл бы монархию, но буржуазия нашла нужным напомнить ему о ее существовании (III, 203). Дело представляется так, как будто уже тогда „народом“ ставился вопрос о республике. Вот, например, такое место: „уважение к королевской власти, уже подчинившейся! говорила буржуазия, потому что она искала гарантий.—Что такое королевская власть, если не самая выдающаяся из привилегий? спрашивал народ, потому что он искал равенства“ (III, 221).

Но ведь ничего подобного тогда еще не было. У Учредительного Собрания никто республики не требовал, и свободного выбора между монархией и республикой пока не могло быть. Монархия была не только фактом, но и общим национальным убеждением, как буржуазии, так и народа, т. е. и крестьян, и городского рабочего люда, который при том состоял не из одних пролетариев. Монархизм Учредительного Собрания Луи Блан объясняет исключительно тем, что „для буржуазии трон был нужен... против народа“ (108),—мысль, которую он повторяет на разные лады. „Далекая, говорит он, например, от того, чтобы опрокинуть трон, буржуазия уже искала в нем свою охрану“ (120), как будто дело шло о самой

возможности „renverser le trône“. Другие аналогичные места таковы: „буржуазия все более и более теснилась вокруг трона и искала в Людовике XVI неприкосновенного главу“ (129); боясь „содействия народа“, она желала быть „обязанною только королю“ (132); буржуазия „горела желанием заключить союз с королевскою властью, ... чтобы избежать поддержки народа“ (133). Или такое место: „Учредительное Собрание сохранило трон потому, что, желая основать господство буржуазии, оно нуждалось оставить на вершине государства яркий символ неравенства, ... потому, что чувствовало, что раз покончено будет с наследственной передачею власти, очередь дойдет и до наследственной передачи богатства и благосостояния. Буржуазия требовала короля на том же основании, как и дворянство, от которого она получала наследство. Король был нужен феодализму золота, как прежде он нужен был феодализму железа“ (352).

Главною же целью буржуазии в этом отношении было обеспечить собственность. „Монархия была сохранена (conservée), как охрана исключительной собственности, но более уже не как принцип“, формулирует Луи Блан свою мысль (273—292). А сколько у него самого мест, где говорится о любви народа к королю.

Делая общую характеристику Национального Собрания его партий и наиболее выдающихся лиц, Луи Блан всем людям, представлявшим в Собрании прошлое и настоящее, противопоставляет единственного человека будущего—Робеспьера (304), с которым рядом ставит только Мирабо, как деятеля, в одном своем лице бывшего целой партией (305). При всем разногласии, существовавшем в Собрании, была, однако, у него, как целого, по представлению Луи Блана, одна общая мысль: „на развалинах низвергнутого феодализма основать могущество буржуазии“, а не что-либо другое (305). Собрание было велико, когда оно шло рука об руку с народом, одушевлялось его чувствами (306). Автор оспаривает взгляд историков¹⁾, говоривших, что Собрание вполне подчинилось уличной толпе.

Ему, аргументирует он, не только приходилось сопротивляться уличным крикам, но даже это делать под влиянием

¹⁾ Луи Блан ссылается на „Историю революции“ Гранье де-Касаньяка.

ложной идеи, что нация, это было оно. „Верно только, что в некоторых случаях оно подчинилось таинственному давлению (*une pression mystérieuse*), не отдавая себе даже в этом отчета; вернее то, что одним из побуждений, лучше всего им руководивших, обманывая его кастовый эгоизм, была одна страсть, тогда довольно новая во Франции, искание популярности. В сущности, оно меньше боялось угрозы народных сборищ в Пале-Рояле, чем искало их похвалы... Каждый век имеет своих кумиров, которых предлагает для поклонения людей. Свобода и равенство были божествами дня... Отсюда было то, что многие предалися революции единственно для того, чтобы стяжать общественное благоволение... Какой ветер дул из предместьев?.. И таким образом дух лесты сходил по ступенькам из высших сфер, где витал прежде. Верховная власть, переменяв место, заставила сделать то же и куртизанство. Народ получил в качестве льстецов тех самых людей, которые были так наглы, что считали себя его господами: он был отищен. Пусть же не клеветают, пусть не пытаются привизить эту притягательную силу революции за то, что она проявляла себя над легкомысленными страстями и подлыми мыслями“ (307). При всяком удобном случае, с другой стороны, Луи Блан старался обелить действия толпы, которая у него чаще всего называется прямо народом, как будто бы шла речь обо всем населении Франции. По поводу события 5 и 6 октября 1789 года он полемизирует с историками, „оклеветавшими“ по этому поводу народ. „Выдавая ярость нескольких, говорит он, за ярость всех, приводя, как выражение единодушного чувства, десяток или дюжину взывавших к убийству фраз, выхваченных из океана слов, распространяя на целые тысячи голов ответственность за эксцессы небольшого числа негодяев, терявшихся в неизмеримой толпе, они злоупотребляли до скандала, до настоящего бреда искусством заключить от частного к общему“ (IV, 68). Но в этих словах есть и осуждение самому Луи Блану, у которого так часто под народом разумеется просто уличная толпа, иногда даже чисто случайная толпа.

У Луи Блана очень подробно, гораздо подробнее, чем у его предшественников, рассматривается законодательная работа Учредительного Собрания (кн. II, гл. 4; кн. III, гл. 9;

кн. IV, гл. 6, кн. V, гл. 3; кн. VI, гл. 11). Он сообщает массу сведений и о том, как делалось дело в Собрании. Мы находим у него и картину муниципальной и военной организации парижской буржуазии (III, гл. 2), и историю клубов (т. V, гл. 5), и обзор периодической прессы (т. II, гл. 6). Много такого, что не было у прежних историков, у Луи Блана даже составляет содержание особых глав, как например, о кальвинистах в Ниме (IV, 11), о янсенистах в Национальном Собрании (IV, 12), о революции в армии (X, 2), о колониях (VI, 10) и т. п. Одним словом, Луи Блан более, чем кто-либо другой, широко охватил эпоху, хотя, конечно, все-таки не без важных с теперешней точки зрения пробелов. Как-раз теперешнему серьезному читателю хотелось бы иметь больше фактов по истории крестьян и городских рабочих и по истории законодательства, ближайшим образом их касавшегося. Наконец, у Луи Блана больше, чем у его предшественников, подробностей об отдельных деятелях революции. В этом смысле его труд представляет собою особенно полное собрание фактического материала, превосходящее то, что дает Мишле. Конечно, „Парламентская История“ Бюшеза содержит еще больший материал, но в сыром виде, без исторической обработки.

Сцены народных движений нашли в Луи Блане также очень обстоятельного и одушевленного повествователя. Таковы его рассказы о 12—14 июля, о 5—6 октября. Во втором из этих движений он отличает участие народа, бывшее „патриотическим, великодушным, вдохновенным“ от „фактов жестокости и насилия, заранее подготовленной жестокости и подкупленного насилия“ со стороны „партийных людей (hommes de faction) и их агентов“. Только в неразличении этих двух несходных участвий Луи Блан и видит причину того, что историки могли то замалчивать или оправдывать отдельные непростительные поступки, то сваливать всю ответственность на массу, их не совершившую (IV, 119).

Он даже особенно подчеркивает, что народ тогда любил короля и был преисполнен монархических чувств (IV, 82, 88, 125). Некоторые народные эксцессы были, по его мнению, результатом подстрекательства контр-революционеров (128). То же объяснение он допускает и по отношению к разбойным действиям в деревнях (344 и сл.). После 5—6

октября король и Национальное Собрание переселились в Париж, где теперь, как выражается Луи Блан, „мощь буржуазии в Ратуше выросла в мрачный деспотизм, в самый мрачный деспотизм“ (137). Париж, по его словам, „воскрешал память о самой мрачной тирании, какая когда-либо была в мире, тирании венецианского правительства“ (144). „Душою буржуазной тирании Ратуши“ является для него Бриссо, „громоздивший софизмы на софизмы“ для оправдания распоряжений и действий городского управления (157). Принятие Национальным Собранием деления граждан на активных и пассивных дает Луи Блану, конечно, повод к осуждению Собрания, хотя, по его расчету, на шесть миллионов голосов, которых было бы во Франции при всеобщем избирательном праве, активных граждан приходилось все-таки четыре миллиона двести тысяч, т.-е. 70% (284).

Во взглядах Луи Блана на буржуазию мы видим развитие той точки зрения, которая характеризует отношение к этому классу Бюшеза. Но взгляды его на католицизм были совсем другие, хотя и Бюшез, впрочем, был очень неблагоприятно расположен к тогдашнему французскому духовенству. Луи Блан весьма внимательно отнесся к церковным делам в эпоху революции, посвятив особые главы (кн. III, гл. 3) материальному положению клира, „войне буржуазии“ против него (гл. 4), „его ярости“ (кн. IV, гл. 7), проявлениям католического фанатизма в Ниме (гл. 11) и т. п. Все эти главы, как и вообще весь труд Луи Блана, насыщены фактическим материалом. Для характеристики его взгляда на религиозную сторону борьбы, происшедшей во Франции из-за гражданского устройства духовенства, нужно иметь в виду его отношение к этому устройству. Историю возникновения „*constitution civile du clergé*“ он рассказывает для общей истории революции достаточно полно, находя, что это была „необдуманная попытка со стороны янсенистов Собрания, со стороны же вольтерьянцев, их политических союзников, непоследовательность, полная опасностей. Велика, поясняет он, была ошибка первых, если они убедили себя, что их суровость очарует французский ум и что Франция XVIII века воспламенится сочувствием к благочестивой реформе. В самом деле, никто не внес страстности в защиту гражданского устройства церкви, тогда как против нее проявлена была масса гнева, так

что если она и создала фанатиков, то лишь среди ее противников" (V, 175). У янсенистов еще были свои религиозные соображения, а вольтерьянцы только „соткали собственными руками покрывало, которое было нужно прелатам, их врагам, чтобы набросить его на свой раздраженный эгоизм". Гражданское устройство, затронувшее „внешние формы культа", дало священникам повод кричать, что „самые основы религии были поколеблены", и таким образом создавало „моральное оправдание неморальности их сопротивления". Затем оказалось нужным навязать им присягу, начать карать их за отказ присягать, грозить им, а это только поднимало их господство (176). Луи Блан совершенно правильно рассуждает о той борьбе в глубинах совести, которая должна была произойти у священников, бывших преданными революции, но не отделившимися от церкви. На тех, которые остались верными революции, смотрели, как на Иуду, продавшего своего учителя. „Ах, заключает Луи Блан, это только слишком верно: преследование лишь подогрело, оживило церковь... Таков дух католицизма, что ему нужно или быть тиранизованным, или самому быть тираном" (177).

Четвертую книгу своей истории революции Луи Блан заканчивает большою главою, носящею название „*Vision Sublime*", где говорится о „движении нации к единству, которое останется в истории без чего бы то ни было с ним равного", о провинциальных федерациях и о празднике общенациональной федерации 14 июля 1790 года. Это было стремление к „единству отечества и к царству братства" (V, 208). В этой главе Луи Блан опять умиляется, восторгается, видя в празднике федерации „прообраз нового мира, пророчество в действии, самое поразительное, быть может, и самое высокое видение будущего, какое только было у великого народа" (243). Здесь был возжен „факел, при свете которого идут все народы, хотя и неровно, в направлении справедливости"...—только видение, потому что первая же глава пятой книги уже посвящена „неумолимой контр-революции". „Читатели, обращается к нам всем автор, если вы хотите быть справедливыми, сравните то, что только-что было рассказано, с тем, что за этим последует. Когда дальше вы увидите проявления ненависти, сделавшиеся зверскими, случаи гнева, достигшего высшей степени иступления, переполненные тюрьмы, воздвигнутый

эпифот, не забывайте, что революция была в начале великодушною вне всякого сравнения и мягкою безгранично; что она предоставила своим врагам, из уважения к свободе, всякую возможность проклинать ее и устраивать против нее заговоры; что она с бесконечными предосторожностями разрушала привилегии, однако, очень ненавистные; что она сначала была скупа на пролитие крови до степени неслыханной с тех пор, как происходили в этом мире великие потрясения; что она не переставала протягивать руки своим врагам, прося у них, как милости, быть только справедливыми; что, наконец, однажды, в вечно памятный день, она созвала всех сынов Франции соединиться, примириться, обняться, полюбить друг друга вокруг алтаря отечества. Чья вина, что революция кончила тем, что сделалась яростной. Так захотела контр-революция: вот ответ!" (V, 247—248). Этими словами глава начинается, а кончается такими: „ах, если впредь революции случится прийти в раздражение и сильное движение (bondir), пусть это оплакивают и стонут, но пусть и помнят, что нарочно хотели вывести ее из себя, вонзая в ее бока острия целыми тысячами" (276). И в этой же самой пятой книге, за главами о революции в армии и о восьми стах миллионов ассигнатов, идут главы об анархии, о клубах и о религиозном расколе, вызванном гражданским устройством духовенства.

В первой из этих глав Луи Блан собрал множество крупных и мелких фактов одного и того же порядка: в августе и в сентябре 1790 года по Франции катилась волна восстаний и стычек, причем иногда трудно разобраться, говорит он, были ли эти волнения революционными или контр-революционным. На самом деле были и те, и другие, в свою очередь вызывая брожение в Париже и отражаясь на самом Национальном Собрании, где происходили бурные сцены. „Анархия“, так назвал Луи Блан это состояние Франции, когда „над головами гремела гроза, а под ногами был Везувий“ (VI, 61). „Заключали ли между собой союз революция и власть? спрашивает он. Предстояло ли, наконец, видеть благородное зрелище порядка в свободе? Увы, нет... Если анархия, неразлучная с такого рода трудами, служит для вас соблазном, спросите у природы, зачем ей захотелось соединить муки с великим усилием деторождения. Скоро, скоро на этой сцене революции,

сделавшейся еще более бурной, чем когда-либо, появится Сен-Жюст и в блеске молний и грохотании грома скажет это глубокое слово: человек плачет, появляясь на свет" (VI, 90). Опять риторическая тирада, вместо исторического объяснения, крайне поверхностного в этой главе. Здесь Луи Блан предлагает спросить у природы, в другом месте, как мы увидим, он отсылает за ответом на подобный вопрос к богу.

„По этому необозримому волнению, говорит Луи Блан дальше, плавали, как корабли по разъяренному океану, в клубы и в первой линии якобинский" (VI, 93). Не нужно, правильно вообще советует он тут, доверяться тому, что пишут победители о побежденных, а после падения якобинцев, говорит он, самое „слово якобинец сделалось выражением всех беспорядков и всех заблуждений, которые может влечь за собою бредовая демагогия. Верно, однако, что дух этого знаменитого общества, по крайней мере, в течение большей части его существования, соответствовал идее, совершенно и даже диаметрально противоположной той, которую о них обыкновенно имеют теперь. Конечно, до очень поздней эпохи революции Общество якобинцев было, прежде всего, обществом политическим. Ненависть к прежнему неравенству, резкие верования, род рассчитанного фанатизма, нетерпимость в пользу смелых новшеств, страсть властвовать и в основе любовь к мелочному порядку (*la règle*), вот, что бы там ни говорили, из каких черт состоял якобинский дух. Настоящий якобинец был что-то такое мощное, оригинальное, мрачное, занимавшее место между агитатором и государственным человеком, между протестантом и монахом, между инквизитором и трибуном. Отсюда эта свирепая бдительность, превращенная в добродетель, это шпионство, возведенное на степень проявления патриотизма, и эта мания доносов, которая сначала возбуждала насмешки, а потом заставляла трепетать. Могло ли подобное Общество долгое время находиться под влиянием легкомысленного Барнава и братьев Ламетов? Очевидно, нет. Единственным человеком, который мог его олицетворять, был Робеспьер. С другой стороны, продолжает Луи Блан, понятно, как плохо должны были себя чувствовать в клубе, существенно организаторском и формалистском, независимые натуры, как Камил Демулен, бурные, как Дантон, дикие, как Марат. Для таких людей воздух у якобинцев был слишком тяжел, удушлив...

Им нужна была ассоциация очень гибкая, ассоциация, которая не была бы единой. И вот именно отсюда вышел клуб кордельеров" (VI, 103—105). Здесь каждый был сам по себе и отвечал за себя; это был партизанский отряд, тогда как якобинцы были целой армией. Кордельеры были неспособны к организации и к дисциплине, якобинцы же образовали „настоящее национальное собрание, с которыми филиальные общества были гораздо теснее связаны, чем административные учреждения с законодательным корпусом, заседавшим в Париже (VI, 105—106).

Нельзя не признать все это чрезвычайно верным и метким. Луи Блан здесь — само безпристрастие. Рассказав, между прочим, как народ, подстрекаемый несколькими якобинцами, разогнал монархический клуб, бывший затем обвиненным в том, что затеял беспорядки, „жертвою которых сам же был“, Луи Блан патетически восклицает: „о, горе тем, которые разрушают алтари, назначенные быть убежищами для бедных и для побежденных! Горе тому, кто заносит руку, в день своего могущества, на эту богиню-охранительницу, на Свободу... Существует ли вообще господствующая партия, которая могла бы быть уверена, что ей не понадобится взывать к свободе после пользования тиранией?“ (119). Ни на один, впрочем, якобинский клуб история возлагает ответственность за „порождение ими легионов доносчиков, за распространение недоверия, за усиление подозрительности и во многих случаях заимствование у деспотизма, для борьбы с ним, его же насилий и недостойных приемов (artifices). В этом было зло и было бы подлостью о нем промолчать“. Но Луи Блан не отказывает революционным клубам и в принесенной им пользе. Контр-революция должна была присмиреть, общественный дух находил поддержку, каждый город мог жить плодотворною жизнью Парижа, в рабочую среду провикали идеи. „Зачем, однако, риторически вопрошает Луи Блан, рядом с добром зло?“ и коротко отвечает: „спросите у бога“ (120). Выходило так, что, с одной стороны, народ волновали клубы, с другой—священники из-за гражданского устройства церкви. Историк отрицает, чтобы Собрание этим устройством „наложило святотатственную руку на религию“ (122), не видя, что все-же это было вмешательством светской власти во внутреннюю организацию церкви. Он даже полемизирует

с противниками гражданского устройства на почве теологии и канонического права. Это устройство вызвало целую публицистическую литературу, а потом от слов перешли к делу. Начались „сопротивления, насилия, скандалы“: местами запрещалось богослужение для неприсяжных священников, и в церкви вводилась военная сила (124—125). Описывая религиозную борьбу, возникшую на этой почве, Луи Блан отмечает, как проповеди неприсяжного клира действовали на „простые сердца“, и упоминает о „трогательных сценах, встречавшихся в это время“ (145). Но действовала и противоположная пропаганда путем смехотворных и неприличных рассказов и карикатур (146). Как только увидели, что есть „мученики, явились и фанатики“, а мученики, действительно, были: историк, не обинуясь это признаёт (147).

Луи Блан умеет быть и очень часто, если даже не в огромном большинстве случаев бывает, беспристрастным, но только не тогда, когда применяет свою схему и ставит одних одесную, других опую только потому, что последним полагается по схеме олицетворять порицаемый им индивидуализм, а первым воплощать в себе принцип братства. И он часто выпячивается до высокого пафоса, когда, забывая свою схему, имеет в виду человечность. Так, мы читаем в главе „Благо человечества—высший закон“ красноречивые страницы (VI, 194—196) о том, какие опасности заключает в себе формула: „salus populi suprema lex esto“. „Какой только тиран не говорил: я хочу спасти общество. Подождите, подождите, обращается Луи Блан к Камиллу Демулену, и против вас будут ссылаться на спасение народа, ваш верховный закон, и когда вы будете на роковой повозке (везущей к эшафоту) вы не жалуйтесь на логику, посадившую вас сюда, потому что эта логика — ваша“.

Луи Блан умел быть беспристрастным и по отношению к людям. Он не окрашивал их непременно в один какой-либо цвет, не обелял их непременно, когда они ему нравились, не чернил их во что бы то ни стало, когда они не соответствовали его идеям, но все это было так, пока дело не касалось близко той формулы, в которой он резюмировал всю революцию. По отношению к Робеспьеру у него, например, была известная предвзятость. Конечно, ему часто приходилось говорить о такой крупной личности, как Мирабо,

и при этом то хвалить его, то порицать. В главе „Смерть Мирабо“ (кн. V, гл. 8) он набрасывает общую характеристику этого „странного человека“ „с сердцем, полным противоречий и бед“, и, так сказать, по человечеству, Луи Блан требует здесь милосердного или, по крайней мере, сострадательного отношения к его памяти, как к памяти борца за право, страдальца во имя справедливости, друга и защитника свободы, благосклонного к людям вообще и жалостливого к несчастным (VI, 222).

Луи Блан очень подробно прослеживает, как создавались карьеры наиболее видных людей революции, и какие перипетии они испытывали. Так это им было сделано в специальной главе „Lafayette decline“, а Лафайет был истинный глава парижской буржуазии. Смерть Мирабо делала Лафайета кандидатом на его место. Вышло иначе: „когда исчезает Мирабо, показывается Робеспьер“, говорит Луи Блан в главе „Robespierre s'annonce“ (VI, 243). Здесь мы читаем о нем: „он потребует справедливости для всех, без исключения для всех. Он будет проповедовать право. С ним никаких компромиссов, разве истина не едина? Пусть никакая партия его не рекламирует: он принадлежит к партии своего убеждения, этого достаточно... Всегда готовый защищать народ, он не знает, что такое ему льстить: у него для этого слишком много гордости и слишком много добродетели. В обществе, где царит беспорядок, он проповедует культ правил. Анархия его ужасает (244)... Есть слабости, которые заставляют себя любить, и вот их-то не доставало Робеспьеру. Что-то непроницаемое обволакивало его душу. Его добродетель, как туманная звезда, блестит, не испуская лучей. Даже на устах, обмысленно открывавшихся для его славословия, его присутствие как-будто останавливает легкие похвалы и фамильярную улыбку. Говоря о милосердии, он наводит страх (245)... Революция его захватила и обработала (façonné) его для нужды, которую она в нем имела, и вот он стал холодным (glacé) воплощением принципа, статуей Права, мыслящей статуей, но мраморной. Он любит человечество, но он любит с холодным бредом, он любит его до готовности умереть за него, покрытым позором. Но в голове отныне седалище его чувствительности, там только происходит драма его самоотвержения: не кладите руку на его сердце, вы не почув-

ствуете там биения жизни... Его поймут только скучные массы, и тогда как инстинктивно они сделают из него идола, всякий человек в отдельности отстранится от этого существа сильного и несчастного, отталкивающего и искреннего" (246). Буржуазия отделяет себя от народа, Робеспьер протестует, популярность его растет. „По мере того, как революция шла вперед, разграничительная черта, которую буржуазия вырыла между собой и народом, делалась с каждым днем, с каждым часом глубже. Буржуазия была представлена большинством Национального Собрания, и хотя клуб якобинцев не имел еще прочно установленных принципов, именно за этой силой, соперницей Собрания, скучивался народ" (254). Робеспьер приходил „представлять идею, которая искала и хотела своего места в революции: политического равенства всех“, — равенства именно политического, подчеркивает Луи Блан, „потому что ни он и никто вообще еще не шел дальше" (288). Но история не ставит здесь Робеспьеру этого в вину, только констатируя факт, хотя, по его словам, в рабочей среде „уже возмущался современный социализм“. А Национальному Собранию Луи Бланом был раньше сделан упрек, что оно не поставило на очередь право на труд. „Пусть не удивляются, говорит Луи Блан, что Робеспьер промолчал, когда голос живущих наймом на работу издавал только еще нечленораздельные звуки. В революции Робеспьер был только человеком текущего момента, но зато, по крайней мере, был им всегда" (270).

Луи Блан неоднократно взывает к беспристрастности. Ставя вопрос о виновниках бойни 17 июля 1791 года на Марсовом поле, он говорит, что в этом вопросе нельзя ничего опустить. „Историк не публичный обвинитель, он судья, и принятие во внимание смягчающих обстоятельств всегда составляет часть правосудия" (VII, 49). В этом событии вина, говорит он, падает на конституционалистов, „только шпагой которых был Лафайет, а ответственным издателем — Байльи“, вожди парижской буржуазии. Последнему было суждено „поплатиться головой за такую честь“, что заставляет историка „быть вдвойне справедливым к его памяти. Абсолютно амнистировать его“, однако, Луи Блан, считает невозможным, дабы не приносить истину в жертву состраданию, внушаемому его судьбою, „хотя и находит в его пользу смягчающее

обстоятельство, вспомнить которое заставляет справедливость": он был близорук, его легко было провести (VII, 175), и если такое соображение не принимается в расчет политическим судом, то от этого оно „не делается менее достойным занимать место в уме философа и в сердце человека“. Бойня на Марсовом поле была „для души народа неистребимыми дрожжами ненависти и мщениа“: народ на нее ответил 20 июня и 10 августа следующего года (96). Кстати, по поводу события 17 июля Луи Блан критикует всех своих предшественников, в том числе Тьера, Минье, Бюшеза, Ламартина, Мишле, стремящегося снять с буржуазии всякую ответственность за эту кровавую расправу (76—79), прибавляя, что было бы вообще неправильно упрекать за критику своих собратьев, потому что для историка существует „культ, который должен идти даже впереди культа хорошего вкуса, культ истины“, — характерное заявление для времени, когда в истории литературный вкус мог, в сознании некоторых, идти впереди научной истины.

Вообще же Луи Блан почти не полемизировал со своими „собратьями“ до этого момента, но здесь, конечно, не мог не возразить Мишле, не признавшему буржуазности Учредительного Собрания (VII, 367). Считая Собрание одною из самых важных фигур, какие только показывались на сцене мира“, он упоминает о громадности его работ, в два года совершивших дело, как казалось бы, многих веков, о знаменитых работниках, собравшихся для постройки этого удивительного здания, о счастливых чудесах его дерзновения, как революционной мощи, об огромной его роли, как организующей силы в областях администрации, финансов, правосудия (VII, 164, 166). Все это было благом, но было и зло: „Учредительное Собрание оставило добровольно, систематически вне своего действия целую категорию интересов, считаться с которым предписывала ему справедливость“ (166). Автор имеет в виду деление граждан на активных и неактивных, разрушение через то „единства французской семьи“, превращение прекрасного слова „народ“, долженствующего обозначать в хорошо организованном обществе совокупность граждан, в какую-то противоположность по отношению к буржуазии, что было „гибельным дуализмом“. Пусть не ссылаются на цифры, ибо дело в принципе (167). Другим—

минусом Учредительного Собрания Луи Блан считает сохранение монархии, которое он объясняет желанием буржуазии спрятаться за трон, как за оградой, от демократии. „Но, по крайней мере, эту ограду нужно было сделать прочной. И тут-то законодатели буржуазии в своем ослеплении получили достопамятное наказание за свой эгоизм (168). Буржуазия не понимала, что, сделав королевскую власть бессильною сдерживать демократию, она оставила за нею способность раздражать народ“. Хвала многие реформы в области социальных отношений (169), Луи Блан спрашивает, однако, были ли то пролетарии, которые от них выиграли. Если и выиграли они от уничтожения цехов, то чем последние были заменены? Принципом свободной конкуренции, отдававшим рабочих в полное распоряжение „собственников труда“ (170). Конечно, судьба деревенского народа Учредительным Собранием была безмерно улучшена, но „какие бы еще другие благодеяния произошли от революции, говорит Луи Блан, если бы, будучи менее одержимо духом жасты, Собрание в своих планах не остановилось иначе, как на границе, указанной справедливостью“. Оно могло бы учредить банк в пользу бедных, палаты труда. К своей критике Луи Блан имел бы право прибавить недостатки феодального законодательства и организации распродажи национальных имуществ, но ни он, ни кто другой с этими вопросами еще не был знаком. — А все потому, продолжает он, было так, что философским принципом Учредительного Собрания был индивидуализм: „оно оставило слабого без покровительства; религиозной нетерпимости оно противопоставило только скептицизм, старым монополиям—свободу промышленности, свободу умирать“. Так было в области идей, а в области фактов „разделение на два класса, на буржуазию и народ, конечно, было действительным, но все-таки с этим нисколько не соединялось желание мести“, которое явилось после 17 июля 1791 года (170). Впрочем, справедливость заставляет здесь Луи Блана не возлагать всю ответственность на одно Собрание: „значительная ее часть, говорит он, падает на Марата, на Фрерона, на Камилла Демулена и на писателей, которые вообразили, что это было служением народу—возбуждать при каждом удобном и неудобном случае его недоверие, подстрекать его ненависть, чудовищно преувеличивать

вины тех, которые имели безумие образовать буржуазный феодализм... Они старались все очернить, все пропитать ядом, они перенесли из сферы идей в область страстей этот классовый антагонизм, в целях уничтожения которого, напротив, нужно было работать, ... и их перо сделалось тем острием, которым пользуются, чтобы разъярить быков" (172).

История эпохи Законодательного Собрания излагается в седьмой книге труда Луи Блана, доведенной до переворота 10 августа, и в первых трех главах восьмой. Отделяя одну книгу от другой не на моменте созыва Конвента, а на моменте падения монархии, Луи Блан был, конечно, последователен в своем взгляде на революцию, которая казалась ему с самого же начала направленною к тому, чтобы во Франции установилась республика. Во время выборов в Генеральные Штаты Франция со своими смутными надеждами шла как бы оцупью, при выборах же 1791 года дело явно шло о революции, и каждый хорошо чувствовал, что революция не кончена, что ее придется защищать и от внутренних врагов, и от внешнего неприятеля (175—176). Революция шла такими быстрыми шагами, что демократы первого Собрания сделались аристократами во втором (196). Дальнейший интерес сосредоточивается на борьбе двух левых партий Законодательного Собрания, которая продолжалась потом и в Конвенте. На сцену выступает партия жирондистов, которую Луи Блан еще до сообщения о ней первых сведений уже называет „самую блестящую и самую тщеславную (vain), самую привлекательную и самую несчастливую, наиболее достойную порицания и сожаления, какая только появлялась на сцене мира“. Хотя в конце 1791 года она была еще в колыбели, Луи Блан считает нужным „наперед показать читателям“, чтобы дать им ключ к пониманию последующих событий, в чем же заключался дух этой партии. „Первым делом, говорит он, жирондисты происходили из буржуазии“. Но он сейчас же оговаривается, что в этой партии нужно различать два совершенно особые элемента, „по большому недоразумению смешиваемые между собою“: один—элемент промышленный и меркантильный, другой—элемент интеллектуальный, „если я могу так выразиться“, находит нужным он прибавить (208). Теперь, когда у французов слово „les intellectuels“ получило право гражданства в смысле нашего термина „интел-

лигенция“, мы понимаем, о чем идет речь, но в середине XIX века еще приходилось подыскивать слово, потому что дело шло не просто об образованном классе, о котором говорили уже предшественники Луи Блана, а об особой в нем категории. Ему были понятны политические стремления торгово-промышленной буржуазии 1791 — 1792 г.: для нее порядок был дороже воинствующей свободы, нужна была монархия, как гарантия или, по крайней мере, как символ устойчивости, но именно свобода, „умственная свобода, прежде всего нужна была тем, перед которыми открывалось поприще науке, литературы, искусств и которые более чувствовали тяготение к почестям и к славе, нежели к богатству“. И им, хотя и „черезчур (trop) склонным отделять себя от народа“, привилегии рождения особенно были ненавистны, и потому интеллектуальный элемент буржуазии был, если не демократическим, то революционным и республиканским: его-то и представляли собою жирондисты. Но, говорит дальше Луи Блан, это были „заблудившиеся в политике художники“. Они были „великодушны, искренни, самоотвержены до мученичества, полны энтузиазма, порывов и, к концу, человеколюбия, за что их возлюбили Мишле, Ламартин, Сент-Бев, сами великие художники, но „на том пути, на какой их толкнула мрачная фатальность, у них эти качества оказались соединенными с показностью, с погоней за руюоплесканиями, любовью к внешнему блеску“, как мы сказали бы, резюмируя характеристику Луи Блана, к позе и к фразе (209). У них он находит именно оказывание „предпочтения форме перед сущностью, слову перед мыслью, формулам перед принципами, красоте перед истиной“. В увлечении своим красноречием они сумели затупевать красивыми фразами даже самые большие ужасы. Все это делало их слонными понемножку уступать пению „сирен старого мира“, даже в буквальном смысле „женщин в шелковых платьях“ (210), становиться „без собственного ведома соучастниками роялистической реакции“ (218). Источник их слабости заключался в том, что, будучи людьми очень разнообразными, они, вдобавок, были „неспособны подчиняться строгой дисциплине и следовать одному какому-либо направлению“, что в политике равносильно самоубийству. Истинный дух Жиронды Луи Блан видит воплощенным в лице г-жи Ролан, делая ей здесь же блестящую характеристику

(212 и сл.) и отмечая в г-же Ролан в некоторой степени и отношение к народу свысока (dédain), и незначительность интереса к народным бедствиям.

Во всей этой характеристике Луи Блан забывает,—и в лучшем случае,—свою формулу об индивидуализме буржуазии, не выводит свою характеристику из абстрактной схемы, а основывает на реальных фактах, давая им психологическое освещение. Жирондисты, как инициаторы революционной пропаганды в Европе, делая из нее „рыцарскую авантюру“, явились настоящими „славными и искренними художниками революции“, в которой Робеспьер был „мыслителем, философом, великим государственным человеком“ (312). Здесь, в таком противопоставлении, опять забыты Луи Бланом те „принципы“, в которых он схематически сводил всю борьбу. В главе о прениях по вопросу о войне, за которую стояли жирондисты, он прославляет дальновидность и мужество Робеспьера, бывшего тогда противником войны. Человек, говорит он, который один, совсем один, лишь с тем, что он считает истиной, борется против великого народа, несомненно является самым благородным зрелищем, какое только может представить история. В течение нескольких дней Робеспьер был таким человеком (275), которому и удалось склонить якобинцев на свою сторону. Нужно заметить, что в вопросе о происхождении войны Луи Блан полемизирует с другими историками, но не столько, впрочем, по поводу оценки фактов, сколько о их генезисе... То, что он признает ошибками и недоразумениями у своих предшественников, он объясняет сложностью тех отношений, в каких к войне стояли конституционалисты, жирондисты, Робеспьер, сам двор (276) и в которых историки плохо разбирались (286). В частности, он оспаривает взгляды Мишле по этому вопросу (316—319), доказывая, что и Робеспьер, собственно, хотел войны с королями, но не хотел, чтобы война велась под начальством короля. В это время жирондисты ищут помощи у народа, проповедают союз буржуазии и народа, пускают в ход изготовление пик, создают популярность красного колпака, как символа свободы, даже увлекаются новым, случайно произнесенным словом „санкюлот“, что дает Луи Блану повод целой главе VII дать название „Санкюлотизм жирондистов“. В ней опять повторяется, что они были артистами революции (328), опять гово-

рится о их вкусе ко всему внешнему, желанию блистать, эмфатически выражаться, в чем, по мнению Луи Блана, повинны были все, которые хотя бы даже и не в политическом отношении тяготели к жирондистам (329). Робеспьеру, наоборот, все эти эмблемы и девизы были не по душе при его суровой простоте и серьезности. Но, пожалуй, соглашается Луи Блан, жирондистские вкусы гораздо больше, чем вкусы Робеспьера, приходились по характеру французского народа, се *esprit artiste par excellence* (330). Жиронда делается популярною в народе, становится всемогущей (338). Жирондисты добились своего министерства и объявления войны.

Только дошедши до этого момента, Луи Блан как-бы вспоминает свою философию истории, изложенную в I томе, и находит нужным заявить, что при ближайшем рассмотрении в основе всех битв между политическими противниками было не соперничество честолюбий и уязвленной гордости, а „философская противоположность доктрин“, чему и посвящает целую главу. Напоминая, что в XVIII веке было две школы: школа сенсуализма и рационализма, имеющих своим королларием индивидуализм, и школа чувства, ведущего к братству, Луи Блан распределяет между ними, с одной стороны, жирондистов, последователей Вольтера и энциклопедистов, а с другой даже не целую партию, а одного человека, Робеспьера, ученика Руссо (374—375). Историк прямо скорбит, что с обеих сторон проявлена была большая исключительность, что врагами выступали друг против друга люди, которые, смотря на вещи с большей высоты, должны были бы быть союзниками. Как Вольтер и Руссо дополняли друг друга, так дополняли одни других Бриссо и Робеспьер, жирондисты и монтаньяры, эти „знаменитые товарищи по оружию в великом бою того, что должно было быть с тем, что было. Солдаты общего дела, которые считали себя врагами одни других, пусть благодарность потомства вас примирит!“ восклицает Луи Блан, отступая здесь от первоначальной строгости своей формулы: или индивидуализм, или братство, но одно с другим несовместимо. И в этой главе Луи Блан немного полемизирует с Мишле в защиту Робеспьера. Чем далее вообще подвигается рассказ к роковым событиям, приведшим к крушению монархии, тем чаще Луи Блан критикует других историков революции, как это мы видим в главах о 20 июня

(VIII, 81—84) и о 10 августа (VIII, 151, 153 и 199—203).

Мы видели в предыдущем, что, рассказывая о событиях 1792 года, Луи Блан говорит о борьбе, происходившей между целой партией, жирондистами, и одним человеком, Робеспьером. В дальнейшем повторяется то же самое. Оппонентом жирондистам выставляется везде лично Робеспьер (VIII, 22, 53—54 и др.). Монтаньяры как-то не сразу появляются у Луи Блана на сцену. Жирондистам он посвящает целую главу (II), где, говоря о партиях Законодательного Собрания, не выдвигая на вид партию Горы, с самого начала отмечает появление жирондистов, как особой группы, все время держит их на сцене, и только как-то незаметно вводит на нее монтаньяров (376), но без особой роли, как единой партии. Повторяю, противником жирондистов у него выступает здесь Робеспьер, который „следил за ними своим холодным взглядом, анализировал их действия, проникал в самую суть их мыслей и с неумолимою настойчивостью отмечал даже мельчайшие их ошибки“, отмечаемые и Луи Бланом (80, 125 и др.), впрочем, снимающим с них при этом явно клеветнические обвинения. На сцене в летних событиях 1792 года не Гора, а агитаторы в народных массах (128), сами эти массы, выступающие 20 июня, 10 августа, в сентябрьские дни, парижские секции, непосредственные участники в событиях (171 и др.). В повышенном, как всегда, когда заходит речь о народе, тоне, с рядом восклицаний, с несомненнейшими преувеличениями в роде фразы: „народ трепещет за свободу всего света“ (237), Луи Блан останавливается и на мрачной странице сентябрьских дней, когда народная ярость проявилась в отвратительных сценах и царство убийств порождало чудовищ. Сентябрьские убийства он объясняет припадком сумашествия (délire), порожденным крайностью опасности и ярости, и скорбит при виде „философии, сделавшейся фанатической, чтобы лучше победить фанатизм, при виде апостольства человечности, прибегающего к нанесению ударов“. „Так увековечиваются репрессалии, прибавляет он, ... и века только мстят одни другим. В сентябре говорили священнику, которого убивали: „вспомни о Варфоломеевской ночи (VII, 297),—слова, которые Луи Блан сделал названием всей главы о сентябрьских убийствах.

Настоящим образом монпаньяры появляются только в Конвенте. Луи Блан перечисляет наиболее видных деятелей Горы и некоторых из них характеризует (338 и сл.), но, как бы представляя эту партию читателю, не делает общей ее характеристики, как сделал это по отношению к жирондистам. Вместо этого, он прибегает к более литературному, чем научному приему словесных обращений жирондистов к монпаньярам и наоборот со взаимными упреками (342, 344). Жирондисты обвиняли своих противников в том, что они запятнали себя пролитой в сентябре кровью, возбудили анархию, всегда приводящую к тирании, напали на собственность, „одну из священнейших основ общественного порядка“. Обратными обвинениями были пользование своими талантами для личной пользы, а не для торжества равенства, желание свободы без равенства, призрачный республиканизм, стремление разделить Францию на федеративные государства ради своего в них господства, проповедь республики богатых, кровопролитие на войне, начатой по их инициативе. Эту формулировку Луи Блан совсем готовую берет из мемуаров одного из тогдашних деятелей (Гора), находя, что она характерна для избирательной борьбы, но заключает в себе „много преувеличений и несправедливостей“ (344). Действительной виной (tort) жирондистов он считает, что в их „социальной доктрине свобода была без равенства“, и что они стали на путь федерализма, впрочем, более в виде образца действий, нежели системы, без „святоотечественного желания расчленить отечество“, а просто в смысле обращения к провинциям для защиты себя от столицы, внушавшей им страх (345). Как и в характеристике жирондистов, Луи Блан и здесь не обращается к своей формуле, чтобы вывести из принципа братства всю идеологию и политическую роль Горы. Он не становится здесь, как Бюшез, всецело на сторону одной партии против другой, а говорит, что обе „в бреду своих подозрений взаимно обвиняли одна другую в измене тому, что обе любили страстно любовью, в измене республике“ (342). По общей схеме Луи Блана нужно было бы ожидать, что в борьбе обеих партий он должен был бы выставить вперед противоположность принципов, но он как-раз говорит: „презрения, отметившие заседание 2 сентября, касались только идей, но увы пришел час, когда должна была разразиться во всей

своей слепой ярости борьба страстей, борьба гибельная, безумная, ужасная, бывшая самоубийством французской революции“.

Ответственность за нее Луи Блан возлагает на жирондистов, которые, „претендуя быть партией умеренной, первые подали сигнал к непримиримым насилиям, на что, прибавляет он, до сих пор не было обращено достаточного внимания“. Наоборот, продолжает он, „монтаньяры, которых изображали такими ужасными и которых борьба действительно сделала такими, хорошо понимали, что, разделяясь, республиканцы губили республику, и неувядаемую их славою будет то, что они вначале сделали все возможное, дабы избежать такого несчастья“ (351). Борьбы хотели, безумно хотели жирондисты, „вследствие неумеренного желания управлять республикой“, и они хотели этой борьбы (352), не слушая голоса благоразумия и советов мудрости (353). Одну главу (7 в VIII книге) Луи Блан даже обозначает словами „Fureurs de la Gironde“. Уже в той главе (4), которой им было дано название „Гора и Жиронда друг против друга“, и из которой только что приведены были мнения Луи Блана, „la violence“ жирондистов противопоставляется „la modération“ монтаньяров (337), и то же повторяется в этой главе с обозначением монтаньярской умеренности, как-даже крайней (IX, 12). Действительно умеренные люди, замечает Луи Блан, стали даже отстраняться от жирондистов, равно как якобинский клуб, который тогда же стал ускользать от их влияния (13, 14). Но, по Луи Блану, все дело было в честолюбии жирондистов, которых он, однако, считает более благородными, нежели думали их противники, и в честолюбии не из-за низкой любви к деньгам и к почестям, а вследствие стремления к славе, к памяти в потомстве. „В последнем отношении величие Робеспьера им было особенно ненавистно“ (IX, 15). Жирондисты усиленно подчеркивали свой республиканизм, который Луи Блан считает вполне искренним, и даже особенно много придавали значения внешним формам равенства, но их „политическая нетерпимость, потребность господствовать“ делали эту партию в глазах Луи Блана аристократическою (16),—упрек, который впоследствии, когда монтаньяры сменили жирондистов у власти, конечно, мы можем обратить и на монтаньяров. Жирондисты оттолкнули от себя якобинский клуб, вооружили против себя Коммуну и, оскорбляя Робеспьера, „вливали

капля по капле в его сердце желчь, обилию которой в его сердце сами же потом удивлялись“ (17). А Робеспьер в это время все больше и больше в глазах Луи Блана проявлял „глубины политического смысла“ (42), приобретал сочувствия у якобинцев и у монтаньяров (52). Вечные нападки жирондистов, по убеждению защитника политики Робеспьера, произвели перемену в его характере. Жизнь в семье Дюпле обещала „успокоить его сердце“, но это „счастливое влияние было разрушено яркими нападками Жиронды“ (12 и 66 — 67). Тогда-то Робеспьер начал „отожествлять себя с народом в силу своей гордости после того, как уже отожегствил себя с ним в силу своего убеждения“, и на этой „опасной наклонной плоскости сделался столько же безжалостен к своим врагам, сколько и они оказали себя безжалостными по отношению к нему“. И Луи Блан восклицает: „О как неувовимы бывают софизмы, которые носит спрятанными в своих складках человеческое сердце, желая себя обмануть! То, в чем Робеспьер обвинял жирондистов (роялизм, измена отечеству), Луи Блан прямо называет „соприкасающимися с последними пределами абсурда“ (67). Но и жирондисты приписывали монтаньярам, с Робеспьером во главе, подобные же нелепости. В этих взаимных обвинениях двух партий Луи Блан находит, и совершенно справедливо, предмет для некоторого „философского заключения“: „какой свет, говорит он, проливает оно, великий боже, на последующие трагедии“ (68)! Но как это далеко от антитезы: „индивидуализм“ и „братство“, и насколько живая действительность не могла уложиться в абстрактную априорную формулу. Взгляд, высказанный Луи Бланом в этой главе, шел в разрез со взглядами других историков и, прежде всего, с тем, что о событиях осени 1792 года писал Мишле: против него Луи Блан здесь еще раз полемизирует (68 — 72).

В дальнейшем Луи Блан следит за борьбою обеих партий в полных интересах главах о процессе короля, о прениях по вопросу об апелляции к народу и о конечной судьбе Людовика XVI (8 — 10 в VIII книге). Здесь немалый интерес представляет и личное отношение Луи Блана к трагедии, разыгравшейся в это время. „Теперь, говорит он, как трудно не быть несправедливым, когда говоришь о вещах прошедшего времени“, но ведь нужно же принимать в расчет

тогдашние обстоятельства, чтобы объяснить себе враждебное настроение народа к „тирану“, — слово, „кажущееся нам теперь, прибавляет Луи Блан, до жестокости смешным и несправедливым в применении к Людовику XVI“ (74). В общем он порицает казнь короля. Он называет „ошибкою эту столь трагическую, столь ужасно торжественную, столь противную общему настроению умов в всей Европе казнь, бывшую столь, сверх того, способною возбудить в пользу Людовика XVI жалость современников и грядущих поколений“ (150—151). Тогдашние люди не подумали, что „кровь оплодотворяет каждую идею, хотя бы ложную. Они забыли: *le roi est mort, vive le roi*; они не подозревали, как легенда о короле, в котором видят мученика, была опасна, и как мир принадлежит потемкам, пока среди людей не встанет белый день. Что нужно было убить, это была идея, а с нею палач ничего не мог поделать... Слишком часто повторяли слова Барера: „только мертвые не возвращаются“. Верно противоположное этому: „только мертвые возвращаются“ (151).

Параллельно с событиями внутри Франции Луи Блан, конечно, рассматривает и внешнюю историю революции с момента возбуждения вопроса о войне (кн. VII, гл. 6 и 8; кн. VIII, гл. 5; кн. IX, гл. 1). Военные события постоянно дают Луи Блану повод восторгаться патриотическим энтузиазмом французской нации, в которой революционное настроение только поддерживалось и усиливалось войной. Но этим же беспокойным настроением народной массы пользовались агенты роялистов и заграница, чтобы вредить революции, добиваясь усиления ее крайностей. Все было пущено в ход, чтобы „обратить в беспорядок героическое увлечение Парижа“, а для этого нашлись „буйные сумашедшие“ (*fous furieux*), примазавшиеся к якобинскому клубу, чтобы мутить народ (288). Этих людей Луи Блан называет анархистами, — новый элемент, усложняющий происходившую во Франции внутреннюю борьбу. Целая глава (вторая в девятой книге) так и названа „Ложные трибуны“. В общем, этому движению Луи Блан приписывает эпизодический характер, следя и далее, главным образом, за борьбою между Жирондой и Робеспьером в связи с такими событиями, как вандейское восстание, измена Дюмурье, борьба Конвента с Коммуной и т. п. Во взаимных отношениях обеих партий Луи Блан

различает отдельные периоды. Во время учреждения революционного суда, в первой половине марта, обе партии действовали солидарно (299), как и при учреждении, в апреле, комитета общественного спасения, этой „многоголовой диктатуры“. Когда нужно было спасти Францию, жирондисты и монтаньяры были единодушны, из патриотизма согласившись учредить комитет с властью все спасать, но и все пожирать (X, 4). Но это согласие расстроилось. Рассказывая о возобновившейся борьбе, Луи Блан не хочет, чтобы получилось такое впечатление, будто весь вопрос заключается в „беспрерывно возобновлявшемся столкновении чисто личных неприязней“ (X, 16). Он вспоминает свои прежние заявления об идейном противоречии обеих партий и переносит взор читателей „с борьбы страстей на борьбу идей“, сопоставляя на пяти страницах (X, 16 — 21), напечатанные в два столбца, декларацию прав Робеспьера, принятую якобинским клубом, и проект декларации Кондорсе, предложенный Конвенту. В этом сопоставлении статей двух деклараций Луи Блан усматривает „великий дуализм, удивительную и патетическую историю которого, говорит он, мы проследили через целые века в первом томе. Вот они, лицом к лицу, после их общей победы над принципом авторитета, эти два принципа индивидуализма и братства“ (21). Декларация Робеспьера нашим историком отдается полное предпочтение перед декларацией Кондорсе, что не мешает ему, однако, сказать в заключение: „но из-за того, что верования жирондистов были неполными, они тем не менее не могут быть лишены нашего уважения“... „Да будут они поэтому благословлены, восклицает Луи Блан, эти войны обеих армий, которые сообщая с убеждениями, одинаково смелыми, стремились к завоеванию такого количества столь прекрасных вещей, да будут они благословлены!“

Готовясь рассказать о падении Жиронды, Луи Блан упрекает других историков в том, что они проглядели влияние вандейского восстания на майские волнения 1793 года в Париже, приведшие к гибели жирондистов и, таким образом, „оставили в тени ту долю, какую имел в падении Жиронды суровый закон грозных времен, — необходимость“. Жирондисты ненавидели Гору больше, чем Вандею, в чем заключались их преступление и их гибель. „С революцией, гово-

рит Луи Блан, было бы совсем покончено, если бы жирондистам не был нанесен удар, который, увы!.. был ударом топора! Но так как революция в этом случае для своего спасения только наносила удары себе самой, то она и кончила только отерочкой своей собственной гибели". К этому прибавляется, что дальнейшее изложение должно лишь подтвердить такой взгляд, в первый раз высказанный в истории революции (X, 46). В несогласии обеих партий относительно текущей политики опять, заметим от себя, Луи Блан ничего не говорит ни о противоположности принципов, ни о противоречии интересов буржуазии и народа. Даже критикуя сопротивление жирондистов введению максимальных цен на хлеб, он не прибегает к объяснению их поведения буржуазными инстинктами (75 — 76). Только обращаясь к лионским событиям весны 1793 года, Луи Блан упоминает, что в Лионе под знаменем жирондистов образовалась против якобинцев пестрая по составу компания, сила которой была в буржуазных интересах, заботы внушались страхом, движущее чувство заключалось в ненависти к якобинцам (134 — 135).

Общий вывод Луи Блана тот, что виновниками партийной борьбы были жирондисты, тогда как монтаньяры делали все для ее избежания, что первые заботились гораздо более о себе, чем о спасении республики, тогда как вторые жертвовали собою ради блага отечества, и что, наконец, жирондисты позволили роялистам стать под их знамена (206—207). И вместе с тем прославление Жиронды: „да, она служила благородному делу, эта славная и несчастная Жиронда; она изрекала столь великодушные слова и проявляла, вопреки своим ошибкам, столько милосердия (*grâce*), столько героизма, что когда ее враги увидели ее поверженною на землю, то с побледневшими лицами и с бьющимися сердцами склонились над нею, не зная, не должны ли, вместо нанесения ей последнего удара, снова поднять ее на ноги. Какие новые ошибки, еще более преступные, заглушили по отношению к ним милосердие, этот идеал правосудия? Сказать это — почти больше наша скорбь, нежели наш долг. Как! Для таких людей как искупление их заблуждений — эшафот! Ах! Революция, которую они обрекли на то, чтобы быть ею убитыми, на вечные времена будет носить по ним траур“ (208 — 209)!

Рассмотрение монтаньярской конституции 1793 года снова дает Луи Блану повод вернуться к противоположности принципов Жиронды и Горы. Эта конституция во многом сходилась с жирондистским проектом (243), но разница между ними полагается в дуализме рационалистического индивидуализма одной партии и братского чувства другой (244 и сл.). В этом случае у Луи Блана монтаньяры и якобинцы как бы отождествляются (246). Историк находит, что если по видимости (как-то было на самом деле) монтаньярский проект менее демократичен, чем жирондистский, то в действительности, думает он, было наоборот (251 — 252), но едва ли это верно. Во всяком случае, Луи Блан не отрицает чисто партийного характера конституции 1793 года: она была и изложением принципов, и орудием партии (258).

С гибелью Жиронды и с торжеством Горы, казалось бы, должно было бы на время прекратиться действие рационалистического принципа индивидуализма, но Луи Блан прослеживает его в эбертизме. Этот социалистический историк был противником крайних демагогических партий. Мы уже видели его отрицательное отношение к „анархистам“, среди которых он называет, например, Варле, „честолюбца низшего разбора“ (IX, 267), который потом является у него во главе так называемых „бешеных“ (*enragés*) рядом с Жаком Ру, равным образом не пользующимся благосклонностью Луи Блана (X, 267 — 270). Особенно подробно на этих революционерах он не останавливается, но эбертистам отводит целую главу (14 в десятой книге), считая и их представителями индивидуализма, только в более грубых и преувеличенных формах (XI, 323) и с тем еще отличием, что Эбер хотел доставить торжество своей доктрине, придав ей ультра-демократический характер (*au moyen d'une mise en scène ultra-démocratique*) и вместе с этим крайне анархический (XI, 324). В главе об эбертизме Луи Блан резко высказывается против этого движения с его антирелигиозными маскарадами и радуется победе над ними Робеспьера.

Здесь, следя за Луи Бланом, мы дошли до эпохи террора в более тесном смысле. Террор, говорит он, был не системой, а результатом положения (XI, 360), объясняясь чрезвычайными обстоятельствами еще лета 1792 года (381 и сл.). „Он зачат был несправедливостями прошлого, рожден среди

колоссальной борьбы и беспримерных опасностей настоящего“. Одни, страстям которых он служил и свирепому характеру которых соответствовал, искали в нем отразительной опоры (Эбер, Каррье и др.). Другие, у кого прирожденная склонность к мягкости соединялась с некоторою усталостью, от террора отвратились до контр-революции (Дантон, Демулен), третьи, желавшие, чтобы „революция разлучилась с яростью, не теряя ничего из своей энергии“, высказались сразу и против модерантизма, и против крайностей. На такой точке зрения стояли Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон, твердые без ярости (365). Во всей главе об этом крайние террористы изображаются, как ненавистники и враги Робеспьера. Сам Луи Блан безраздельно за Робеспьера, за его отношение к террору. „Да, говорит он, если изучать революцию добросовестно в поведении людей, действительно представлявших ее дух (*génie*), то убедишься, что она была столь же искренняя, как и неумолима. Окруженная интригой и изменой, как самым густым мраком, и вынужденная сражаться с врагами, которых чаще всего она видела при свете молний, она не могла, без всякого сомнения, не наносить ошибочных ударов и невинным, но даже и их она поражала только потому, что имела несчастье верить в их виновность“ (395). Трудно сказать, объяснение ли это или, если не оправдание, то, по крайней мере, извинение.

Разнообразные факты истории террора собраны Луи Бланом в этой части его труда в громадном количестве, так что некоторым сторонам террора посвящены даже отдельные главы. Весь механизм революционного правительства Франции излагается с массою подробностей, с достоюжными квалификациями всего произвола, всех жестокостей, грабежей, несправедливостей, проявленных в эту эпоху во всей Франции, причем постоянно отмечаются случаи оппозиции отдельных террористов главному герою Луи Блана, Робеспьеру. В то время, как, по его представлению, весь эбертизм заключался в наведении ужаса (*terreur*), а дантониисты требовали милосердия (*clémence*), Робеспьер и его друзья стояли за правосудие (*justice*). Робеспьеристы, как выражается Луи Блан, не хотели, „чтобы революция довела ненависть к крайностям до слабости (*mollesse*), которая ее обезоружила бы в виду стольких врагов, ожесточенно стремившихся ее убить. Они

хотели, чтобы революция была спокойною, справедливою, даже свисходительною к тем, которые были только заблудшими, но пока шел бой, они желали, чтобы она была бдительною и твердою". Так Луи Блан объясняет всю дальнейшую борьбу (XII, 150). Обезоруживая террор, нужно было поостеречься, как бы не обезвооружить самое революцию, что и было подводным камнем, о который разбились дантонисты (152).

Мы не последуем за Луи Бланом в истории этой борьбы между отдельными людьми или маленькими их группами, где уже не было ни столкновения принципов, ни антагонизма классов, а шла борьба между личными пониманиями из-за власти или, по крайней мере, из-за самосохранения. Везде Луи Блан сочувственно следит за своим героем. В одном месте он говорит о Робеспьере: „на этой кровавой покатости, по которой сила вещей скатывала людей в перемежку, полный тревоги, он искал твердой опоры, на которой мог бы удержаться. Из этой запутанной борьбы элементов он жаждал наконец освободить спокойное царство свободы. Он стремился отделить революцию от хаоса“ и т. д. (XII, 358). Этими словами Луи Блан вводит нас в историю провозглашения Конвентом веры в бытие Верховного Существа и в бессмертие души (369), инициатива чего принадлежала Робеспьеру. На праздник Верховного Существа Луи Блан смотрит, как на первый шаг Робеспьера ради выхода из террора, но для реализации этого шага нужна была новая расправа с террористами (XIII, 2), а тут еще роялисты создавали новые препятствия. Впрочем, беспристрастие историка заставляет его признать, что предложением закона 22 прерияля, превращавшего революционный суд в безусловное орудие произвола, Робеспьер, впавший в самые чудовищные софизмы (XIII, 16), покрыл свое имя кровью, попав в ловушку доктрины, оправдывающей средства их целью (28).

Луи Блан в истории революции не останавливается на моменте падения Робеспьера, но захватывает и эпоху термидорианской реакции, следя за ходом контр-революции с ее белым террором. Никто так подробно, как он, не рассказывал историю последнего года Конвента. Из заключительных страниц последнего тома стоит привести несколько выдержек, содержащих в себе общий приговор Луи Блана об эпохе Конвента.

„Трудно определить, читаем мы здесь, границы, где остановилась бы революция в ходе своих успехов, если бы, к несчастью, она не принесла с собой действительную причину своей гибели: террор. Думать, что террор был порожден несколькими мозгами в болезненном бреде—в высшей степени детское рассуждение. Террор, подготовленный веками притеснений и вызванный неслыханными опасностями, был в самой основе положения... Не только ложно, что террор спас Францию, но ложно даже утверждать, что он погубил революцию... В этой кровавой ночи, в которой слышались только раскаты грома, и где различались лица лишь при блеске молний, революция поражала безразлично друзей и недругов и первых в особенности, потому что они были ближе. Нужно все-таки сказать, что то, что было неизбежным результатом исключительного положения, превратило бдительность в крайнюю подозрительность и сделало репрессию неумолимой, но режим, родившийся из этой необходимости, усложнился еще тем, что к нему случайно было прибавлено индивидуальными страстями, завистью, ненавистью, мстительностью, нездоровою экзальтацией, зверскими инстинктами. Общественное спасение, фанатизм искренних душ, стал предлогом, которым прикрывалась неблагородная злобность. Что служило целью для одних, делалось маскою для других... Само собой понятно, что под покровом этого смещения были сознательно и холодно совершены несправедливости... Люди революции грешили, и притом самым жалким образом, против философии, царство которой проповедовали, когда, не принимая в расчет ни влияния воспитания, ни силы предрассудков и привычек, они превращали в преступление отказ верить в равенство... Революционеры 1793—1794 годов были фанатики. За это они сами понесли наказание, и кто знает, сколько еще времени оно будет тяготеть над их потомками. Террор есть как-раз то, что частью скрыло от света смысл революции. Свобода оказалась ложью, когда к ней стали взывать с топором в руках. Равенство заставляло содрогаться, когда оно было равенством пред эшафотом. Братство? Какая загадка была, когда видели, как люди резали друг друга во имя братства!... Таким образом, революция вооружила своих врагов возможностью с успехом смешивать с грязью самые идеи, которым она хотела доставить торжество. Ужас перед средствами, употребленными

для достижения цели, скрывал от близоруких умов то, что в этой цели было высокого, и множество людей, более искренних, чем дальновидных, устремив свои взоры на место казней, оказались неспособными замечать все остальное... И тем не менее она имела, эта непонятная революция, такую притягательную силу, что ничего не могло остановить движения, увлекшего народ в ее вихрь" (XV, 314 — 317). Но с другой стороны, спрашивает Луи Блан, знают ли революцию те, которые „сводят всю ее историю к истории террора? Ах, то, что было действительно достойным восхищения в революции, есть как раз то, о чем большинство ее историков научилось молчать. Как будто она не привела в движение все идеи, не поставила все проблемы. Как будто она поразительным образом не раздвинула горизонта человеческого ума" (320). Между девизами революции Луи Блан называет „индивидуальное право“, как „религию, ради которой жили жирондисты“, и „право социальное“, как „религию, ради которой жили и умерли монтаньяры“. И здесь историк уже не противопоставляет одно другому эти два права, а говорит, что они, „далеко не заключая в себе противоречия, по природе своей взаимно одно другим дополняются и содержат в себе все элементы истины“ (321). В заключение Луи Блан на двух страницах перечисляет положительные создания Конвента, которым раньше была посвящена особая глава (гл. 12 книги X: „Travaux, au bruit des combats“).

В конце концов, таким образом, Луи Блан как бы отказывается от своего отрицательного отношения к жирондистам и ставит их в уровень с монтаньярами, им постоянно прославляемыми, но этим, конечно, не изглаживается из памяти читателя общее впечатление пристрастного отношения историка к борьбе двух партий, из которых одна, жирондисты, постоянно осуждается, другая, монтаньяры, оправдывается, притом так, что действительные роли их меняются: умеренные жирондисты оказываются партией насилия, а наоборот, в поведении монтаньяров, бывших наибольшими фанатиками революции, постоянно подчеркивается умеренность всего их поведения. Странное впечатление получается и от тех мест у Луи Блана, где монтаньярам, последователям Руссо, противопоставляются жирондисты, которые как-будто были противниками философии этого писателя, на самом деле поль-

зовавшегося их уважением и их вдохновлявшего. Наконец, и эбертисты по своему террористическому методу стояли гораздо ближе к монтаньярам, нежели к жирондистам, прямое продолжение которых Луи Блан желает, однако, видеть в эбертистах.

Выше упоминалось уже, что некоторые главы своего труда Луи Блан дополняет критическими замечаниями, касающимися других историков революции¹⁾. Обыкновенно это бывает на весьма немногих страницах, притом напечатанных очень мелким шрифтом, отличным от шрифта текста. Главным предметом этих критических замечаний везде являются взгляды Мишле, а среди этих взглядов особенно часто суждения его о Робеспьере. Между прочим, Луи Блан обвиняет Мишле в пристрастном отношении к жирондистам и слишком благосклонном к Дантону и, наоборот, в столь же пристрастном отношении, только в другую сторону, к Робеспьеру (VIII, 151—153). Есть и коротенькие подстрочные примечания критического содержания, в одном из которых, например, Мишле упрекается „в следом предубеждении по отношению к Робеспьеру“ (X, 31). Луи Блан даже говорит, что ему не хватило бы целой книги для исправления всех неверностей в исторической литературе о французской революции (X, 208).

Начавши писать свою историю революции в одно время с Мишле, Луи Блан закончил свой более объемистый труд девятью годами позже него. В это время Мишле дописывал свою „Историю Франции“, которую и кончил только в 1867 году. В течение всего этого времени, по его словам, он не брал в руки истории Луи Блана, хотя его и предупреждали, что в ней он, Мишле, подвергся „необычайно страстному нападению“. В 1868 году, переиздавая свой труд о революции, он написал к нему предисловие, в котором не без раздражения ответил своему критику „Мое упорное молчание, говорит он здесь, должно было удивить и очень поощрить Луи Блана. Из тома в том его резкая (violente) критика продолжалась. Он торжествовал“ и т. д. (Michelet, I, 16). Уже эти слова свидетельствуют о том, что Мишле чувствовал себя

¹⁾ Кн. VII, гл. 6 и 15; кн. VIII, гл. 2; кн. IX, гл. 11, кн. X, гл. 13; кн. XI, гл. 10 (особенно большой экскурс в двадцать страниц); кн. XII, гл. 1—7, кроме четвертой.

сильно задетым. „Во всей истории литературы, говорит он, нет примера столь упорного нападения из страницы в страницу в таком ряде томов. После Робеспьера я человек, который, очевидно, его (Луи Блана) наиболее занимал. Я обладал свойством его не утомлять. Я удивляюсь сильным страстям. Его страсть неистощима. Она возвращается беспрерывно, кстати и некстати, по поводу фактов, смысла фактов, всякого вздора, наконец всего“ (21). Сам Мишле говорит о своем критике тоже в резком тоне, говорит о его „социалистическом папизме и его тирании труда во имя братства“ (17—18), называет Робеспьера „его богом“, „святым из святых“, „новым Иисусом“ и т. п. (20). Однако, подробных возражений на критику Луи Блана он не делает, если не считать кое-каких указаний на пристрастное отношение к жирондистам и к монтаньярам. Демократию Луи Блана Мишле называет авторитарной, иронизирует над превращением Робеспьера в „апостола и в символ социализма“ (27), отмечает, что, сидя в Лондоне, нельзя было писать историю революции (21), тогда как без него, Мишле, кто знал бы правду о многих фактах, наприм., 16 июля 1791 и 31 мая 1793 г. (22, 23). Обратись только к нему Луи Блан, он охотно дал бы ему свои архивные выписки и т. д. (27). „Я был горяч в моем кратком отчете, прибавляет он, но не столько за себя, сколько за самой революцию, до такой степени изуродованную, изувеченную, обезглавленную во всех различных своих частях, кроме единственно якобинской партии. Сводить ее к этому значит делать из нее кровавый обрубок, ужасное страшило на радость наших врагов“ (28). В сущности, Мишле указал в этом энергичном ответе, что же их, обоих историков, глубоко разделяло. „Мы принадлежим двум разным религиям“, говорит он и тут же, умалчивая о своей религии, называет Луи Блана „полухристианином на манер Руссо и Робеспьера“, а его сredo помесью (bâtard), рассчитанную удовлетворить и философов, и ханжей (20). Лично Мишле не мог не быть задетым хотя бы и такой о нем фразой Луи Блана: „он забыл все обязанности историка“.

Между тем в обеих историях революции, начатых накануне февральской революции и оконченных при второй империи, много общих черт. И Мишле, и Луи Блан вышли из рядов демократической оппозиции против июльской монархии,

оба с антиклерикальным направлением, оба с преклонением перед республикой, как законной формой правления, оба с идеализацией народа сравнительно с верхним общественным слоем, оба связав историю революции с некоторой философией истории, проникнутой идеализмом, оба являясь в истории не только повествователями о прошлом, но и его судьями, судьями принципов, фактов, идей и людей, оба как представители одной и той же литературной школы повышенного чувства, приподнятого тона, лирических или риторических отступлений, прерывающих плавное течение рассказа. Мысль обоих так и хочется передавать их же собственными словами, очень трудно, однако, поддающимися адекватному переводу. Их стиль, их фразеология не от науки, а от литературы. И как бы ни проявились в их трудах черты, отличающие одну индивидуальность от другой, это—писатели одного и того же типа.

Мишле имел то преимущество перед Луи Бланом, что работал в Париже, имея под руками богатейший архив, в который пошел изучать революцию чуть ли не первым. Он сам говорит, как хорошо ему было там „дышать пылью прошлого“, разбираться в „этих бумагах, связках, регистрах“, которые еще говорят, еще живут (I, 15). Но и у Луи Блана, работавшего в Британском Музее, был очень большой материал. Оба они пользовались не тем, что первое попадало под руку, а искали и расширяли поле своих изысканий, переходя за границы того, на чем сосредоточивался интерес прежних историков. Они внесли в историографию французской революции много нового. Можно сказать, что оба, и Мишле и Луи Блан, упразднили Тьера в прежнем его значении главного историка революции. Одной из их заслуг, особенно Луи Блана, было искать корней революции в прошлом Франции. Но здесь, правда, они больше конструировали, чем исследовали, прибегая более к априорным схемам, чем к аналитическому сравнению революции и старого порядка. К изучению конца XVIII века они еще не применили того плодотворного метода, при помощи которого Гизо написал свою знаменитую „Историю цивилизации Франции“. Это должны были сделать уже более поздние историки, главной заботой которых было исследовать то, что было, как оно было, а не судить с той или другой, моральной и поли-

тической, точки зрения. В последнем отношении Тьер и Мишле стояли гораздо ближе к задаче и приемам объективной науки, но все-таки в других отношениях труды Мишле и Луи Блана были большим шагом вперед, потому что, помимо всего прочего, у них революция, бывшая раньше слишком односторонне парижской, превратилась в общую французскую, вследствие большего внимания, обращенного ими на провинциальную историю эпохи.

Нельзя, разумеется, отрицать и влияние Мишле и Луи Блана на последующих историков. Влияние первого сказалось, например, на Жоресе, писавшем уже в начале XX столетия, а Луи Блан своим прославлением Робеспьера положил начало целому робеспьеристскому направлению в биографической и в монографической литературе, главными представителями которого были, наприм., Амель (Hamel) и Матъез¹⁾.

¹⁾ Hamel издал в 1865—1867 гг. большую „Histoire de Robespierre“, явившись и критиком Мишле (M. Michelet historien, 1889). О Матъезе см. во II части.

УКАЗАТЕЛИ.

I. Авторы, писавшие о революции.

В число названных авторов включены и редакторы изданий исторического материала. Жирным шрифтом отмечены главные места, где говорится о том или другом авторе, из наиболее часто упоминаемых, а римской цифрой указывается, в каком из следующих томов подробнее говорится об отмечаемом так историке. Литература об авторах, здесь названных, указана в подстрочных примечаниях на стр. 30, 35, 36, 39, 46, 51, 53 — 65, 67, 71, 98, 135, 189, 203 и 232. Кроме того, названы в тексте: Байель (88), Бокль (46, 47), Буассонад (6), Вайнштейн (68, 87), Жан. (6), Лайя (137), Лакур (6), Моно (189), Леруа (6), Сент-Бёв (88, 263), Фежер (6).

- Авенель 19.
Амель (Hamel) 281.
Атен (Hatin) 19.
- Бакур 137.
Баррьер, см. Бервиль.
Барюель 242.
Бервиль и Баррьер 23.
Бёрк 24, 45—51, 52, 55, 57, 59, 156, 163.
Бертран де-Моллевиль 65—66.
Блан, Луи 14, 16, 51, 137, 142—143, 152, 153, 171, 192, 200, 203, 232—278, 279, 280.
Боден 116, 117.
Бодуэн 22.
Больё 64—65.
Бошан 97.
Бюшез 144, 149, 151, 152, 153, 171, 192, 200, 201, 203—231, 237, 238, 251, 252, 260, 267.
- Вельшингер 20.
- Галлуа 19.
Генц 37, 38, 55—57.
Голицын Дм. А. 27.
Гранье-де-Кассаньяк 249.
Гриль 244.
- Дезодоар 59—60.
Дешьен 19.
- Жорес 45, 51, 53, 281, II.
- Зибель 24, 25, III.
- Камюс 21.
Карлейль 24, 25, 63, 189, III.
Карон 21.
Кинэ 14, 146, 203, II.
- Лакретель 61—62, 63.
Ламартин 144, 145, 153, 171, 189—200, 260, 263.
Ламет, Ал. 57, 121.
Ланглуа и Штейн 27.
Лескюр 23.
Лоренц 67.
- Маккинтош 51—53, 55.
Малле дю-Пан 35—39, 55, 57.
Матьез 281, II.
Местр, де-Жозеф 30—35, 36, 37, 38, 57, 114, 213, 226.
Мишле 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 59, 83, 98—116, 118, 119 (вместо Мишле, 121, 122, 125, 135, 138, 139, 142, 144, 145, 149, 152, 186, 189, 200, 203, 205, 206, 208, 242, 260, 281.
Мишле 14, 51, 59, 137, 145—189, 190, 193, 199, 200, 235, 238, 244, 260, 263, 264, 269, 273, 279, 280.
Монлозье 97.
Моллевиль, де, см. Бертран.
Монжуа 28, 57, 121.
Мунье 26—28, 37, 39, 57, 58, 163.
- Олар 17, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 116, 136, 189, II.

- Паганель 58.
 Пажес 60.
 Прюдом 20, 61.
- Рабо Сент-Этьен 59, 61.
 Ру-Лавернь 204, 206, 207.
- Сен-Мартен 29—30, 57, 226.
 Сорель 14, 71, II.
- Сталь, г-жа 11, 13, 18, 27, 66, 67—88,
 90, 92, 96, 97, 101, 102, 105, 202.
- Тайльяндье 97.
 Токвиль 14, 15, 16, 73, 203, II.
 Тулонжон 63—64.
- Турнё 19.
 Тэн 14, 24, 35, 36, 45, 51, II.
 Тэют 24.
 Тьер 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 64, 88,
 98—102, 116—137, 138, 139, 140, 141,
 142, 144, 145, 149, 152, 153, 186,
 190, 193, 200, 203, 206, 208, 260,
 280, 281.
- Фихте 24, 53—55.
- Шатобриан 39—45.
 Шере 29, 76, II.
 Штейн, Лоренц 24, III.

II. Исторические деятели XVIII и начала XIX века.

Здесь названы преимущественно имена предшественников и деятелей революции, кроме [некоторых лиц (из истории XIX века, упоминаемых в тексте по той или другой их связи с предметом. Имена людей из других веков, по какому-либо поводу попавших в текст книги, не отмечаются (напр. Гуса, Лютера, Кальвина и т. п.). Указания на биографическую литературу о деятелях революции сделаны в упоминанном на стр. 6 предисловии моей книги, где их перечень занимает стр. 62, 63, 64 и 65.

- Анрио (Henriot) 184.
 Анфантен 202.
- Бабёф 133, 134, 135, 186, 187, 231,
 233, 243.
- Байльи 23, 243, 259.
 Барбару 23.
 Барер 20, 31, 137, 270.
 Барнав 180, 255.
 Беррийский герцог 97.
 Бертье 40.
 Бонапарт, см. Наполеон.
 Брауншвейгский герцог 84.
 Бриссо 20, 66, 193, 243, 252, 265.
 Буйлье 23, 165.
 Буонаротти 135, 231.
- Варле 273.
 Верньо 66, 183, 198.
 Вольтер 27, 94, 146, 162, 203, 238,
 240, 265.
- Гаде 66.
 Гара 267.
 Гельвеций 27.
 Гизо 73, 90, 91, 95, 96, 100, 139, 140,
 141, 146.
 Гольбах 242.
 Гурнэ 242.
 Гюго, Виктор 62, 248.
- Дантон 65, 66, 128, 129, 130, 131, 166,
 176, 182, 183, 185, 194, 228, 243,
 255, 278.
- Демулен, Камилл 20, 129, 166, 185,
 243, 255, 257, 261.
- Дидро 27, 242.
 Дюмурье 28, 270.
 Дюпле 269.
 Дюпор 180.
- Жан-Жак, см. Руссо.
- Изнар 66.
- Кабе 202.
 Калиostro 242.
 Кант 54.
 Карл X 117, 139.
 Каррель, Арман 92, 94, 95, 96, 103,
 138.
 Каррье 274.
 Кенэ 242.
 Клоотц 185, 243.
 Колло (д'Эрбуа) 31.
 Кондильяк 242.
 Кондорсе 47, 66, 243, 277.
 Констан, Бенжамен 70, 88, 89—90, 202.
 Конт, Огюст 201.
 Кордэ, Шарлотт 185.
 Кутон 180, 274.

- Ламарк, гр. де- 137.
 Ламетти, братья 243, 255.
 Лафайет 47, 117, 141, 164, 165, 243, 258, 259.
 Леру 202, 206.
 Лоу 240.
 Луве 221.
 Людовик XVI 60, 65, 69, 76, 77, 78, 112, 114, 118, 126, 176, 177, 178, 219, 242, 245, 249, 269, 270.
 Людовик XVIII 206.
 Людовик-Филипп 102, 141, 145, 231.
 Мабли 97, 238, 241, 242.
 Марат 20, 65, 133, 163, 166, 167, 176, 185, 194, 221, 245, 248, 255, 261.
 Мария-Антуанета 70.
 Месмер 242.
 Мирабо 20, 78, 93, 137, 163, 168, 169, 189, 195, 244, 245, 249, 257, 258.
 Мицкевич 146.
 Монтескье 68, 72, 73, 94, 192, 203, 238, 240, 241.
 Морелли 241.
 Наполеон 10, 14, 59, 64, 69, 84, 88, 93, 101, 120, 182.
 Неккер, 66, 69, 70, 71, 76, 78, 238, 241, 242.
 Орлеанский герц. (Ф. Эгалита) 244.
 Петитон 243.
 Полиньяк 139.
 Ревельон 122, 244.
 Рейналь 242.
 Ремюза 140.
 Ривароль 88.
 Робеспьер 31, 65, 93, 127, 129, 131, 135, 165, 166, 170, 180, 182, 187, 189, 192, 194, 195, 196, 222, 227, 228, 249, 257, 258, 259, 264, 265, 266, 268, 269, 273, 274, 275, 276.
 Родан 23, 169, 263, 264.
 Ру, Жак 186, 273.
 Руссо, Жан-Жак 30, 38, 68, 146, 162, 202, 203, 213, 229, 238, 240, 241, 243, 247, 265, 277.
 Сен-Жюст 128, 180, 221, 227.
 Сен-Симон 92, 200, 201, 202.
 Смит, Адам 202.
 Сьейес 111.
 Талейран 137.
 Тьерри, Огюстен 91—92, 95, 96.
 Тюрго 77, 112, 213, 238, 240.
 Фрерон 261.
 Фулье Тэнвиль 129.
 Фулон 40.
 Фрерон 261.
 Фурье 143, 202.
 Шаргрезский герцог, см. Людовик-Филипп.
 Шометт 182, 185, 228.
 Эбер (Hébert) 20, 129, 166, 185, 228, 273, 274.
 Юм, Давид 34, 95.

III. Наиболее важные предметы, упоминаемые в тексте.

В этом указателе отмечаются только наиболее общие и существенные предметы, рассматриваемые историками революции. Указывать на все, о чем упоминается в тексте, значило бы дать указатель, в котором пришлось бы сопровождать такие слова, как „революция“, „республика“, „народ“ и т. п., целыми рядами цифр или делать отметки *passim*, т. е. везде. Специальная литература о разных отдельных вопросах в истории самой революции названа в упомянутой выше книге на стр. 57—62 и 65—84, кроме вопроса о влиянии революции на Европу.

- Английская революция 34, 49, 51, 71, 75, 94, 95, 96.
 Аграрный закон 134, 179.
 Альманахи 20.
 Архивный материал 23, 24, 153, 187, 189, 204, 280.
 Бабунизм, см. Бабёф.
 Бастилия 39, 156, 159, 246, 251.
 Буржуазия 90, 92 — 94, 106, 108, 122, 141, 142, 143, 163, 168, 173, 210, 211, 239, 240, 248, 249, 252, 259, 262, 263.

- Библиография 6, 19.
„Братство“ 109, 151, 152, 208 и сл., 236 и сл., 276.
Брюмерский переворот 27, 65, 120.
- Вандейское восстание 126.
Вандемёрское движение 135.
Войны революции 38, 69, 83, 135, 171, 270.
Всеобщее избирательное право 136.
Выборы 1789 года 205, 243, 244, 262.
Выборы 1791 года 262.
- Газеты 19, 20.
Генеральные Штаты 21, 28, 29, 77, 104, 112, 122, 205, 245.
Гора, см. Монтаньяры.
Гражданское устройство духовенства, 159, 160, 225, 226, 252, 253, 256, 257.
- Дехристианизация 186. См. еще Культ и Христианство в революции.
- Женщины в революции 159, 169.
Жирондисты, 82, 83, 85, 113, 114, 115, 124, 126, 127, 133, 163, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 190, 199, 209, 219, 221, 262, 264, 265, 267, 270, 271, 272, 273, 277.
- Законодательное Собрание 21, 22, 61, 62, 82, 83, 105, 125, 214, 216, 262, Законодательные сборники 21, 22, 204.
- Индивидуализм 209 и сл., 236 и сл.
Интеллигенция и народ 147, 151, 171, 277.
Июньское (20 числа 1792 г.) восстание 173, 174.
Июльская революция и монархия 139 и сл.
- Классовая борьба 85, 91, 92, 96, 106, 107, 108, 109, 109, 110, 115, 123, 124, 133, 142, 260, отрицание ее у Мишле 147, 154, 157, 162.
Комитет общественного спасения 132, Коммуна 124, 174, 176, 183, 184, 187, 194, 218.
Конвент 21, 22, 61, 860, 259, 260, 91, 106, 124, 125, 132, 134, 178, 180, 181, 183, 184, 187, 198, 214, 215, 216, 223, 275.
Конституционалисты 38, 82, 113, 114, 115, 164, 165.
Конституция VIII года 111.
Конституция 1791 года, 81, 110, 169, 170.
- Конституция III года 86, 93, 94, 110, 111, 132.
Конституция 1793 года, 110.
Кордельерский клуб 166, 256.
Культ верховного существа 130, 186, 275.
Культ разума 128, 133, 186.
- Либерализм 92 и сл.
Луврская коллекция 22.
- Майский (31 числа 1793 года) переворот 126, 196, 197.
Марсово поле 169, 259, 260.
Масоны 243.
Мемуары 23, 188.
„Монитор“, 19, 20, 189, 205.
Монтаньяры 82, 113, 114, 115, 175, 178, 181, 183, 222, 223, 265, 266, 267, 273, 277. См. еще якобинцы.
Муниципальное движение 162.
- Наказы 1789 года 121, 205, 224.
Народное участие в революции 52, 122, 128, 155, 196, 157, 158, 161, 171, 248.
Национальное Собрание, см. Учредительное Собрание.
Национальные имущества 170, 171.
Национальный архив 23, 146.
Ночь 4 августа 105, 157, 247.
- Общество современной истории 23.
Октябрьские дни (5—6) 1789 г. 26, 50, 80, 153, 159, 250, 251.
Орлеанский герцог, см. Людовик-Филипп 139.
- Пролетариат 162.
Протоколы собраний 20, 21, 204.
- Ратуша 246, 252. См. Коммуна.
Реакция 89—90, 108, 155.
Революция 10 августа 84, 105, 107, 125, 173,
Реставрация Бурбонов 83 и сл.
Роялисты 32, 112, 164, 165, 186, 209.
- „Свобода, равенство, братство“, 152, 210, 211.
Секции 124, 133, 174, 184.
Сен-симонизм 200, 201.
Сентябрьские убийства 84, 125, 174, 267, 287.
Социализм 92, 143 и след. 187, 200, 279.
Старый порядок 45, 75, 77, 94, 121, 155, 156, 242.
- Термидор 86, 130, 198, 237.

- Террор 44, 54, 60, 116, 127, 182, 198, 218, 219, 234, 235, 273, 274, 276, 277.
- Третье сословие 69, 92, 122.
- Учредительное Собрание 20, 21, 22, 29, 52, 78, 79, 80, 81, 82, 104, 105, 122, 124, 156, 160, 170, 171, 214, 216, 218, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 261.
- Федерация 165, 167, 171.
- Фейльяны 82.
- Феодализм 76, 92, 156, 157.
- Фрюктидорский переворот 30, 61, 65, 84, 86, 108, 135.
- Фурьеризм 202.
- Христианство и революция 149 и сл., 185, 186, 206 и сл., 230.
- Церковная политика революции 157, 172, 224, 225. См. Гражданское устройство духовенства, Декристианизация и Христианство.
- Эбертисты 129, 134, 184, 231, 273.
- Эмигранты 81, 89, 90, 112, 124, 167.
- Якобинизм 151, 200, 233.
- Якобинский клуб 114.
- Якобинцы 39, 82, 83, 85, 124, 126, 127, 133, 163, 164, 165, 176, 168, 180, 185, 218, 219, 221, 222, 255, 256, 272.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| | Стр. |
|---|------|
| Предисловие | 5 |
| I. Общее введение | 9 |
| Общий взгляд на развитие историографии французской революции (9—18).—Краткий обзор источников истории революции (18—24).—Изучение этой истории вне Франции (24—25). | |
| II. Публицисты времен революции и первые ее историки | 26 |
| Публицисты: Мунье (26—28), Монжуа (28—29), Ал. Ламет (29), Сен-Марген (29—30), Ж. де-Местр (30—35), Малле дю-Пан (35—39), Шагобриан (39—45), Бёри (45—51), Мавкинтоп (51—53), Фихте (53—55), Генц (55—57).—Ранние историки: „Друзья свободы“ (58), Рабо-Сент-Этьен (59), Дезодоар (59—60), Пажес (60), Прудом (61), Лакретель (61—62), Тулонжон (62—64), Больте (64—65), Де Молевиаль (65—66), Лоренц (67). | |
| III. „Рассуждения о французской революции“ г-жи Сталь | 67 |
| IV. Реставрация.—Истории французской революции Минье и Тьера | 88 |
| Политическая борьба в эпоху реставрации (83—92).—Настроение либеральной буржуазии (92—94).—Литературные сближения английской и французской историй (94—96) и начало новой исторической школы (96—97).—Общие черты историй революции Минье и Тьера (98—103).—Минье (103—116).—Тьер (116—137). | |
| V. Июльская монархия.—Истории революции Мишле и Ламартина | 138 |
| Июльская революция (138—141).—Два вида демократической оппозиции против июльской монархии (141—144).—Отражение их на историографии французской революции в эту эпоху (144—145).—Мишле (145—189).—Ламартин (189—200). | |
| VI. Истории революции Бюшеза и Луи Блана | 200 |
| Французский социализм при июльской монархии (200—203).—Бюшез (204—231).—Луи Блан (232—278).—Взаимная критика Мишле и Луи Блана (278—281). | |
| VII. Указатели | 282 |

